

А.А.
ФЕТ

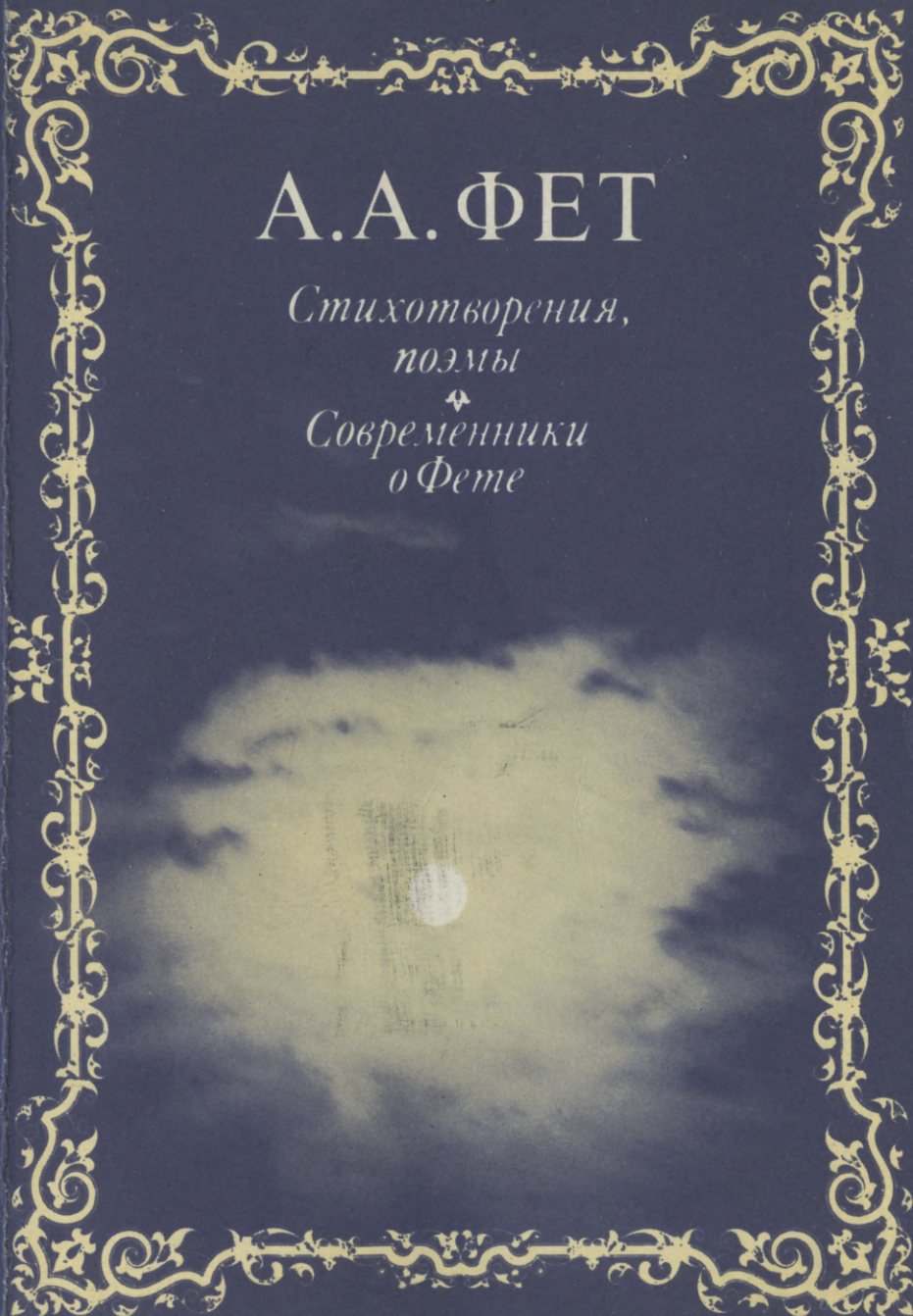
Стихо-
творения,
поэмы.

♦
Современ-
ники
о Фете

А.А. ФЕТ

Стихотворения,
поэмы

♦
Современники
о Фете



А. А. ФЕТ

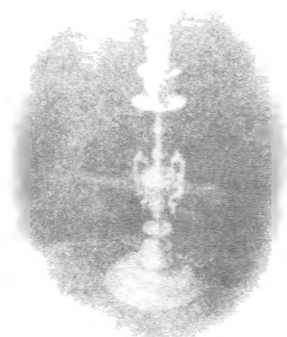
Стихотворения,
поэмы

Современники
о Фете

А.А.ФЕТ

*Стихотворения,
поэмы*

*✦
Современники
о Фете*



Москва. Издательство «Правда». 1988

Вступительная статья А. Е. Тархова

Составление и примечания Г. Д. Аслановой и А. Е. Тархова

В оформлении использованы фотографии В. С. Молчанова

«Дать жизни вздох...»

Лирик Афанасий Фет стал широко известен в 1850 году — когда вышел давно им подготовленный поэтический сборник, впервые представивший русскому читателю мир фетовской поэзии в целостном виде.

Выход «Стихотворений А. Фета» стал ярким событием отечественной изящной словесности нового десятилетия. «В наше непозетическое время с каким-то особенным наслаждением останавливаемся на этом сборнике <...> Даровитейший из наших современных лириков, г. Фет... которого замечательные песни убеждают многих, что и для нашей эпохи не иссяк еще родник истинного лиризма». Так писали «Отечественные записки» — журнал, еще в 1843 году опубликовавший фетовское стихотворение «Я пришел к тебе с приветом...», которое было одновременно и «лирическим автопортретом», и «поэтической декларацией» нового поэта. В четырех строфах этого стихотворения, с четырехкратным повторением глагола «рассказать», Фет как бы во всеуслышание именует все то, о чем пришел он рассказать в русской поэзии: о радостном блеске солнечного утра и страстном трепете молодой, весенней жизни; о жаждущей счастья влюбленной душе и неудержимой песне, готовой слиться с веселием мира...

Я пришел к тебе с приветом,
Рассказать, что солнце встало,
Что оно горячим светом
По листам затрепетало;

Рассказать, что лес проснулся,
Весь проснулся, веткой каждой,
Каждой птицей встрепенулся
И весенней полон жаждой;

Рассказать, что с той же страстью,
Как вчера, пришел я снова,
Что душа все так же счастью
И тебе служить готова;

Рассказать, что отовсюду
На меня весельем веет,
Что не знаю сам, что буду
Петь,— но только песня зреет.

«Подобного лирического весеннего чувства природы мы не знаем во всей русской поэзии!» — таково было впечатление от этого стихотворения критика Василия Боткина, близкого с конца 1840-х годов кругу «Современника». Находя в фетовском творчестве «чарующий лиризм, исполненный... какого-то праздничного всеяня жизни», редакция «Современника» откликнулась на толь-

ко что вышедший сборник поэта сразу двумя рецензиями (в третьем номере 1850 года). «Замечательной по тонкости эстетического чувства» была рецензия давнего поклонника поэта профессора Московского университета Петра Кудрявцева. Для него лирика Фета — подтверждение того, что «самородный источник поэзии не иссякает ни в какое время, что иногда он пробивается наружу даже совершенно вопреки времени, ему, по-видимому, неблагоприятствующему». Критик находит «самый верный указатель неподдельности поэтического таланта» Фета в стихотворении «Я пришел к тебе с приветом...» — в его четвертой строфе: «Песня складывается прежде, чем поэт думал о ней... поэт чувствует, что у него зреет песня, потому что она уже поется». Невольность, непосредственность, неудержимость фетовского «пения», однако, совсем не означает, что новая поэтическая муза «простодушна до наивности»: она «позволяет себе заглядывать жизни прямо в лицо и не пугаться ее приговоров».

Кудрявцев знал, что говорил, упоминая о «приговорах жизни»: необычная фамилия «Фет», звучащая для многих как литературный псевдоним, заключала в себе тайну — но тайну отнюдь не литературного, а жизненного, и притом весьма драматичного, происхождения.

...В сентябре 1820 года дворян мценского помещика Афанасия Неофитовича Шеншина встречала в усадьбе Новоселки своего барина, который отсутствовал почти целый год: лечился на водах в Германии. Отставной гвардеец, 44-летний Шеншин вернулся не один: он привез с собой жену — 22-летнюю Шарлотту Фёт, которая бросила в Германии, в Дармштадте, своего мужа Иоганна Фёта, дочь Каролину, старика отца Карла Беккера — все принесла в жертву своей страсти. Вскоре после приезда Шеншина с Шарлоттой в Новоселки и появился на свет младенец Афанасий; точная дата его рождения неизвестна (варианты: 29 октября; 23 ноября; 29 ноября). Это лишь малая часть той «тайны происхождения», которая стала жизненной драмой поэта: главное же в том, что А. Шеншин явно не был его отцом — но и И. Фёт не считал его своим сыном (это яствует из переписки Шеншиных и Беккеров, разысканной уже в наше время Г. Блоком).

Ребенок Шарлотты Фёт, родившийся осенью 1820 года в Новоселках, был записан в метрических документах сыном Шеншина; этот подлог каким-то образом всплыл в 1834 году, последовал официальный запрос о рождении Афанасия и о браке его родителей — и тут в жизни мальчика произошло катастрофическое «превращение». Прожив четырнадцать лет в Новоселках и считаясь «несомненным Афанасием Шеншиным», он вдруг был отозван в далекий лифляндский городишко Верро, помещен в частный пансион немца Крюммера и вскоре поставлен в известность, что ему следует отныне именоваться «гессен-дармштадтским подданным А. Фётом». Эта «честная фамилия» немецкого мещанина (право на которую для Афанасия с большим трудом добились у дармштадтских родственников его мать и Афанасий Неофитович) спасала мальчика от позорного клейма «незаконнорожденного», которое отбросило бы его на самое дно общества и навсегда закрыло перед ним все пути в жизни; но вместе с тем эта короткая фамилия, такая «мягкая» («Фёт» по-немецки — «жирный»), принесла ее новому владельцу «жесточайшие нравственные пытки», подготовившие в его душе почву для того неискоренимого пессимизма, которым впоследствии так отличались убеждения этого человека.

Оторванный от семьи, потерявший свою фамилию, отлученный от дома (его не брали в Новоселки даже на летние каникулы), одинокий Афанасий рос в чужом городе, чувствуя себя «собакой, потерявшей хозяина». Нетрудно представить, куда уносились мысли и чувства пятнадцатилетнего изгоя: однажды, оказавшись на верховой прогулке у лифляндской границы, он за пограничным мостиком соскочил с лошади и бросился целовать русскую землю. Где-то там, за тысячи верст, были Новоселки — его усадебная колыбель, единственная отрада его души... Но уже готовилась и иная отрада для этой души: в глубине своего существа юный Афанасий чувствовал рождение того света, который

вскоре станет его торжеством в борьбе с жизненным мраком: «В тихие минуты полной беззаботности я как будто чувствовал подводное вращение цветочных спиралей, стремящихся вынести цветок на поверхность...»

Это подавал голос никому еще не ведомый творческий дар, это просилась к жизни поэзия. Но прежде, чем эти тайные цветы появились, Афанасий должен был пережить новую перемену, столь же неожиданную, как и первая, но несравненно более радостную: по воле Шеншина он сменил Лифляндию на Россию, Верро — на Москву, пансион Крюммера — на пансион профессора Московского университета Погодина.

Осенью 1838 года погодинский пансионер становится студентом университета, и в это же время происходят два события, которые и обозначают в его жизни момент «рождения поэта»: восемнадцатилетний Афанасий начал неудержимо писать стихи и познакомился с Аполлоном Григорьевым — тоже студентом университета и тоже горевшим страстью к стихотворству. Вскоре два друга, «Афоня» и «Аполлоша», стали и совсем неразлучны: Афанасий переехал в дом Григорьевых, на Малой Полянке в Замоскворечье, и поселился в комнатке на «антресолях», через стенку от Аполлона. В этом доме друзья готовили к печати первый, «студенческий», сборник стихов Афанасия (который вышел в 1840 году под инициалами «А. Ф.»); в этом же доме были созданы и многие уже зрелые, самобытные стихотворения, которые вскоре стали появляться в журналах под именем «А. Фет». Эта полная подпись впервые появилась в конце 1841 года под стихотворением «Посейдон» в журнале «Отечественные записки»; может быть, следует приписать случаю, ошибке наборщика то, что буква «ё» превратилась в «е» — но сама перемена была знаменательной: фамилия «гессен-дармштадтского подданного» отныне обращалась как бы в литературный псевдоним русского поэта...

В начале 1840-х годов, когда знатоки и ценители поэзии («истинные дилетанты», как тогда говорили) наслаждались «праздничным веянием» и «благоуханной свежестью» фетовской лирики, когда составитель «Полной русской хрестоматии» А. Галахов поместил в ней несколько стихотворений двадцатитрехлетнего поэта рядом с произведениями корифеев отечественной поэзии, когда фетовское стихотворение «На заре ты ее не буди...», положенное на музыку А. Варламовым, стало «почти народною песней», — в это время совершалось мучительное духовное становление нового лирического поэта.

Вдумаемся в следующие слова: «Я не видал человека, которого бы так душила тоска, за которого бы я более боялся самоубийства... Я боялся за него, я проводил часто ночи у его постели, стараясь чем бы то ни было рассеять... страшное хаотическое брожение стихий его души». Это свидетельство Аполлона Григорьева о ближайшем и задушевном друге его юности — авторе стихотворения «Я пришел к тебе с приветом...»; это рассказ о рождении поэта Афанасия Фета. «Этот человек должен был или убить себя, или сделаться таким, каким он сделался <...> Страдания улеглись, затихли в нем, хотя, разумеется, не вдруг <...> Он был художником, в полном смысле этого слова: в высокой степени присутствовала в нем способность творения... С способностью творения в нем росло равнодушие. Равнодушие — ко всему, кроме способности творить, — к божьему миру, как скоро предметы оного переставали отражаться в его творческой способности, к самому себе, как скоро он переставал быть художником. — Так сознал и так принял этот человек свое назначение в жизни». Это свидетельство, многое объясняя в становлении личности Афанасия Шеншина-Фета (с его парадоксальной, изумлявшей многих контрастностью человека и поэта), находит подтверждение в том прозвище, которое имел в студенческие годы Фет: «Рейхенбах». Это была фамилия героя романа Н. Полевого «Абадонна». Наверное, не случайно Фет-студент выбрал себе (или получил от друзей) прозвище «Рейхенбах»: вероятно, на страницах романа Полевого, в речах его героя, поэта-романтика Вильгельма Рейхенбаха он нашел много «своего» — нашел отклик собственным убеждениям, вынесенным из горького жиз-

испного опыта. «Никогда не находил я в мире согласия и мира между жизнью и поэзией!» — восклицает Рейхенбах. С одной стороны — бездушные жизни. «холод существования», непреходящая «горечь действительности»; но этому противостоит «наслаждение мечтаний» — то неистребимое стремление поэта «отказаться от пошлой будничной жизни» и страстно требовать: «Дайте мне первобытного, высокого, безотчетного наслаждения жизнью; дайте мне светлое зеркало искусства, где свободно отражались бы и небо, природа и душа моя!»

«Несверие и вера, живущие во мне, не плоды, выросшие на университетской скамье, а на браздах жизни», — писал Фет в 1840-х годах своему приятелю, поэту Я. Полонскому. В год окончания университета (1844) ему пришлось пережить новые «приговоры жизни». Сначала скоропостижно скончался дядя Петр Неофитович Шеншин, любивший его и обещавший передать ему уже приготовленную значительную сумму денег, чтобы как-то помочь неимущему и бесправному члену рода Шеншиных; со смертью дяди деньги бесследно пропали. Вскоре (после нескольких лет мучительной болезни) умерла от рака мать поэта. В начале следующего года Фет простился с Новоселками; свою дальнейшую дорогу он уже выбрал твердо — и направился в Херсонскую губернию, где поступил на службу в Кирасирский Военного Ордена полк.

Фет избрал «наследственный» для Шеншиных род войск — кавалерию. Сотни дворянских детей подобным же образом шли по стопам своих отцов-военных; но для Фета вступление на эту дорогу имело иной смысл: не естественное продолжение родовой традиции, а целенаправленное обретение ее, возвращение в то лоно, откуда он был исторгнут. «Вольноопределяющийся действительный студент из иностранцев» мог снова стать законным членом своего дворянского рода только одним путем — поступить нижним чином в армию и дослужиться до офицера. Фет вышел на борьбу с судьбой — и в этом споре обнаружил энергию, упорство и терпение, которые трудно было предположить. Девизом неимущего кирасирского «унтера» стал совет, данный ему эскадронным командиром Оконором: «Вам надо идти дорожкой узкою, но верною». Вчерашний вольный студент беспощадно обуздal себя во всем: ни на шаг не отступая от поставленной себе цели, Фет достиг образцовой военной формы, удовлетворявшей самых строгих командиров.

Но вот, наконец, бывшего гессен-дармштадтского подданного приводят к присяге на русское подданство — и вот уже ему вручают заветные эполеты кавалерийского офицера. Но... радости они ему не принесли: до этого вышел высочайший указ, по которому потомственное дворянство давал только чин майора. Судьба сделала новый ход в игре со своим избранником-поэтом. Корнет Фет не дрогнул и не ослабил на себе армейскую лямку...

Много жертв принес он; стремясь к своей цели, — и самой тяжелой из них была потеря беззаветно любившей его девушки, Марии Лазич, дочери бедного херсонского помещика. «...Это существо стояло бы до последней минуты сознания моего передо мною — как возможность возможного для меня счастья и примирения с гадкою действительностью. Но у ней ничего и у меня ничего...» — так писал Фет в марте 1849 года близкому другу И. Борисову. Он не нашел в себе решимости жениться на бесприданнице (и тем самым поставить крест на всех своих планах); а в 1851 году Мария погибла (историю этого трагического романа Фет подробно рассказал в своей мемуарной книге «Ранние годы моей жизни»; памяти Марии посвящено несколько его стихотворений — «Старые письма», «Долго снились мне вопли рыданий твоих...» и другие).

Годы военной службы стали важной эпохой в судьбе Фета — человека и поэта. «...Никакая школа жизни не может сравниться с военной службой, требующей одновременно строжайшей дисциплины, величайшей гибкости и твердости хорошего стального клинка в сношениях с равными и привычку к достижению цели кратчайшим путем» — так оценивал в мемуарах Фет значение своего «военного поприща». Эта эпоха сформировала из юного поэта зре-

лого мужа, оформила весь облик Фета — с тем его парадоксальным сочетанием «практика» и «поэта», «рациональности» и «интуитивности», которое так изумляло всегда близко знавших его людей. Эту свою отличительную особенность Фет в поздние годы описал в одном из писем так: «Несмотря на исключительно интуитивный характер моих поэтических приемов, школа жизни, державшая меня все время в ежовых рукавицах, развила во мне до крайности рефлекссию. В жизни я не позволяю себе ступить шагу необдуманно...».

По собственному признанию Фета, в первые годы военной службы муза его «упорно безмолвствовала». Но вот на пороге 1850-х годов его «интуитивно-поэтическое начало» вновь пробудилось — и вслед за книгой, собравшей прежние его произведения, стали появляться в периодике новые фетовские стихотворения, свидетельствовавшие о полном расцвете этого таланта. Во втором номере журнала «Москвитянин» 1850 года были напечатаны следующие двенадцать строк, присланные кирасиром из Херсонской губернии:

Шепот сердца, уст дыханье,
Трели соловья,
Серебро и колыханье
Сонного ручья,
Свет ночной, ночные тени,
Тени без конца,
Ряд волшебных изменений
Милого лица,
Бледный блеск и пурпур розы,
Речь не говоря,
И лобзания, и слезы,
И заря, заря!..

Это было то стихотворение, с которого и началась громкая слава Фета и которое навсегда стало для многих русских читателей символом всей фетовской поэзии. Стихотворений о любви, о свидании влюбленных было немало и в только что вышедшем его сборнике; но теперь любовное свидание было окутано какой-то «полупрозрачной завесой», каким-то таинственным полумраком. Если знать Фета, то можно было догадаться, что в этом воздушнейшем лирическом создании скрыты «радость земли», огонь страсти, что это один из тех случаев, когда (по словам самого автора) «поэт сам не подымает окончательно завесы перед зрителем, предоставляя последнему глядеть сквозь дымку, как, например, перед изображением вчерашней наивной девушки, взглянувшей наконец в действительную жизнь с ее высшими дарами».

Но завораживающая «размытость» этого стихотворения — не только от поэтического целомудрия, с которым было рассказано о первозданном человеческом естестве, но и от небывалой лирической новизны. Читатели поражались «безглагольности» стихотворения; но это полное отсутствие глаголов — не технический эксперимент, а органическая особенность стихотворения о «музыке любви». Не логически последовательной речи, опирающейся на глаголы и расчлененной синтаксисом, хочет Фет: он ищет лирического способа выразить дрожь сердца, огонь крови, волнение и нарастание страсти — он ищет речи *музыкально-экстатической*. В этих двенадцати строках ярко проявилась та особенность фетовской поэзии, которую почувствовали читатели в сборнике 1850 года и о которой Кудрявцев пронизательно писал, что у поэта есть «зарождения особого рода, которым не всегда необходимо предшествует ясная мысль», ибо они «большею частью одинаковой природы с настроенностью музыкальною», а потому часто разрешаются «прямо в музыку, в мелодию».

Сборник 1850 года был итогом первого, столь многообещающего этапа поэтического пути Фета; со стихотворения «Шепот сердца...» началось время наивысшего взлета его славы: этим временем стала «поэтическая эпоха 1850-х годов». Пробудился наконец всеобщий интерес к поэзии. «Стихи тогда наводняли журналы, читались, пелись, ходили в рукописях по рукам», — вспоминала современница. В декабре 1853 года произошло событие, которое можно было бы считать символической точкой отсчета «поэтической эпохи»: в редакции того журнала, который более всех способствовал возрождению интереса к поэзии, появился человек, имевший репутацию первого лирического поэта. «Коренастый армейский кирасир, говорящий довольно высоким слогом», с «допотопными понятиями из старых журналов» — таким (в описании А. Дружинина) предстал Фет в «Современнике» и скоро стал равным в кругу этого журнала, где собрался весь цвет русской литературы. За прозаической внешностью скрывался человек, исполненный «прирожденным стремлением к идеалу», или, как говорили в редакции «Современника», — «человек со вздохом». Это выражение, услышанное от издателя журнала Ивана Панаева, Фет находил очень удачным и охотно применял его к себе, разъясняя его смысл так: я «человек со вздохом» — то есть чувствующий потребность чего-то высшего, выходящего из круга будничной жизни.

Краеугольным камнем романтической эстетики Фета было резкое разграничение двух сфер: «идеала» и «обыденной жизни». Это убеждение не было для Фета плодом философско-эстетических штудий — оно выросло из его личного жизненного опыта и имело общий корень с самим существом его поэтического дара. В своих воспоминаниях поэт приводит разговор (состоявшийся летом 1853 года) с отчимом Афанасием Неофитовичем — человеком, погруженным всецело, в «практическую действительность» и лишенным «порывов к идеальному». Резюмируя этот разговор, Фет пишет: «Нельзя более резкой чертой отделить идеал от действительной жизни. Жаль только, что старик никогда не поймет, что пытаться поневоле приходится действительностью, но задаваться идеалами — тоже значит жить». Лишь в сфере идеала можно «задышать лучшею жизнью» (чрезвычайно характерное фетовское выражение из тех же воспоминаний); эту сферу образуют: красота (которая «разлита по всему мирозданию» и к которой художник стремится, как пчела к цветку), любовь («которая, как связующее начало, разлита по всей природе»), сокровенные моменты созвучия космической и душевной жизни, творения искусства. Всем этим и «дышал» Фет в своей лирике.

О коренном свойстве фетовской лирики — ее «идеальной устремленности» — замечательно точно сказал как-то в письме к Фету его друг Полонский: «...мой духовный мир далеко не играет такой первенствующей роли, как твой, озаренный *радужными лучами идеального солнца*» (выделено мной. — А. Т.). Эта радость фетовской поэзии воссильна над мраком его бедственной судьбы. Фетовская песня возносилась тем же духом «сопротивления тяготам жизни» (Б. Асафьев) и достигала той же все захватывающей экстатической силы, которые мы находим у безвестного народного певца (его рассказ сообщен в книге писателя-этнографа С. Максимова «Бродячая Русь»): «Я пою, а в нутре как бы не то делается, когда молчу либо сижу. Поднимается во мне словно дух какой и ходит по нутру-то моему. Одни слова пропою, а перед духом-то моим — новые встают и как-то тянут вперед, и как-то дрожь во мне во всем делается. Лют я петь, лют тогда бываю: запую и по-другому заживу, и ничего больше не чую...»

Поэт появился в редакции «Современника» в конце 1853 года, а уже в первом номере следующего года (где было напечатано четыре фетовских стихотворения) Некрасов сообщает читателям, что Фет будет постоянным сотрудником журнала и что он вручил редакции «запас стихотворений, которые

все не уступают помещенным в этой книжке». Некрасов не только пропагандировал поэзию Фета, но и столь явно отдавал в своем журнале предпочтение его стихам перед всеми иными — в том числе и своими собственными, — что Фет превратился в это время в ведущего поэта «Современника» и самого знаменитого лирика эпохи! Русская литература «окружает похвалами» его поэзию, критика не скупится на самые лестные отзывы, у читателей он в моде, и, наконец, «романсы его распевают чуть ли не вся Россия» (по словам М. Салтыкова-Щедрина). Это ли не вершина успеха?

Среди тех оценок, из которых складывалась в эти годы высочайшая поэтическая репутация Фета, есть одна, которую можно назвать венцом его поэтической славы. Это краткое, но «дорогое стоящее» выражение одного из тогдашних активных сотрудников «Современника» — Льва Толстого: «И откуда у этого добродушного толстого офицера берется такая непонятная лирическая дерзость, свойство великих поэтов?»

В 1855 году, в разгар «поэтической эпохи», Некрасов написал полушутливую характеристику ее деятелей, где было, в частности, сказано:

Как птица распекает Фет,
Стихи печатает Некрасов.

Эти строки интересны тем, что здесь впервые сближены, поставлены рядом два ведущих поэта поколения. Пока это дружеское соседство двух несхожих индивидуальностей, но их резкий контраст уже таит в себе возможность разрыва. Принципиальная разнонаправленность двух поэтов стала очевидной годом раньше, когда каждый из них обнародовал «портрет» своей музыки. Вскоре, в одном и том же 1856 году, песни этих муз явились в свет в виде двух поэтических сборников. Некрасов остался верен себе, когда, представляя читателям фетовскую книгу, писал в четвертом номере «Современника» 1856 года: «Читатели знают нашу любовь к таланту г. Фета и наше высокое мнение о поэтическом достоинстве его произведений. Смело можем сказать, что человек, понимающий поэзию и охотно открывающий душу свою ее ощущениям, ни в одном русском авторе, после Пушкина, не почерпнет столько поэтического наслаждения, сколько доставит ему г. Фет. Из этого не следует, чтобы мы равняли г. Фета с Пушкиным; но мы положительно утверждаем, что г. Фет в доступной ему области поэзии такой же господин, как Пушкин в своей, более обширной и многосторонней области».

Высочайшая похвала Фету ограничена, однако, одной существенной оговоркой о «доступной ему области». Что именно было недоступно таланту Фета, с огромной силой продемонстрировал только что вышедший сборник самого Некрасова. О «громдном, неслыханном успехе» стихотворений Некрасова говорилось повсюду; и не одному только Чернышевскому стало ясно, что Некрасову суждено «быть в поэзии создателем совершенно нового периода». Наступало время «музы мести и печали» — и неустойчивое равновесие между фетовской лирикой и некрасовской поэзией социального гитизма готово было вот-вот нарушиться. Гармонии быть не могло, ибо сама действительность была трагически дисгармонична.

Вряд ли мы ошибемся, если скажем, что именно со сборников 1856 года началось противостояние Фета и Некрасова — сначала подспудное, а затем (уже в иную общественную и литературную эпоху 1860-х годов) перешедшее в открытый антагонизм. В этом противостоянии позиция Фета была гораздо сложнее и драматичнее, чем могло бы показаться по той репутации «эстетствующего реакционера», которая была создана вокруг него радикально-разночинской критикой и стала затем надолго едва ли не основным критерием оценки всего

творчества этого поэта¹. Полемика Фета с «шестидесятниками», борьба с идеями революционной демократии (благодаря чему он и заслужил репутацию «крепостника и реакционера») — это лишь часть той драмы художника, какой, безусловно, был фетовский «спор с веком» под знаменем «служения чистой красоте» — спор, начавшийся в 60-е годы и продолжившийся до конца жизни поэта.

Поучительно вернуться к истокам этого спора. Десятилетие, которое вынесло Фета к великой славе, подходило к концу; у порога стояла новая эпоха — 60-е годы, время кардинальных социальных преобразований, новых идейных веяний и резкого размежевания литературных и общественных сил. «Современник» становится органом революционной демократии; Некрасов делает выбор между Чернышевским, Добролюбовым — и Толстым, Тургеневым, Фетом. Все сильнее чувствуются новые, «базаровские» веяния общественного умонастроения, отвергающие «чистое искусство» во имя «практической пользы». Вот тогда-то и состоялось первое и наиболее программное эстетическое выступление Фета: в феврале 1859 года он публикует в журнале «Русское слово» статью «О стихотворениях Ф. Тютчева». В лице этого поэта Фет видел «одного из величайших лириков, существовавших на земле»; статья содержит и тонкие оценки конкретных поэтических текстов, и ценные суждения о специфике «поэтической мысли», о «созерцательной силе» поэта и т. д. Однако главная цель статьи — прежде всего полемическая: тютчевская поэзия понадобилась Фету для защиты собственных художнических представлений. «Чистая красота» (духовно-эстетическая реальность, восходящая к «гению чистой красоты» Жуковского и Пушкина), которой служит «свободное искусство»: вот, собственно, кратчайшее изложение эстетических убеждений Фета, органически связанных с существом его лирического дара. Если в 1840-е и 1850-е годы реализация этих убеждений в творчестве поэта происходила беспрепятственно, то теперь Фет оказывался явно «плывущим против течения».

В запальчивости полемики, нередко доходившей, по собственному выражению, до «уродливых преувеличений» (Тургенев называл его «удилозакусным»), Фет в начале статьи «эпатирует» своих оппонентов следующей фразой: «...вопросы: о правах гражданства поэзии между прочими человеческими деятельностями, о ее нравственном значении, о современности в данную эпоху и т. п. считаю кошмарами, от которых давно и навсегда отделался». Но, словно бы поостыв от этого полемического запала к концу статьи, Фет говорит там уже следующее: «Преднамеренно избегнув, в начале заметок, вопроса о нравственном значении художественной деятельности, мы теперь сошлемся только на критическую статью редактора «Библиотеки для чтения» в октябрьской книжке 1858 года: «Очерк истории русской поэзии». В конце статьи в особенности ясно, спокойно и благоприятно указано на высокое это значение». Таким путем — отсылкой к статье идейно близкого ему критика А. Дружинина — Фет дает понять, что «нравственное значение художественной деятельности» есть вопрос для него отнюдь не безразличный; но в своей статье он сосредоточивается на вопросах философии искусства, психологии творчества и поэтического мастерства.

Эпатирующе-запальчивый характер фетовской полемики сказался и в том месте статьи, где говорилось о природе лиризма: «Все живое состоит из противоположностей; момент их гармонического соединения неуловим, и лиризм,

¹ Лишь сравнительно недавно появились существенные работы, выявившие духовно-историческую глубину проблемы «Некрасов и Фет»: Е. В. Е р м и л о в а. Некрасов и Фет // Н. А. Некрасов и русская литература. М., 1971; Н. С к а т о в а. Некрасов и Фет // Н. Скатов. Некрасов: Современники и продолжатели. Л., 1973.

этот цвет и вершина жизни, по своей сущности, навсегда останется тайной. Лирическая деятельность тоже требует крайне противоположных качеств, как, например, безумной, слепой отваги и величайшей осторожности (тончайшего чувства меры)». О лиризме сказано глубоко и сильно; но автору этого как будто мало — и он прибегает к следующему рискованному образу: «Кто не в состоянии броситься с седьмого этажа вниз головой, с непоколебимой верой в то, что он воспарит по воздуху, тот не лирик». Над Фетом, «бросающимся с седьмого этажа», потешались даже друзья его, а уж недругам он дал излюбленный предмет для острот и насмешек. Фраза действительно производит впечатление довольно комичное; и хотя можно было бы показать, что Фет вкладывал в нее смысл весьма для себя серьезный (ибо выражение это явно связано с образом «безумного парения» — той особой духовно-творческой силы, которая, по Фету, и помогает поэту прорвать плен «будничной действительности»), однако гораздо важнее уяснить смысл не одной фразы или даже целой статьи, а в целом художнической позиции Фета. Гораздо лучше самого поэта это сделал писатель, казалось бы, очень далекий и биографически и творчески от «фетовского круга», но обнаруживший поразительно глубокое и сочувственное понимание Фета как художника: это был Ф. Достоевский.

В 1861 году он выступил со статьей «Г.-бов» и вопрос об искусстве («Г.-бов» — псевдоним Н. Добролюбова, ставшего с 1857 года ведущим критиком «Современника»). Задача статьи — вынести на объективный суд проблему искусства, возбудившую немолкающие словесные баталии противоборствующих партий: «Одна партия — партия защитников свободы и полной неподчиненности искусства» — говорит, что «искусство служит само себе целью и в самой сущности своей должно находить себе оправдание»; другая партия учит тому, что «искусство должно служить человеку прямой, непосредственной, практической и даже определенной обстоятельствами пользой». Знаменательно, что при разрешении этого спора Достоевский за «наглядными примерами» обращается к творчеству Фета. Выбрав одно из самых знаменитых созданий фетовской «чистой лирики» — стихотворение «Шепот сердца, уст дышанье...», — Достоевский помещает его в «экспериментальную ситуацию»: предположим, что это стихотворение появляется на самом видном месте в лиссабонской газете на другой день после всенародного бедствия — страшного землетрясения (случившегося в 1775 году). «Да еще мало того: тут же, в виде послесловия к поэме, приложено в прозе всем известное поэтическое правило, что тот не поэт, кто не в состоянии выскочить вниз головой с четвертого этажа (для каких причин? — я до сих пор этого не понимаю; но уж пусть это непременно надо, чтоб быть поэтом; не хочу спорить). ...лиссабонцы, мне кажется <...> тут же казнили бы всенародно, на площади, своего знаменитого поэта, и вовсе не за то, что он написал стихотворение без глагола, а потому, что <...> показался слишком оскорбительным и небратским поступок поэта, воспевающего такие забавные вещи в такую минуту их жизни...»

Таким образом, виноват поэт, злоупотребивший искусством, но не само искусство — и Достоевский завершает свою «экспериментальную ситуацию» так: «...положим, лиссабонцы и казнили своего любимого поэта, но ведь стихотворение, на которое они все рассердились (будь оно хоть и о розах и янтаре), могло быть великолепно по своему художественному совершенству. Мало того, поэта-то они 6 казнили, а через тридцать, через пятьдесят лет поставили бы ему на площади памятник за его удивительные стихи вообще, а вместе с тем и за «пурпур розы» в частности. <...> Поэма, за которую казнили поэта, как памятник совершенства поэзии и языка, принесла, может быть, даже и не малую пользу лиссабонцам, возбуждая в них потом эстетический восторг и чувство красоты, и легла благотворной росой на души молодого поколения».

Да, искусство приносит пользу — не только свою, особую: отвечая на врожденную потребность красоты, оно поддерживает в душе человека стремление к совершенству. Напоминая о вечных созданиях искусства, оставленных прошедшими эпохами нам в наследство, Достоевский говорит об особом рода «энтузиазме перед идеалами красоты», который испытывает современный человек, современный художник. Чтобы разъяснить свою мысль, писатель приводит самый яркий пример из всех ему известных — находя его опять-таки в творчестве Фета: «Мы знаем одно стихотворение, которое можно почесть воплощением этого энтузиазма, страстным зовом, молением перед совершенством прошедшей красоты и скрытой внутренней тоски по такому же совершенству...» Речь идет о стихотворении «Диана»; не ваятелем отрешенных от жизни «антологических красот» предстает Фет, но творцом поэтических строк, которые «полны такой страстной жизненности, такой тоски, такого значения, что мы ничего не знаем более сильного, более жизненного во всей нашей русской поэзии».

Эти слова Достоевского принадлежали к самым глубоким и объективным оценкам фетовского творчества; но сам поэт вряд ли тогда читал их. Когда появилась эта статья (журнал «Время», февраль 1861 года), Фет был уже далеко от журнальной полемики и от литературы вообще. Выйдя в 1858 году в отставку (так и не получив права на потомственное дворянство), отставной штаб-ротмистр решил стать профессиональным литератором и заняться переводами. Но резкое изменение «общего воздуха жизни», в котором все труднее дышалось Фету-лирику; разрыв в 1859 году с «Современником» (где в ответ на статью «О стихотворениях Ф. Тютчева» была напечатана глумливо-издевательская, «разгромная» статья Д. Михаловского «Шекспир в переводе г. Фета»); «убеждение в невозможности находить материальную опору в литературной деятельности» — все это привело Фета в состояние тяжелой хандры и депрессии. В этой ситуации спасительным оказалось для него решение оставить литературу и заняться сельским хозяйством.

Сельскохозяйственный сезон 1861 года Фет провел уже на «своей земле»: на юго-западной окраине родного ему Мценского уезда, среди голой степи, он купил хутор Степановку с двумястамидесятью отличной черноземной пахотной земли. Ставший родственником Фета В. Боткин не сомневался в успехе предприятия: «А ты, Фет, я думаю, можешь быть хорошим хозяином при твоём практическом смысле». Заметим, что соединение в натуре Фета «поэтического» и «практического» начал часто воспринималось — в том числе и мемуаристами — лишь в плане внешнего парадокса: «И наружностью, и разговорами он так мало походил на поэта <...> Говорил он больше о предметах практических, сухих» (Е. Оболенская-Толстая); «В нем было что-то жесткое и, как ни странно это сказать, было мало поэтического. Зато чувствовался ум и здравый смысл (С. Толстой). Однако тот факт, что «духовное и практическое в нем было одинаково сильно» (по точному определению Т. Кузминской), требует уразумения как исключительно важная культурно-психологическая проблема.

Семнадцать лет жизни отдал Фет Степановке, превратив ее в образцовое доходное хозяйство; более того — бывший хутор стал хорошо устроенной усадьбой со скромным, но уютным и комфортабельным домом, с прудом, садом (выращенным на пустом месте), с отличной подъездной дорогой на месте прежней непролазной колеи и т. д.¹

Внутренняя духовная жизнь хозяйина Степановки известна нам более всего по переписке с Львом Толстым — ближайшим другом Фета в 1860—1870-е годы. 19 октября 1862 года Фет писал в Ясную Поляну со своей фермы: «Жена

¹ О социально-идеологическом содержании степановского хозяйствования Фета см.: Фет А. А. Сочинения: в 2 томах. М., 1982. Т. 2. С. 370—380.

набренькивает чудные мелодии Mendelcon'a, а мне хочется плакать. Эх, Лев Николаевич, постарайтесь, если можете, приоткрыть форточку в мир искусства. Там рай, там ведь *возможности вещей* — идеалы». Фет просил Толстого вернуться к искусству, — но на то же самое надеялся и Толстой, когда писал своему другу (в июне 1867 года): «Я от вас все жду, как от 20-летнего поэта, и не верю, чтобы вы кончили. Я свежее и сильнее вас не знаю человека». А когда в мае 1870 года Фет прислал ему свое новое весеннее стихотворение («Майская ночь»), Толстой писал поэту: «... мне кажется, это не случайное стихотворение, а что это первая струя давно задержанного потока». Толстой не только оказался прав, но и проницательно подметил в новом лирическом потоке Фета нечто еще небывалое; прочитав очередное «весеннее лирическое приношение» (стихотворение «В дымке-невидимке...») своего друга, он сообщал ему (11 мая 1873 года): «Стихотворение ваше крошечное прекрасно. Это новое, никогда не уловленное прежде чувство боли от красоты, выражено прелестно».

Толстой почувствовал здесь как раз то, что прежде проницательно подметил в фетовской лирике Достоевский (который, кстати, в этом же 1873 году, в рецензии на роман Лескова «Соборяне», подтвердил свою высочайшую оценку поэта: «Как проста гениальная лирика Фета, по глубине и непосредственности дарования... первого лирика новой Европы!»¹). Прежде скрытая «тоска по совершенству» теперь, в 70-е годы, превратилась у Фета в ясно различимую «боль от красоты» — зазвучав «плачем» и «рыданием» в его поздней лирике.

Далекий друг, пойми мои рыдания,
Ты мне прости болезненный мой крик.
С тобой цветут в душе воспоминанья,
И дорожить тобой я не отвык...—

так начинается стихотворное обращение старика Фета к Александре Львовне Бржеской, одной из самых дорогих поэту женщин, с которой его связывали близкие отношения еще со времен херсонской службы. Это стихотворение — выразительнейший «лирический автопортрет» позднего Фета, подтверждающего верность своему призванию и своим духовным ценностям:

Кто скажет нам, что жить мы не умели,
Бездушные и праздные умы,
Что в нас добро и нежность не горели
И красоте не жертвовали мы?

Горестное чувство «безотзывности», обреченности одиноко нести свой «поэтический огонь» с огромной силой звучит в финале стихотворения:

Не жизни жаль с томительным дыханьем,
Что жизнь и смерть? А жаль того огня,
Что просиял над целым мирозданьем,
И в ночь идет, и плачет, уходя.

Но прежде чем навсегда уйти в ночь, «поэтический огонь» ослепительно просиял над жизнью Фета. Этот последний взлет творческой активности поэта совпал с важной переменной в его жизни: он покинул Степановку, оставил активную хозяйственную деятельность и, купив в 1877 году великолепную старинную усадьбу Воробьевку, сделал ее «обителью поэзии». Здесь «лирический по-

¹ См.: Виноградов В. В. Проблема авторства и теории стилей. М., 1961. С. 516.

ток» старика Фета набрал полную силу — и появились один за другим четыре выпуска его лирических стихотворений (1883, 1885, 1888, 1891) под общим названием «Вечерние Огни». Название было многосмысленным, многозначным, предметным и символическим одновременно. Это был и «вечер жизни» — но и тот переходный час от дня к ночи, когда радостнее всего чувствовал поэт свою «легкость», «освобожденность» от дневных, будничных забот; огонь зажигал уединенный человек, «не занавесивший вечером своих освещенных окон», но за каждым «окошечком» четырех лирических книжек горели бесконечные живые огни природы, космоса.

В предисловии к третьему выпуску «Вечерних Огней» (1888) в последний раз прозвучала ключевая тема фетовской эстетики — «борьба искусства с будничной жинью»: «Конечно, никто не предложит, чтобы в отличие от всех людей мы одни не чувствовали <...> неизбежной тягости будничной жизни <...> эти-то жизненные тяготы и заставляли нас в течение пятидесяти лет по временам отворачиваться от них и пробывать будничный лёд, чтобы хотя бы на мгновение вздохнуть чистым и свободным воздухом поэзии». А в последнем, четвертом выпуске «Вечерних Огней», выпущенном за год до смерти, Фет с абсолютной отчетливостью высказал свое представление о назначении поэтического творчества:

Одним толчком согнать ладью живую
С наглаженных отливами песков,
Одной волной подняться в жизнь иную,
Учуять востр с цветущих берегов,

Тоскливый сон прервать единым звуком,
Упитьсь вдруг неведомым, родным,
Дать жизни вздох, дать сладость тайным мукам,
Чужое вмиг почувствовать своим,

Шепнуть о том, пред чем язык немеет,
Усилить бой бестрепетных сердец...

«Дать жизни вздох»: любой непредвзятый читатель должен был почувствовать, что фетовская лирика отнюдь не зовет к «уходу от жизни» — она лишь предлагает *собственную программу* поэтического действия в ней. Но если многие современники убежденно называли Фета великим поэтом, если в 1903 году А. В. Олсуфьев даже установил ему памятник (как бы исполняя предсказание Достоевского), то какова духовная актуальность фетовской лирики для нашего времени? Приведем только один документ — но и он о многом говорит. Это дневниковая запись нашего современника: «Стал читать Фета, одно стихотворение за другим, и все не мог остановиться, выбирал свои любимые, и испытывал такое блаженство, что, казалось, сердце не выдержит — и не мог представить себе, что есть где-то люди, для которых это мертво и ненужно. <...> эта лирика — есть счастье, которое может доверху наполнить всего человека...»

(Корней Чуковский, 24 января 1926 года).

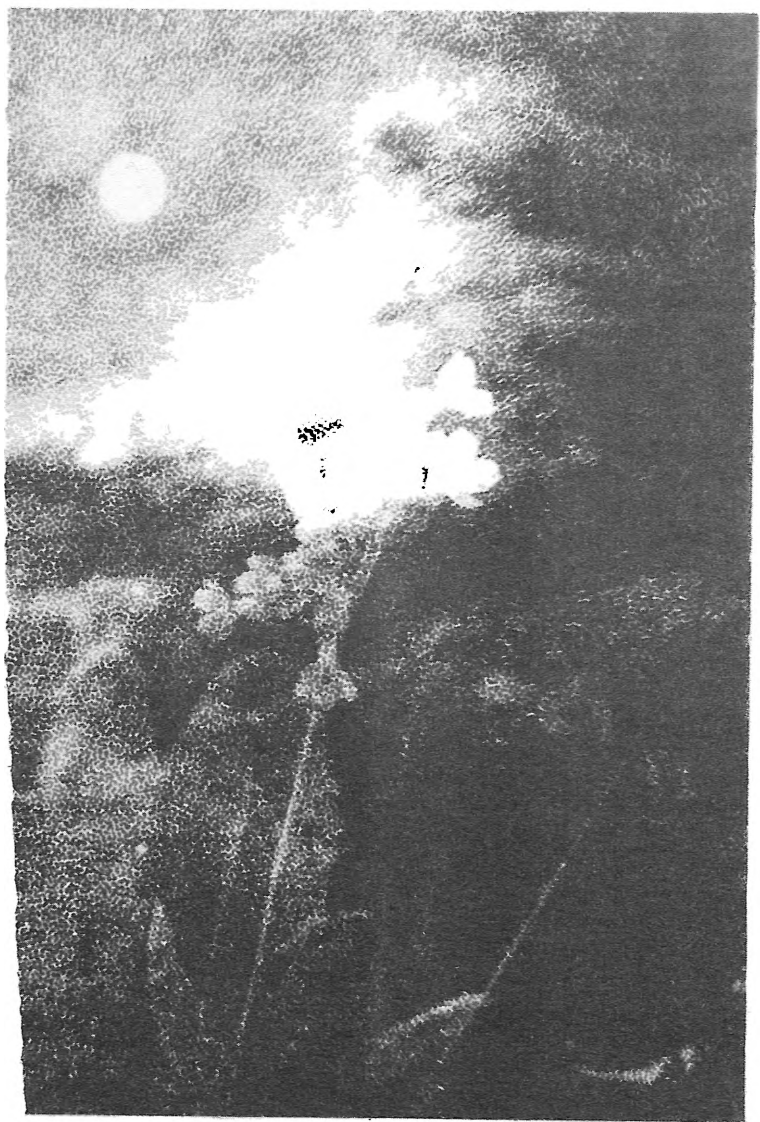
А. Тархов



Еще люблю, еще томлюсь



перед всемирной красотой...



Элегии и думы

* * *

О, долго буду я, в молчаньи ночи тайной,
Коварный лепет твой, улыбку, взор случайный,
Перстам послушную волос густую прядь
Из мыслей изгонять и снова призывать;
Дыша порывисто, один, никем не зримый,
Досады и стыда румянами палимый,
Искать хотя одной загадочной черты
В словах, которые произносила ты;
Шептать и поправлять былые выраженья
Речей моих с тобой, исполненных смущенья,
И в опьянении, наперекор уму,
Заветным именем будить ночную тьму.

<1844>

* * *

Когда мои мечты за гранью прошлых дней
Найдут тебя опять за дымкою туманной,
Я плачу сладостно, как первый иудей
На рубеже земли обетованной.

Не жаль мне детских игр, не жаль мне тихих снов,
Тобой так сладостно и больно возмущенных
В те дни, как постигал я первую любовь
По бунту чувств неутомонных,

По сжатию руки, по отблеску очей,
Сопровождаемым то вздохами, то смехом,
По ропоту простых, незначащих речей,
Лишь нам звучавших страсти эхом.

<1844>

* * *

Когда мечтательно я предан тишине
И вижу кроткую царицу ясной ночи,
Когда созвездия заблещут в вышине
И сном у Аргуса начнут смыкаться очи,

И близок час уже, условленный тобой,
И ожидание с минутой возрастает,
И я стою уже безумный и немой,
И каждый звук ночной смущенного пугает,

И нетерпение сосет больную грудь,
И ты идешь одна, украдкой, озираясь,
И я спешу в лицо прекрасной заглянуть,
И вижу ясное,— и тихо, улыбаясь,

Ты на слова любви мне говоришь «люблю!»,
А я бессвязные связать стараюсь речи,
Дыханьем пламенным дыхание ловлю,
Целую волосы душистые и плечи,

И долго слушаю, как ты молчишь,— и мне
Ты предаешься вся для страстного лобзанья,—
О друг, как счастлив я, как счастлив я вполне!
Как жить мне хочется до нового свиданья!

<1847>

* * *

Постой! здесь хорошо! зубчатой и широкой
Каймою тень легла от сосен в лунный свет...
Какая тишина! Из-за горы высокой
Сюда и доступа мятежным звукам нет.

Я не пойду туда, где камень вероломный,
Скользя из-под пяты с отвесных берегов,
Летит на хрящ морской; где в море вал огромный
Придет — и убежит в объятия валов.

Одна передо мной, под мирными звездами,
Ты здесь, царица чувств, властительница дум...
А там придет волна — и грянет между нами...
Я не пойду туда: тем вечный плеск и шум!

<1847>, 1855

Странное чувство какое-то в несколько дней овладело
Телом моим и душой, целым моим существом:
Радость и светлая грусть, благотворный покой и желанья
Детские, резвые — сам даже понять не могу.
Вот хоть теперь: посмотрю за окно на веселую зелень
Вешних деревьев, да вдруг ветер ко мне донесет
Утренний запах цветов и птичек звонкие песни —
Так бы и бросился в сад с кликом: пойдем же, пойдем!
Да как взгляну на тебя, как уселась ты там безмятежно
Подле окошка, склоня иглы ресниц на канву,
То уж не в силах ничем я шевельнуться, а только
Всю озираю тебя, всю — от пробора волос
До перекладины пялец, где вольно, легко и уютно,
Складки раздвинув, прильнул маленькой ножки носок.
Жалко... да нет — хорошо, что никто не видал, как взглянула
Ты на сестрицу, когда та приходила сюда
Куклу свою показать. Право, мне кажется, всех бы
Вас мне хотелось обнять. Даже и брат твой, шалун,
Что изучает грамматику в комнате ближней, мне дорог.
Можно ль так ложно его вещи учить понимать!
Как отворялися двери, расслушать я мог, что учитель
Каждый отдельный глагол прятал в отдельный залог.
Он говорил, что любить есть действие — не состоянье.
Нет, достохвальный мудрец, здесь ты не видишь ни зги;
Я говорю, что любить — состоянье, еще и какое!
Чудное, полное нег!.. Дай бог нам вечно любить!



* * *

Я знаю, гордая, ты любишь самовластье;
Тебя в ревнивом сне томит чужое счастье;
Свободы смелый лик и томный взор любви
Манят наперерыв желанья твои.
Чрез всю толпу рабов у пышной колесницы
Я взгляд лукавый твой под бархатом ресницы
Давно прочел, давно — и разгадал с тех пор,
Где жертву новую твой выбирает взор.
Несчастный юноша! давно ль, веселья полный,
Скользил его челнок, расталкивая волны?
Смотри, как счастлив он, как волен... он — ничей;
Лобзает ветер один руно его кудрей.
Рука, окрепшая в труде однообразном,
Минула берега, манящие соблазном.
Но горе! ты поёшь; на зыбкое стекло
Из ослабевших рук упущено весло;
Он скован, — ты поёшь, ты блещешь красотою,
Для взоров божество — сирена под водою.

Июль 1847

* * *

Ее не знает свет, — она еще ребенок;
Но очерк головы у ней так чист и тонок
И столько томности во взгляде кротких глаз,
Что детства мирного последний близок час.
Дохнет тепло любви, — младенческое око
Лазурным пламенем засветится глубоко,
И гребень, ласково-разборчив, будто сам
Пойдет медлительней по пышным волосам,
Персты румяные, бледнея, подлиннеют...
Блажен, кто замечал, как постепенно зреют
Златые гроздия, и знал, что, виноград
Сбирая, он вопьет их сладкий аромат!

<1847>

* * *

Эх, шутка-молодость! Как новый, ранний снег
Всегда и чист и свеж! Царица тайных нег,
Луна зеркальная под древнею Москвою
Одну выводит ночь блестящей за другою.
Что, все ли улеглись, уснули? Не пора ль?..
На сердце жар любви, и трепет, и печаль!..

Бегу! Далекие, как бы в вознагражденье,
Шлют звезды в иное свое изображение.
В сиянии полночи безмолвен сон Кремля.
Под быстрою стопой промерзлая земля
Звучит, и по крутой, хотя недавней стуже
Доходит бой часов порывистей и туже.
Бегу! Нигде огня,— соседи полегли,
И каждый звук шагов, раздавшийся вдали,
Иль тени на стене блестящей колыханье
Мне напрягает слух, прервав мое дыханье.

<1847>

* * *

Лозы мои за окном разрослись живописно и даже
Свет отнимают. Смотри, вот половина окна
Верхняя темною зеленью листьев покрыта; меж ними,
Будто нарочно, в окне кисть начинает желтеть.
Милая, полно, не трогай!.. К чему этот дух разрушенья!
Ты доставать виноград высунешь руку на двор,—
Белую, полную ручку легко распознают соседи,
Скажут: она у него в комнате тайно была.

<1847>

* * *

Тебе в молчании я простираю руку
И детских укоризн в грядущем не страшусь.
Ты втайне поняла души смешную муку,
Усталых прихотей ты разгадала скуку;
Мы вместе — и судьбе я молча предаюсь.

Без клятв и клеветы ребячески-невинной
Сказала жизнь за нас последний приговор.
Мы оба молоды, но с радостью старинной
Люблю на локон твой засматриваться длинный;
Люблю безмолвных уст и взоров разговор.

Как в дни безумные, как в пламенные годы,
Мне жизни мировой святыня дорога;
Люблю безмолвие полунощной природы,
Люблю ее лесов лепечущие своды,
Люблю ее степей алмазные снега.

И снова мне легко, когда, святому звуку
Внимая не один, я заживо делюсь;

Когда, за честный бой с теньми взяв поруку,
Тебе в молчании я простираю руку
И детских укоризн в грядущем не страшусь.
<1847>

* * *

Не говори, мой друг: «Она меня забудет,
Изменчив времени всемогущего полет;
Измученной души напрасный жар пройдет,
И образ роковой преследовать не будет
Очей задумчивых; свободней и смелей
Вздохнет молодая грудь; замедленных речей
Полетится снова ток блистательный и сладкой;
Ланиты расцветут — и в зеркало украдкой
Невольно станет взор с вопросом забегать, —
Опять весна в груди — и счастье опять».
Мой милый, не лелей прекрасного обмана:
В душе мечтательной смертельна эта рана.
Видал ли ты в лесах под тению дубов
С винтовками в руках засевших шалунов,
Когда с холмов крутых, окрестность оглашая,
Несется горячо согласных гончих стая
И, праздным юношам дриад жестоких дань,
Уже из-за кустов выскакивает лань?
Вот-вот и выстрелы — и в переливах дыма
Еще быстрее лань, как будто невредима,
Проклятьям вопреки и хохоту стрелков,
Уносится во мглу безбрежную лесов, —
Но ловчий опытный уж на позыв победный
К сомкнувшимся губам рожок подносит медный.
<1854>



* * *

Не спится. Дай зажгу свечу. К чему читать?
Ведь снова не пойму я ни одной страницы —
И яркий белый свет начнет в глазах мелькать,
И ложных призраков заблещут вереницы.

За что ж? Что сделал я? Чем грешен пред тобой?
Ужели помысел мне должен быть укором,
Что так язвительно смеется призрак твой
И смотрит на меня таким тяжелым взором?

<1854>

* * *

Под небом Франции, среди столицы света,
Где так изменчива народная волна,
Не знаю отчего грустна душа поэта
И тайной скорбию мечта его полна.

Каким-то чуждым сном весь блеск несется мимо,
Под шум ей грезится иной, далекий край;
Так древле дикий скиф средь праздничного Рима
Со вздохом вспоминал свой северный Дунай.

О боже, перед кем везде страдания наши
Как звезды по небу полному горят,
Не дай моим устам испить из горькой чаши.
Изгнанья мрачного по капле жгучий яд!

1856

СМЕРТИ

Когда, измучен жаждой счастья
И громом бедствий оглушен,
Со взором, полным сладострастья,
В тебе последнего участья
Искать страдалец обречен, —

Не верь, суровый ангел бога,
Тушить свой факел погоди.
О, как в страданьи веры много!
Постой! безумная тревога
Уснет в измученной груди.

Придет пора — пора иная:
Повеет жизни благодать,
И будет тот, кто, изнывая,
В тебе встречал предтечу рая,
Перед тобою трепетать.

Но кто не молит и не просит,
Кому страданье не дано,
Кто жизни злобно не поносит,
А молча, сознавая, носит
Твое могучее зерно,

Кто дышит с равным напряженьем,
Того, безмолвна, посети,
Повея полным примиреньем,
Ему предстань за сновиденьем
И тихо вежды опусти.

Конец 1856 или начало 1857

* * *

Целый заставила день меня промечтать ты сегодня:
Только забудусь — опять ты предо мною в саду.
Если очнусь, застаю у себя на устах я улыбку;
Вновь позабудусь — и вновь листья в глазах да цветы,
И у суровой коры наклоненного старого клена,
Милая дева-дитя, в белом ты чинно сидишь.
Да, ты ребенок еще; но сколько любви благодатной
Светит в лазурных очах мальчику злому вослед!
Златоволосый, как ты, на твоих он играет коленях,
В вожжи твой пояс цветной силясь, шалун, обратить.
Крепко сжимая концы ленты одною ручонкой,
Веткой левкая тебя хочет ударить другой.
Полно, шалун! Ты сронил диадиму с румяной головки;
Толстою прядью скользя, вся развернулась коса.
Цвет изумительный; точно опала и бронзы слиянье
Иль назревающей ржи колос слегка-золотой.
О Афродита! Не твой ли здесь шутит кудрявый упрямец?
Долго недаром вокруг белый порхал мотылек;
Мне еще памятен образ Амура и нежной Психеи!
Душу мою ты в свой мир светлый опять унесла.

<1857>

ОДИНОКИЙ ДУБ

Смотри,— синея друг за другом,
Каким широким полукругом
Уходят правнуки твои!
Зачем же тенью благотворной
Всё кружишь ты, старик упорный,
По рубежам родной земли?

Когда ж неведомым страданьям,
Когда жестоким испытаньям
Придет медлительный конец?
Иль вечно понапрасну годы
Рукой суровой непогоды
Упрямый щиплют твой венец?

И под изрытою корою
Ты полон силой молодою.
Так старый витязь, сверстник твой,
Не остывал душой с годами
Под иззубренною мечами,
Давно заржавленной броней.

Всё дальше, дальше с каждым годом
Вокруг тебя незримым ходом
Ползет простор твоих корней,
И, в их кривые промежутки
Гнездясь, с пригорка незабудки
Глядят смелее в даль степей.

Когда же, вод взломав оковы,
Весенний ветер несет в дубровы
Твои поблеклые листья,
С ним вести на простор широкий,
Что жив их пращур одинокий,
Ко внукам посылаешь ты.

<1856>

ИТАЛИЯ

Италия, ты сердцу солгала!
Как долго я в душе тебя лелеял,—
Но не такой мечта тебя нашла,
И не родным мне воздух твой повеял.

В твоих степях любимый образ мой
Не мог, опять воскреснувши, не вырость;
Сын севера, люблю я шум лесной
И зелени растительную сырость.

Твоих сынов паденье, и позор,
И нищету увидя, содрогаюсь;
Но иногда, суровый приговор
Забыв, опять с тобою примиряюсь.

В углах садов и старческих руин,
Нередко жар я чувствую мгновенный
И слушаю — и кажется, один
Я слышу гимн Сивиллы вдохновенной.

В подобный миг чужие небеса
Неведомой мне в душу веют силой,
И я люблю, увядшая краса,
Твой долгий взор, надменный и унылый,

И ящериц, мелькающих кругом,
И негу их на нестерпимом зное,
И страстного кумира под плющом
Раскидистым увечье вековое.

Между 1856 и 1858

НА РАЗВАЛИНАХ ЦЕЗАРСКИХ ПАЛАТ

Над грудой мусора, где плющ тоскливо вьется,
Над сводами глухих и темных галерей
В груди моей сильней живое сердце бьется,
И в жилах кровь бежит быстрее.

Пускай вокруг меня тяжелые громады,
Из праха восстают и храмы и дворцы,
И драгоценные пестреют колоннады,
И воскресают мертвецы,

И шум на площади, и женщин вереница,
И вновь увенчанный святой алтарь горит,
И из-под новых врат золотая колесница
К холму заветному спешит.

Нет! нет! не ослепишь души моей тревожной!
Пускай я не дерзну сказать: «Ты не велик»,
Но, Рим, я радуюсь, что, грустный и ничтожный,
Ты здесь у ног моих приник!

Безжалостный квирит, тебя я ненавижу
За то, что на земле ты видел лишь себя,
И даже в зрелищах твоих кровавых вижу,
Что музы проклинали тебя.

Напрасно лепетал-ты эллинские звуки:
Ты смысла тайного речей не разгадал
И на учителя безжалостные руки,
Палач всемирный, подымал.

Законность измерял бы силою великой —
Что ж сиротливо так безмолвствуешь теперь?
Ты сам, бездушный Рим, пал жертвой силы дикой,
Как устаревший хищный зверь.

И вот растерзаны блестящие одежды,
В тумане утреннем развалина молчит,
И трупа буйного, жестокого невежды
Слезой камня не почитит.

Между 1856 и 1858

* * *

Пойду навстречу к ним знакомою тропкою.
Какою нежною, янтарною зарею
Сияют небеса, нетленные, как рай.
Далеко выгнулся земли померкший край,
Прохлада вечера и дышит и не дышит.
И колос зреющий едва-едва колышет.
Нет, дальше не пойду: под сению дубов
Всю ночь, всю эту ночь я просидеть готов,

Смотря в лицо зари иль вдоль дороги серой...
Какою молодой и безграничной верой
Опять душа полна! Как в этой тишине
Всем, всем, что жизнь дала, довольная вполне,
Иного уж она не требует удела.
Собака верная у ног моих присела
И, ухо чуткое насторожив слегка,
Глядит на медленно ползущего жука.
Иль мне послышалось? — В подобные мгновенья
Вдали колеблются и звуки, и виденья.
Нет, точно — издали доходит до меня
Нетерпеливый шаг знакомого коня.

<1859>

СТАРЫЕ ПИСЬМА

Давно забытые, под легким слоем пыли,
Черты заветные, вы вновь передо мной,
И в час душевных мук мгновенно воскресили
Все, что давно-давно утрачено душой.

Горя огнем стыда, опять встречаются взоры
Одну доверчивость, надежду и любовь,
И задушевных слов поблекшие узоры
От сердца моего к ланитам гонят кровь.

Я вами осужден, свидетели немые
Весны души моей и сумрачной зимы.
Вы те же светлые, святые, молодые,
Как в тот ужасный час, когда прощались мы.

А я доверился предательскому звуку, —
Как будто вне любви есть в мире что-нибудь! —
Я дерзко оттолкнул писавшую вас руку,
Я осудил себя на вечную разлуку
И с холодом в груди пустился в дальний путь.

Зачем же с прежнею улыбкой умиления
Шептать мне о любви, глядеть в мои глаза?
Души не воскресит и голос всепрощенья,
Не смоет этих строк и жгучая слеза.

1859(?)

О нет, не стану звать утраченную радость,
Напрасно горячить скудеющую кровь;
Не стану кликать вновь забывчивую младость
И спутницу ее безумную любовь.

Без ропота иду навстречу вечной власти,
Молитву затвердя горячую одну:
Пусть тот осенний ветер мои погасит страсти,
Что каждый день с чела роняет седину.

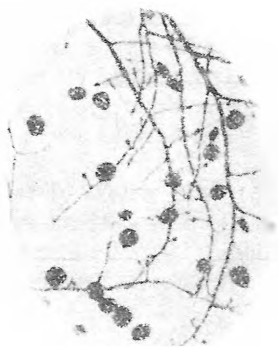
Пускай с души больной, борьбою утомленной,
Без грохота спадет тоскливой жизни цепь,
И пусть очнусь вдали, где к речке безыменной
От голубых холмов бежит немая степь,

Где с дикой яблонью убором спорит слива,
Где тучка чуть ползет, воздушна и светла,
Где дремлет над водой поникнувшая ива
И вечером, жужжа, к улью летит пчела.

Быть может, — вечно вдаль с надеждой смотрят очи! —
Там ждет меня друзей лелеющий союз,
С сердцами чистыми, как месяц полуночи,
С душою чуткою, как песни вещей муз.

Там наконец я все, чего душа алкала,
Ждала, надеялась, на склоне лет найду
И с лоно тихого земного идеала
На лоно вечности с улыбкой перейду.

<1857>



* * *

Окна в решетках, и сумрачны лица,
Злоба глядит ненавистно на брата;
Я признаю твои стены, темница,—
Юности пир ликовал здесь когда-то.

Что ж там мелькнуло красою нетленной?
Ах, что цветок мой весенний, любимый!
Как уцелел ты, засохший, смиренный,
Тут, под ногами толпы нелюбимой?

Радость сияла, чиста безупречно,
В час, как тебя обронила невеста.
Нет, не покину тебя бессердечно,
Здесь, у меня на груди, тебе место.

<1882>

* * *

Не первый год у этих мест
Я в час вечерний проезжаю,
И каждый раз гляжу окрест,
И над березами встречаю
Все тот же золоченый крест.

Среди зеленой густоты
Карнизов обветшалых пятна,
Внизу могилы и кресты,
И мне — мне кажется понятно,
Что шепчут куполу листья.

Еще колеблясь и дыша
Над дорогами мертвецами,
Стремлюсь куда-то, вдаль спеша,
Но встречу с тихими гробами
Смиренно празднует душа.

<1864>

* * *

Томительно-призывно и напрасно
Твой чистый луч передо мной горел;
Немой восторг будил он самовластно,
Но сумрака кругом не одолел.

Пускай клянут, волнуясь и споря,
Пусть говорят: то бред души больной;
Но я иду по шаткой пене моря
Отважною, нетонущей ногой.

Я пронесу твой свет чрез жизнь земную;
Он мой — и с ним двойное бытие
Вручила ты, и я — я торжествую
Хотя на миг бессмертие твое.

<1871>

* * *

Ты отстрадала, я еще страдаю,
Сомнением мне суждено дышать,
И трепещу, и сердцем избегаю
Искать того, чего нельзя понять.

А был рассвет! Я помню, вспоминаю
Язык любви, цветов, ночных лучей. —
Как не цвести всевидящему маю
При отблеске родном таких очей!

Очей тех нет — и мне не страшны гробы,
Завидно мне безмолвие твое,
И, не судя ни тупости, ни злобы,
Скорей, скорей в твое небытие!

4 ноября 1878



ALTER EGO*

Как лилея глядится в нагорный ручей,
Ты стояла над первою песней моей,
И была ли при этом победа, и чья,—
У ручья ль от цветка, у цветка ль от ручья?

Ты душою младенческой все поняла,
Что мне высказать тайная сила дала,
И хоть жизнь без тебя суждено мне влечить,
Но мы вместе с тобой, нас нельзя разлучить.

Та трава, что вдали на могиле твоей,
Здесь на сердце, чем старе оно, тем свежей,
И я знаю, взглянувши на звезды порой,
Что взирали на них мы как боги с тобой.

У любви есть слова, те слова не умрут.
Нас с тобой ожидает особенный суд;
Он сумеет нас сразу в толпе различить,
И мы вместе придем, нас нельзя разлучить!

Январь 1878

СМЕРТЬ

«Я жить хочу! — кричит он, дерзновенный. —
Пускай обман! О, дайте мне обман!»
И в мыслях нет, что это лед мгновенный,
А там, под ним, — бездонный океан.

Бежать? Куда? Где правда, где ошибка?
Опора где, чтоб руки к ней простерть?
Что ни расцвет живой, что ни улыбка, —
Уже под ними торжествует смерть.

Слепцы напрасно ищут, где дорога,
Доверясь чувств слепым поводырям;
Но если жизнь — базар крикливый бога,
То только смерть — его бессмертный храм.

1878

* Второе я (лат.).

СРЕДИ ЗВЕЗД

Пусть мчитесь вы, как я покорны мигу,
Рабы, как я, мне прирожденных числ,
Но лишь взгляну на огненную книгу,
Не численный я в ней читаю смысл.

В венцах, лучах, алмазах, как калифы,
Излишние средь жалких нужд земных,
Незыблемой мечты иероглифы,
Вы говорите: «Вечность — мы, ты — миг.

Нам нет числа. Напрасно мыслью жадной
Ты думы вечной догоняешь тень;
Мы здесь горим, чтоб в сумрак непроглядный
К тебе просился беззакатный день.

Вот почему, когда дышать так трудно,
Тебе отрадно так поднять чело
С лица земли, где все темно и скудно,
К нам, в нашу глубь, где пышно и светло».

22 ноября 1876

* * *

Die Gleichmäßigkeit des Laufes der
Zeit in allen Köpfen beweist mehr, als
irgend etwas, daß wir Alle in denselben
Traum versenkt sind, ja daß es
Ein Wesen ist, welches ihn träumt

*Schopenhauer**

1

Измучен жизнью, коварством надежды,
Когда им в битве душой уступаю,
И днем и ночью смежаю я вежды
И как-то странно порой прозреваю.

Еще темнее мрак жизни вседневной,
Как после яркой осенней зарницы,
И только в небе, как зов задушевный,
Сверкают звезд золотые ресницы.

* Равномерность течения времени во всех головах доказывает более, чем что-либо другое, что мы все погружены в один и тот же сон; более того, что все видящие этот сон являются единым существом. *Шопенгауэр (нем.)*.

И так прозрачна огней бесконечность,
И так доступна вся бездна эфира,
Что прямо смотрю я из времени в вечность
И пламя твое узнаю, солнце мира.

И неподвижно на огненных розах
Живой алтарь мироздания курится,
В его дыму, как в творческих грезах,
Вся сила дрожит и вся вечность снится.

И все, что мчится по безднам эфира,
И каждый луч, плотской и бесплотный, —
Твой только отблеск, о солнце мира,
И только сон, только сон мимолетный.

И этих грез в мировом дуновении
Как дым несусь я и таю неволью,
И в этом прозрении, и в этом забвении
Легко мне жить и дышать мне не больно.

2

В тиши и мраке таинственной ночи
Я вижу блеск приветный и милый,
И в звездном хоре знакомые очи
Горят в степи над забытой могилой.

Трава поблекла, пустыня угрюма,
И сон сиротлив одинокой гробницы,
И только в небе, как вечная дума,
Сверкают звезд золотые ресницы.

И снится мне, что ты встала из гроба,
Такой же, какой ты с земли отлетела,
И снится, снится: мы молоды оба,
И ты взглянула, как прежде глядела.

1864 (?)

* * *

Когда Божественный бежал людских речей
И празднословной их гордыни,
И голод забывал и жажду многих дней,
Внимая голосу пустыни,

Его, взалкавшего, на темя серых скал
Князь мира вынес величавый.
«Вот здесь, у ног твоих, все царства, — он сказал, —
С их обаянием и славой.

Признай лишь явное, пади к моим ногам,
Сдержи на миг порыв духовный —
И эту всю красу, всю власть тебе отдам
И покорюсь в борьбе неровной».

Но Он отвечивал: «Писанию внимли:
Пред богом-господом лишь преклоняй колени!»
И сатана исчез — и ангелы пришли
В пустыне ждать Его велений.

<1874>

НИЧТОЖЕСТВО

Тебя не знаю я. Болезненные крики
На рубеже твоём рождала грудь моя,
И были для меня мучительны и дики
Условия первые земного бытия.

Сквозь слез младенческих обманчивой улыбкой
Надежда озарить сумела мне чело,
И вот всю жизнь с тех пор ошибка за ошибкой,
Я все ищу добра — и нахожу лишь зло.

И дни сменяются утратой и заботой
(Не все ль равно: один иль много этих дней!),
Хочу тебя забыть над тяжкою работой,
Но миг — и ты в глазах с бездонностью своей.

Что ж ты? Зачем? — Молчат и чувства и познание.
Чей глаз хоть заглянул на роковое дно?
Ты — это ведь я сам. Ты только отрицание
Всего, что чувствовать, что мне узнать дано.

Что ж я узнал? Пора узнать, что в мироздании,
Куда ни обратиться, — вопрос, а не ответ;
А я дышу, живу и понял, что в незнании
Одно прискорбное, но страшного в нем нет.

А между тем, когда б в смятении великом
Срываясь, силой я хоть детской обладал,
Я встретил бы твой край тем самым резким криком,
С каким я некогда твой берег покидал.

1880

ДОБРО И ЗЛО

Два мира властвуют от века,
Два равноправных бытия:
Один объемлет человека,
Другой — душа и мысль моя.

И как в росинке чуть заметной
Весь солнца лик ты узнаешь,
Так слитно в глубине заветной
Все мирозданье ты найдешь.

Не лжива юная отвага:
Согнись над роковым трудом —
И мир свои раскроет блага;
Но быть не мысли божеством.

И даже в час отдохновенья.
Подъемля потное чело,
Не бойся горького сравненья
И различай добро и зло.

Но если на крылах гордыни
Познать дерзаешь ты, как бог,
Не заноси же в мир святыни
Своих невольничьих тревог.

Пари всезрящий и всеильный,
И с незапятнанных высот
Добро и зло, как прах могильный,
В толпы людские отпадет.

14 сентября 1884

СМЕРТИ

Я в жизни обмирал и чувство это знаю,
Где мукам всем конец и сладок томный хмель;
Вот почему я вас без страха ожидаю,
Ночь безрассветная и вечная постель!

Пусть головы моей рука твоя коснется
И ты сотрешь меня со списка бытия,
Но пред моим судом, покада сердце бьется,
Мы силы равные, и торжествую я.

Еще ты каждый миг моей покорна воле,
Ты тень у ног моих, безличный призрак ты;
Покуда я дышу — ты мысль моя, не боле,
Игрушка шаткая тоскующей мечты.

<1884>

* * *

Не тем, Господь, могуч, непостижим
Ты пред моим мятущимся сознанием,
Что в звездный день твой светлый серафим
Громадный шар зажег над мирозданием.

И мертвецу с пылающим лицом
Он повелел блюсти твои законы,
Все пробуждать живительным лучом,
Храня свой пыл столетий миллионы.

Нет, ты могуч и мне непостижим
Тем, что я сам, бессильный и мгновенный,
Ношу в груди, как оный серафим,
Огонь сильней и ярче всей вселенной.

Меж тем как я — добыча суеты,
Игралище ее непостоянства, —
Во мне он вечен, вездесущ, как ты,
Ни времени не знает, ни пространства.

1879

НИКОГДА

Проснулся я. Да, крыша гроба. — Руки
С усилием простираю и зову
На помощь. Да, я помню эти муки
Предсмертные. — Да, это наяву! —
И без усилий, словно паутину,
Сотлевшую раздвинул домовину

И встал. Как ярок этот зимний свет
Во входе склепа! Можно ль сомневаться? —
Я вижу снег. На склепе двери нет.
Пора домой. Вот дома изумятся!
Мне парк знаком, нельзя с дороги сбиться.
А как он весь успел перемениться!

Бегу. Сугробы. Мертвый лес торчит
Недвижными ветвями в глубь эфира,
Но ни следов, ни звуков. Все молчит,
Как в царстве смерти сказочного мира.
А вот и дом. В каком он разрушеньи!
И руки опустились в изумленье.

Селенье спит под снежной пеленой,
Тропинки нет по всей степи раздольной.
Да, так и есть: над дальнею горой
Узнал я церковь с ветхой колокольной.
Как мерзлый путник в снеговой пыли,
Она торчит в безоблачной дали.

Ни зимних птиц, ни мошек на снегу.
Все понял я: земля давно остыла
И вымерла. Кому же берегу
В груди дыханье? Для кого могила
Меня вернула? И мое сознание
С чем связано? И в чем его призвание?

Куда идти, где некого обнять,
Там, где в пространстве затерялось время?
Вернись же, смерть, поторопись принять
Последней жизни роковое бремя.
А ты, застывший труп земли, лети,
Неся мой труп по вечному пути!

Январь 1879

* * *

Жизнь пронеслась без явного следа.
Душа рвалась — кто скажет мне куда?
С какой заране избранною целью?
Но все мечты, все буйство первых дней
С их радостью — все тише, все ясней
К последнему подходят новоселью.

Так, заверша беспутный свой побег,
С нагих полей летит колючий снег,
Гонимый ранней, буйною метелью,
И, на лесной остановясь глуши,
Сбирается в серебряной тиши
Глубокой и холодной постелью.

1864

* * *

О, этот сельский день и блеск его красивый
В безмолвии я чту.
Не допустить до нас мой ищет глаз ревнивый
Безумную мечту.

Лелеяла б душа в успокоении томном
Неведомую даль,
Но так нескромно все в уединении скромном,
Что стыдно мне и жаль.

Пойдем ли по полю — мы чуждые тревоги,
И радует ходьба,
Уж кланяются нам обоим вдоль дороги
Чужие все хлеба.

Идем ли под вечер, избегнувши селений,
Где все стоит в пыли,
По солнцу движемся — гляжу, а наши тени
За ров и в лес ушли.

Вот ночь со всем уже, что мучило недавно,
Перерывает связь,
А звезды, с высоты глядя на нас так явно,
Мигают, не стыдись.

<1884>



ЛАСТОЧКИ

Природы праздный согладаят,
Люблю, забывши все кругом,
Следить за ласточкой стрельчатой
Над вечереющим прудом.

Вот понеслась и зачертила —
И страшно, чтобы гладь стекла
Стихией чуждой не схватила
Молниевидного крыла.

И снова то же дерзновенье
И та же темная струя,—
Не таково ли вдохновенье
И человеческого *я*?

Не так ли я, сосуд скудельный,
Дерзаю на запретный путь,
Стихии чуждой, запредельной,
Стремясь хоть каплю зачерпнуть?

<1884>

ОСЕНЬ

Как грустны сумрачные дни
Беззвучной осени и хладной!
Какой истомой безотрадной
К нам в душу просятся они!

Но есть и дни, когда в крови
Золотолиственных уборов
Горящих осень ищет взоров
И знойных прихотей любви.

Молчит стыдливая печаль,
Лишь вызывающее слышно,
И, замирающей так пышно,
Ей ничего уже не жаль.

8 октября 1883

* * *

Учись у них — у дуба, у березы.
Кругом зима. Жестокая пора!
Напрасные на них застыли слезы,
И треснула, сжимаяся, кора.

Все злей метель и с каждою минутой
Сердито рвет последние листы,
И за сердце хватает холод лютый;
Они стоят, молчат; молчи и ты!

Но верь весне. Ее промчится гений,
Опять теплом и жизнью дыша.
Для ясных дней, для новых откровений
Переболит скорбящая душа.

31 декабря 1883

* * *

Солнце садится, и ветер утихнул летучий,
Нет и следа тех огнями пронизанных туч;
Вот на окраине дрогнул живой и нежгучий,
Всю эту степь озаривший и гаснущий луч.

Солнца уж нет, нет и дня неустанных стремлений,
Только закат будет долго чуть зримо гореть;
О, если б небо судило без тяжких томлений
Так же и мне оглянувшись на жизнь, умереть!

29 апреля 1883

* * *

Страницы милые опять персты раскрыли;
Я снова умилен и трепетать готов,
Чтоб ветер иль рука чужая не сронили
Засохших, одному мне ведомых цветов.

О, как ничтожно все! От жертвы жизни целой,
От этих пылких жертв и подвигов святых —
Лишь тайная тоска в душе осиротелой
Да тени бледные у лепестков сухих.

Но ими дорожит мое воспоминанье;
Без них все прошлое — один жестокий бред,
Без них — один укор, без них — одно терзанье,
И нет прощенья, и примиренья нет!

29 мая 1884

* * *

Еще одно забывчивое слово,
Еще один случайный полувздох —
И тосковать я сердцем стану снова,
И буду я опять у этих ног.

Душа дрожит, готова вспыхнуть чище,
Хотя давно угас весенний день
И при луне на жизненном кладбище
Страшна и ночь, и собственная тень.

<1884>

ТЕПЕРЬ

Мой прах уснет, забытый и холодный,
А для тебя настанет жизни май;
О, хоть на миг душою благородной
Тогда стихам, звучавшим мне, внимай!

И вдумчивым и чутким сердцем девы
Безумных снов волненья ты поймешь,
И от чего в дрожащие напевы
Я уходил — и ты за мной уйдешь.

Приветами, встающими из гроба,
Сердечных тайн бессмертье ты проверь.
Вневременной повею жизнью оба,
И ты и я — мы встретимся — теперь!

<1883>

* * *

Кровию сердца пишу я к тебе эти строки,
Видно, разлуки обоим несносны уроки,
Видно, больному напрасно к свободе стремиться,
Видно, к давно прожитому нельзя воротиться,
Видно, во всем, что питало горячку недуга,
Легче и слаще вблизи упрекать нам друг друга.

<1884>

*СЕВАСТОПОЛЬСКОЕ
БРАТСКОЕ КЛАДБИЩЕ*

Какой тут дышит мир! Какая славы тризна
Средь кипарисов, мирт и каменных гробов!
Рукою набожной сложила здесь отчизна
Священный прах своих сынов.

Они и под землей отвагой прежней дышат...
Боюсь, мои стопы покой их возмутят,
И мнится, все они шаги живого слышат,
Но лишь молитвенно молчат.

Счастливы! Вышею пылали вы любовью:
Тут что ни мавзолей, ни надпись — всё боец,
И рядом улеглись, своей залиты кровью,
И дед со внуком, и отец.

Из каменных гробов их голос вечно слышен,
Им внуков поучать навеки суждено,
Их слава так чиста, их жребий так возвышен,
Что им завидовать грешно...

4 июня 1887

* * *

В степной глуши, над влагой молчаливой,
Где круглые раскинулись листья,
Любуюсь я давно, пловец пугливый,
На яркие плавучие цветы.

Они манят и свежестью пугают.
Когда к звездам их взорами прильну,
Кто скажет мне: какую измеряют
Подводные их корни глубину?

О не гляди так мягко и приветно!
Я так боюсь забыться как-нибудь.
Твоей души мне глубина заветна:
В свою судьбу боюсь я заглянуть.

1887

* * *

Дул север. Плакала трава
И ветви о недавнем зное,
И роз, проснувшихся едва,
Сжималось сердце молодое.

Стоял угрюм тенистый сад,
Забыв о пенье голосистом;
Лишь соловьи хрипких чад
Хрипчивым подзывали свистом.

Прошла пора влюбленных грез,
Зачем еще томиться тщетно?
Но вдруг один любовник роз
Запел так ярко, беззаветно.

Прощай, соловушко! — И я
Готов на миг воскреснуть тоже,
И песнь последняя твоя
Всех вешних песен мне дороже.

1880 (?)

* * *

Дух всюду сущий и единый...

Державин

Я потрясен, когда кругом
Гудят леса, грохочет гром
И в блеск огней гляжу я снизу,
Когда, испугом обуян,
На скалы мечет океан
Твою серебряную ризу.

Но просветленный и немой,
Овеян властью неземной
Стою не в этот миг тяжелый,
А в час, когда, как бы во сне,
Твой светлый ангел шепчет мне
Неизреченные глаголы.

Я загораюсь и горю,
Я порываюсь и парю
В томленьях крайнего усилья
И верю сердцем, что растут
И тотчас в небо унесут
Меня раскинутые крылья.

29 августа 1885

* * *

Прости — и все забудь в безоблачный ты час,
Как месяц молодой на высоте лазури;
И в негу вешнюю врываются не раз
Стремленьем молодым пугающие бури.

Когда ж под тучею, прозрачна и чиста,
Поведаст заря, что минул день ненастья, —
Былинки не найдешь и не найдешь листа,
Чтобы не плакал он и не сиял от счастья.

26 декабря 1886

СВЕТОЧ

Ловец, все дни отдавший лесу,
Я направлял по нем стопы;
Мой глаз привык к его навесу
И ночью различал тропы.

Когда же вдруг из тучи мгlistой
Сосну ужалил яркий змей,
Я сам затеплил сук смолистый
У золотых ее огней.

Горел мой факел величаво,
Тянулись тени предо мной,
Но, обежав меня лукаво,
Они смыкались за спиной.

Пестреет мгла, блуждают очи,
Кровавый призрак в них глядит,
И тем ужасней сумрак ночи,
Чем ярче светоч мой горит.

16 августа 1885

* * *

Нет, я не изменил. До старости глубокой
Я тот же преданный, я раб твоей любви,
И старый яд цепей, отрадный и жестокий,
Еще горит в моей крови.

Хоть память и твердит, что между нас могила,
Хоть каждый день бреду томительно к другой, —
Не в силах верить я, чтоб ты меня забыла,
Когда ты здесь, передо мной.

Мелькнет ли красота иная на мгновенье,
Мне чудится, вот-вот, тебя я узнаю;
И нежности былой я слышу дуновенье,
И, содрогаясь, я пою.

2 февраля 1887



* * *

Светил нам день, будя огонь в крови...
Прекрасная, восторгов ты искала
И о своей несбыточной любви
Младенчески мне тайны поверяла.

Как мог, слепец, я не видать тогда,
Что жизни ночь над нами лишь стусится,
Твоя душа, красы твоей звезда,
Передо мной, умчавшись, загорится.

И, разлучась навеки, мы поймем,
Что счастья взрыв мы промолчали оба
И что вздыхать обоим нам по нем,
Хоть будем врознь стоять у двери гроба.

9 июня 1887

* * *

Когда читала ты мучительные строки,
Где сердца звучный пыл сиянье льет кругом
И страсти роковой вздымаются потоки,—
Не вспомнила ль о чем?

Я верить не хочу! Когда в степи, как диво,
В полночной темноте безвременно горя,
Вдали перед тобой прозрачно и красиво
Вставала вдруг заря.

И в эту красоту невольно взор тянуло,
В тот величавый блеск за темный весь предел,—
Ужель ничто тебе в то время не шепнуло:
Там человек сгорел!

15 февраля 1887

* * *

Все, все мое, что есть и прежде было,
В мечтах и снах нет времени оков;
Блаженных грез душа не поделила:
Нет старческих и юношеских снов.

За рубежом вседневного удела
Хотя на миг отрадно и светло;
Пока душа кипит в горниле тела,
Она летит, куда несет крыло.

Не говори о счастье, о свободе
Там, где царит железная судьба.
Сюда! сюда! не рабство здесь природе —
Она сама здесь верная раба.

17 июля 1887

* * *

С солнцем склоняясь за темную землю,
Взором весь пройденный путь я объемлю:
Вижу, бесследно пустынная мгла
День погасила и ночь привела.

Станным лишь что-то мерцает узором:
Горе минувшее тайным укором
В сбивчивом ходе несбыточных грез
Там миллионы рассыпало слез.

Стыдно и больно, что так непонятно
Светятся эти туманные пятна,
Словно неясно дошедшая весть...
Все бы, ах, все бы с собою унести!

22 августа 1887

* * *

Одним толчком согнать ладью живую
С наглаженных отливами песков,
Одной волной подняться в жизнь иную,
Учуять ветр с цветущих берегов,

Тоскливый сон прервать единым звуком,
Упитья вдруг неведомым, родным,
Дать жизни вздох, дать сладость тайным мукам,
Чужое вмиг почувствовать своим,

Шепнуть о том, пред чем язык немеет,
Усилить бой бестрепетных сердец —
Вот чем певец лишь избранный владеет,
Вот в чем его и признак и венец!

28 октября 1887

* * *

В полуночной тиши бессонницы моей
Встают пред напряженным взором
Былые божества, кумиры прежних дней,
С их вызывающим укором.

И снова я люблю, и снова я любим,
Несусь вослед мечтам любимым,
А сердце грешное томит меня своим
Неправосудьем нестерпимым.

Богини предо мной, давнишние друзья,
То соблазнительны, то строги,
Но тщетно алтарей ищу пред ними я:
Они — развенчанные боги.

Пред ними сердце вновь в тревоге и в огне,
Но пламень тот с былым несхожий;
Как будто, смертному потворствуя, оне
Сошли с божественных подножий.

И лишь надменные, назло живой мечте,
Не зная милости и битвы,
Стоят владычицы на прежней высоте
Под шепот прѣзренной молитвы.

Их снова ищет взор из-под усталых вежд,
Мольба к ним тщетная стремится,
И прежний фимиам несбыточных надежд
У ног их все еще дымится.

3 января 1888

* * *

Прости! во мгле воспоминанья
Все вечер помню я один,—
Тебя одну среди молчанья
И твой пылающий камин.

Глядя в огонь, я забывался,
Волшебный круг меня томил,
И чем-то горьким отзывался
Избыток счастья и сил.

Что за раздумие у цели?
Куда безумство завлекло?
В какие дебри и метели
Я уносил твое тепло?

Где ты? Ужель, ошеломленный,
Кругом не видя ничего,
Застывший, вьюгой убеленный,
Стучусь у сердца твоего?..

22 января 1888

* * *

Руку бы снова твою мне хотелось пожать!
Прежнего счастья, конечно, уже не видать,
Но и под старость отрадно очами недуга
Вновь увидеть неизменно прекрасного друга.

В голой аллее, где лист под ногами шумит,
Как-то пугливо и сладостно сердце щемит,
Если стопам попирать довелось устало
То, что когда-то так много блаженства скрывало.

14 августа 1888



* * *

Устало все кругом: устал и цвет небес,
И ветер, и река, и месяц, что родился,
И ночь, и в зелени потусклой спящий лес,
И желтый тот листок, что наконец свалился.

Лепечет лишь фонтан средь дальней темноты,
О жизни говоря незримой, но знакомой...
О ночь осенняя, как всемогуща ты
Отказом от борьбы и смертною истомой!

24 августа 1889

УГАСШИМ ЗВЕЗДАМ

Долго ль впивать мне мерцание ваше,
Синего неба пытливые очи?
Долго ли чуют, что выше и краше
Вас ничего нет во храмине ночи?

Может быть, нет вас под теми огнями:
Давняя вас погасила эпоха,—
Так и по смерти лететь к вам стихами,
К призракам звезд, буду призраком вдоха!

6 мая 1890

ПОЭТАМ

Сердце трепещет отрадно и больно,
Подняты очи, и руки воздеты.
Здесь на коленях я снова невольню,
Как и бывало, пред вами, поэты.

В ваших чертогах мой дух окрылился,
Правду провидит он с высей творенья;
Этот листок, что иссох и свалился,
Золотом вечным горит в песнопеньи.

Только у вас мимолетные грезы
Старыми в душу глядятся друзьями,
Только у вас благовонные розы
Вечно восторга блистают слезами.

С торжищ житейских, бесцветных и душных,
Видеть так радостно тонкие краски,
В радугах ваших, прозрачно-воздушных,
Неба родного мне чудятся ласки.

5 июня 1890

* * *

Хоть счастье судьбой даровано не мне,
Зачем об этом так напоминать небрежно?
Как будто бы нельзя в больном и сладком сне
Дозволить мне любить вас пламенно и нежно.

Хотя б признался я в безумиях своих,
Что стоит робкого вам не пугать признанья?
Что стоит шелк ресниц склонить вам в этот миг,
Чтоб не блеснул в очах огонь негодованья?

Участья не прошу — могла б и ваша грусть,
Хотя б притворная, родить во мне отвагу,
И, издали молясь, поэт-безумец пусть
Прекрасный образ ваш набросит на бумагу.

16 июня 1890

* * *

Еще люблю, еще томлюсь
Перед всемирной красотой
И ни за что не отрекусь
От ласк, ниспосланных тобою.

Покуда на груди земной
Хотя с трудом дышать я буду,
Весь трепет жизни молодой
Мне будет внятн отовсюду.

Покорны солнечным лучам,
Так сходят корни в глубь могилы
И там у смерти ищут силы
Бежать навстречу вешним дням.

10 декабря 1890

* * *

На кресле отваясь, гляжу на потолок,
Где, на задор воображенью,
Над лампой тихою подвешенный кружок
Вертится призрачною тенью.

Зари осенней след в мерцанье этом есть:
Над кровлей, кажется, и садом,
Не в силах улететь и не решаясь сесть,
Грачи кружатся темным стадом...

Нет, то не крыльев шум, то кони у крыльца!
Я слышу трепетные руки...
Как бледность холодна прекрасного лица!
Как шепот горестен разлуки!..

Молчу, потерянный, на дальний путь глядя
Из-за темнеющего сада,—
И кружится еще, приюта не найдя,
Грачей встревоженное стадо.

15 декабря 1890

* * *

Опавший лист дрожит от нашего движенья,
Но зелени еще свежа над нами тень,
А что-то говорит средь радости сближенья,
Что этот желтый лист — наш следующий день.

Как ненасытны мы и как несправедливы.
Всю радость явную неверный гонит страх!
Еще так ласковы волос твоих извивы!
Какой живет восторг на блекнувших устах!

Идем. Надолго ли еще не разлучаться,
Надолго ли дышать отрадою? Как знать!
Пора за будущность заране не пугаться,
Пора о счастье учиться вспоминать.

15 января 1891

* * *

Не упрекай, что я смущаюсь,
Что я минувшее принес
И пред тобою содрогаюсь
Под дуновеньем прежних грез.

Те грезы — жизнь их осудила —
То прах давнишних алтарей;
Но их победным возмутила
Движеньем ты стопы своей.

Уже мерцает свет, готовый
Все озарить, всему помочь,
И, согреваясь жизнью новой,
Росою счастья плачет ночь.

3 февраля 1891

* * *

Нет, даже не тогда, когда, стопой воздушной
Спеша навстречу мне, улыбку ты даришь
И, заглянув в глаза, мечте моей послушной
О беззаветности надежды говоришь,—

Нет, чтобы счастию нежданному отдаться,
Чтобы исчезнуть в нем, спускаясь до дна,
Мне нужно одному с душой своей остаться,
Молчанье нужно мне кругом и тишина.

Тут сердца говорит мне каждое биенье
Про все, чем радостной обязан я судьбе,
А тихая слеза блаженства и томленья,
Скатясь жемчужиной, напомним о тебе.

19 февраля 1891

* * *

Кляните нас: нам дорога свобода,
И буйствует не разум в нас, а кровь,
В нас вопиет всесильная природа,
И прославлять мы будем век любовь.

В пример себе певцов весенних ставим:
Какой восторг — так говорить уметь!
Как мы живем, так мы поем и славим,
И так живем, что нам нельзя не петь!

2 марта 1891

ФОНТАН

Ночь и я, мы оба дышим,
Цветом липы воздух пьян,
И, безмолвные, мы слышим,
Что, струей своей колышим,
Напевает нам фонтан.

— Я, и кровь, и мысль, и тело —
Мы послушные рабы:
До известного предела
Все возносимся мы смело
Под давлением судьбы.
Мысль несется, сердце бьется,
Мгле мерцаньем не помочь;
К сердцу кровь опять вернется,
В водоем мой луч прольется,
И заря потушит ночь.

7 июня 1891

* * *

О, как волнуюсь я мыслию больною,
Что в миг, когда закат так девственно хорош,
Здесь на балконе ты, лицом перед зарею,
Восторга моего, быть может, не поймешь.

Внизу померкший сад уснул, — лишь тополь дальний
Все грезит в вышине, и ставит лист ребром,
И зыблет, уловя денницы блеск прощальный,
И чистым золотом и мелким серебром.

И верить хочется что все, что так прекрасно,
Так тихо властвует в прозрачный этот миг,
По небу и душе проходит не напрасно,
Как оправдание стремлений роковых.

12 августа 1891

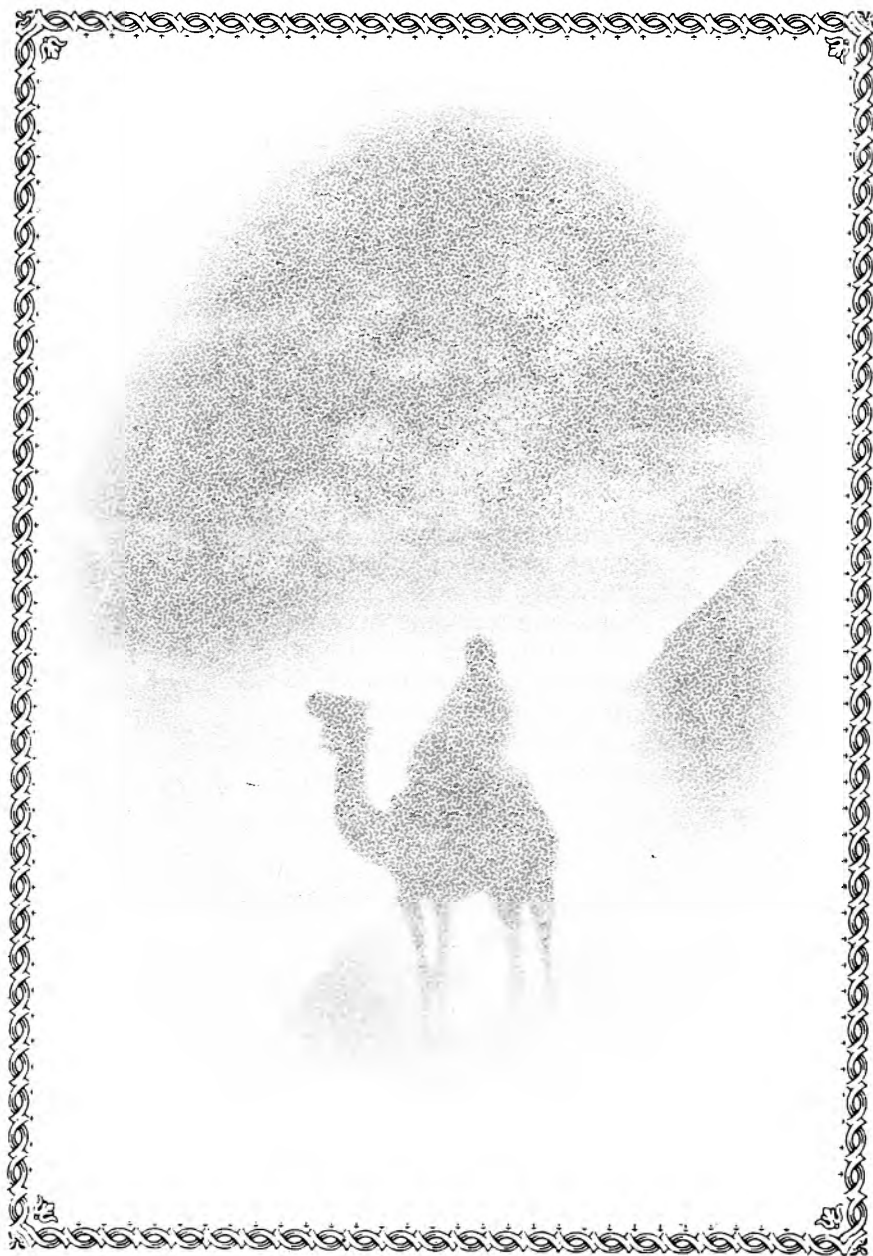
* * *

Все, что волшебнo так манило,
Из-за чего весь век жилось,
Со днями зимними остыло
И непробудно улеглось.

Нет ни надежд, ни сил для битвы —
Лишь, посреди ничтожных смут,
Как гордость дум, как храм молитвы,
Страдания в прошлом восстают.

28 февраля 1892

*Розой гор меня зови;
Ты красой моей ужален...*



Подражание восточному

* * *

Я люблю его жарко: он тигром в бою
Нападает на хищных врагов;
Я люблю в нем отраду, награду мою
И потомка великих отцов.

Кто бы ни был ты — странник простой иль купец, —
Ни овцы, ни верблюда не тронь!
От кобыл Мугаммеда его жеребец —
Что небесный огонь этот конь.

Только мирный пришлец нагибайся в шатер
И одежду дорожную скинь;
На услугу и ласку он ловок и скор:
Он бадья при колодце пустынь.

Будто месяц над кедром, белеет чалма
У него средь широких степей.
Я люблю, и никто — ни Фатима сама —
Не любила пророка сильней!

<1847>

* * *

Не дивись, что я черна,
Опаленная лучами;
Посмотри, как я стройна
Между старшими сестрами.

Оглянись: сошла вода,
Зимний дождь не хлещет боле;
На горах опять стада,
И оратай вышел в поле.

Розой гор меня зови;
Ты красой моей ужален,
И цвету я для любви,
Для твоих опочивален.

Целый мир пахнул весной,
Тайный жар владеет девой;
Я прильну к твоей десной,
Ты меня обнимешь левой.

Я пройду к тебе в ночи
Незаметными путями;
Отопрись — и опочий
У меня между грудями.

<1847>

ВОСТОЧНЫЙ МОТИВ

С чем нас сравнить с тобою, друг прелестный?
Мы два конька, скользящих по реке,
Мы два гребца на утлом челноке.
Мы два зерна в одной скорлупке тесной,
Мы две пчелы на жизненном цветке,
Мы две звезды на высоте небесной.

<1882>

АВАДДОН

Ангел, и лев, и телец, и орел —
Все шестикрылые — держат престол,
А над престолом, над тем, кто сидит,
Радуга ярким смарагдом горит.
Молнии с громом по небу летят,
И раздается из них: «Свят, свят, свят!»
Вот пронсящий ангел трубит,
С треском звезда к нам на землю летит,
Землю прошибла до бездны глухой,
Вырвался дым, как из печи большой.
Медными крыльями грозно стуча,
Вышла из дыма с коня саранча.
Львиные зубы, коса как у жен,
Хвост скорпионовым жалом снабжен

Царь ее гордой сияет красой,
То Аваддон, ангел бездны земной.
Будут терзать вас и жалить — и вот
Смерть призовете, и смерть не придет.
Пусть же изведает всякая плоть,
Что испытания хочет господь!

1883

СОЛОВЕЙ И РОЗА

Небес и земли повелитель,
Творец плодотворного мира
Дал счастье, дал радость всей твари
Цветущих долин Кашемира.

И равны все звенья пред Вечным
В цепи непрерывной творенья,
И жизненным трепетом общим
Исполнены чудные звенья.

Такая дрожащая бездна
В дыханьи полудня и ночи,
Что ангелы в страхе закрыли
Крылами звездистые очи.

Но там же, в саду мироздания,
Где радость и счастье — привычка,
Забыты, отвергнуты счастьем
Кустарник и серая птичка.

Листов, окаймленных пи́лами,
Побегов, скрывающих спицы,
Боятся летучие гости,
Чуждаются певчие птицы.

Безгласная серая птичка
Одна не пугается терний,
И любят друг друга, — но счастья —
Ни в утренний час, ни в вечерний.

И по небу веки проходят,
Как волны безбрежного моря,
Никто не узнает их страсти,
Никто не увидит их горя.

Однажды сияющий ангел,
Купаясь в безднах эфира,
Узрел и кустарник и птичку
В долине ночной Кашемира.

И нежному ангелу стало
Их видеть так грустно и больно,
Что с неба слезу огневую
На них уронил он невольно.

И к утру свершилось чудо:
Краснея и млея сквозь слезы,
Склонилась к ветке упругой
Головка душистая розы.

И к ночи с безгласною птичкой
Еще перемена чудесней:
И листья и звезды трепещут
Ее упоительной песней.

Он

Рая вечного изгнанник,
Вешний гость я, певчий странник;
Мне чужие здесь цветы;
Страшны искры мне мороза.
Друг мой, роза, дева-роза,
Я б не пел, когда б не ты.

Она

Полночь — мать моя родная,
Незаметно расцвела я
На заре весны;
Для тебя ж у бедной розы
Аромат, краса и слезы,
Заревые сны.

Он

Ты так нежна, как утренние розы,
Что пред зарей несет земле восток;
Ты так светла, что поневоле слезы
Туманят мне внимательный зрачок;

Ты так чиста, что помыслы земные
Невольно мрут в груди перед тобой;
Ты так свята, что ангелы святые
Зовут тебя их смертною сестрой.

Она

Ты поешь, когда дремлю я,
Я цвету, когда ты спишь;
Я горю без поцелуя,
Без ответа ты грустишь.

Но ни грусти, ни мученья
Ты обманом не зови:
Где же песни без стремленья?
Где же юность без любви?

Он

Дева-роза, доброй ночи!
Звезды в небесах,
Две звезды горят, как очи,
В голубых лучах;

Две звезды горят приветно
Нынче, как вчера;
Сон подкрался незаметно...
Роза, спать пора!

Она

Зацелую тебя, закачаю,
Но боюсь над тобой задремать:
На заре лишь уснешь ты; я знаю,
Что всю ночь будешь петь ты опять.

Закрываются милые очи,
Голова у меня на груди.
Ветер, ветер с суровой полночи,
Не тревожь его сна, не буди.

Я сама притаила дыханье,
Только вежды закрыл ему сон,
И над спящим склоняюсь в молчаньи:
Все боюсь, не проснулся бы он.

Ветер, ветер лукавый, поди ты,
Я умею сама целовать;
Я устами коснуся ланиты,
И мой милый проснется опять.

Просыпайся ж! Заря потухает:
Для певца золотая пора.
Дева-роза тихонько вздыхает,
Отпуская тебя до утра.

Он

Ах, опять к ночному бдению
Вышел звездный хор...
Эхо ждет заворить пенью.
Ждет лесной простор.

Веет ветер над дубровой,
Пышный лист шумит,
У меня в тени кленовой
Дева-роза спит.

Хорошо ль ей, сладко ль спится,
Я предузнаю
И звездам, что ей приснится,
Громко пропою.

Она

Я дремлю, но слышит
Роза соловья;
Ветерок колышет
Сонную меня.

Звуки остаются
Все в моих листьях;
Слышу, — а проснуться
Не могу никак.

Заревые слезы,
Наклоняясь, лью.
Пой у сонной розы
Про любовь мою!

—

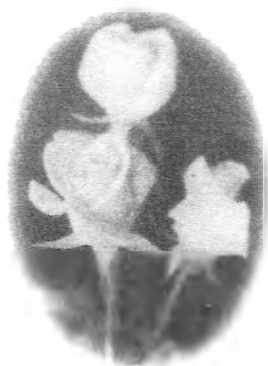
И во сне только любит и любит,
И от счастья плачет и спит!
Эти песни она приголубит,
Если эхо о них промолчит.

Эти песни земле рассказали
Все, что розе приснилось во сне,
И глубоко, глубоко запали
Ей в румяное сердце оне.

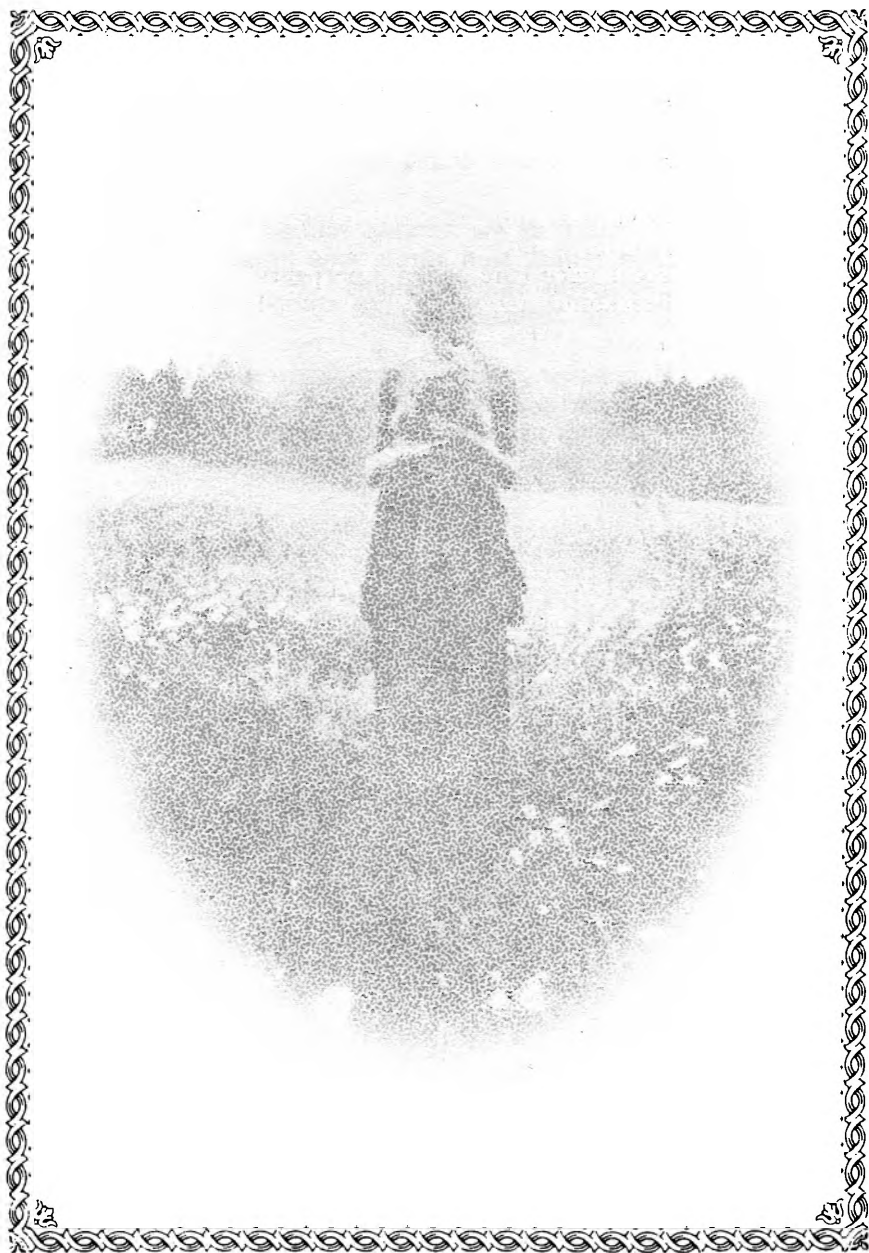
И в ночи под землю коренья
Влагу ночи сосут да сосут,
А у розы росой умиленья
Бриллиантами слезы текут.

Отчего ж под навесом прохлады
Раздается так голос певца?
Роза! песни не знают преграды:
Без конца твои сны, без конца!

<1847>



*Офелия гибла и пела,
И пела, сплетая венки...*



К Офелии

* * *

Не здесь ли ты легкою тенью,
Мой гений, мой ангел, мой друг,
Беседуешь тихо со мною
И тихо летаешь вокруг?

И робким даришь вдохновеньем,
И сладкий врачуешь недуг,
И тихим даришь сновиденьем,
Мой гений, мой ангел, мой друг...

<1842>



* * *

Я болен, Офелия, милый мой друг!
Ни в сердце, ни в мысли нет силы.
О, спой мне, как носится ветер вокруг
Его одинокой могилы.

Душе раздраженной и груди больной
Понятны и слезы и стоны.
Про иву, про иву зеленую спой,
Про иву сестры Дездемоны.

<1847>



* * *

Как ангел неба безмятежный,
В сияньи тихого огня
Ты помолишь душою нежной
И за себя и за меня.

Ты от меня любви словами
Сомненья духа отжени
И сердце тихими крылами
Твоей молитвы осени.

<1843>

* * *

Офелия гибла и пела,
И пела, сплетая венки;
С цветами, венками и песнью
На дно опустилась реки.

И многое с песнями канет
Мне в душу на темное дно,
И много мне чувства, и песен,
И слез, и мечтаний дано.

<1846>



*Заговорило, зацвело
Все, что вчера томилось немом...*



* * *

Уж верба вся пушистая
Раскинулась кругом;
Опять весна душистая
Повеяла крылом.

Станицей тучки носятся,
Тепло озарены,
И в душу снова просятся
Пленительные сны.

Везде разнообразною
Картиной занят взгляд,
Шумит толпою праздною
Народ, чему-то рад...

Какой-то тайной жаждою
Мечта распалена —
И над душою каждою
Проносится весна.

<1844>



* * *

Еще весна, — как будто неземной
Какой-то дух ночным владеет садом.
Иду я молча, — медленно и рядом
Мой темный профиль движется со мной.

Еще аллея не сумрачен приют,
Между ветвей небесный свод синее,
А я иду — душистый холод веет
В лицо — иду — и соловьи поют.

Несбыточное грезится опять,
Несбыточное в нашем бедном мире,
И грудь вздыхает радостней и шире,
И вновь кого-то хочется обнять.

Придет пора — и скоро, может быть, —
Опять земля взалкает обновиться,
Но это сердце перестанет биться
И ничего не будет уж любить.

<1847>

* * *

На заре ты ее не буди,
На заре она сладко так спит;
Утро дышит у ней на груди,
Ярко пышет на ямках ланит.

И подушка ее горяча,
И горяч утомительный сон,
И, чернеясь, бегут на плеча
Косы лентой с обеих сторон.

А вчера у окна ввечеру
Долго-долго сидела она
И следила по тучам игру,
Что, скользя, затевала луна.

И чем ярче играла луна,
И чем громче свистал соловей,
Все бледней становилась она,
Сердце билось больней и больней.

Оттого-то на юной груди,
На ланитах так утро горит.
Не буди ж ты ее, не буди...
На заре она сладко так спит!

<1842>

* * *

Еще весны душистой нега
К нам не успела низойти,
Еще овраги полны снега,
Еще зарей гремит телега
На замороженном пути.

Едва лишь в полдень солнце греет,
Краснеет липа в высоте,
Сквозя, березник чуть желтеет,
И соловей еще не смеет
Запеть в смородинном кусте.

Но возрожденья весть живая
Уж есть в пролетных журавлях,
И, их глазами провожая,
Стоит красавица степная
С румянцем сизым на щеках.

<1854>

ПЧЕЛЫ

Пропаду от тоски я и лени,
Одинокая жизнь не мила,
Сердце ноет, слабеют колени,
В каждый гвоздик душистой сирени,
Распевая, вползает пчела.

Дай хоть выйду я в чистое поле
Иль совсем потеряюсь в лесу...
С каждым шагом не легче на воле,
Сердце пышет все боле и боле,
Точно уголь в груди я несу.

Нет, постой же! С тоскою моею
Здесь расстанусь. Черемуха спит.
Ах, опять эти пчелы под нею!
И никак я понять не умею,
На цветах ли, в ушах ли звенит.

<1854>

ВЕСЕННИЕ МЫСЛИ

Снова птицы летят издалека
К берегам, расторгающим лед,
Солнце теплое ходит высоко
И душистого ландыша ждет.

Снова в сердце ничем не умеришь
До ланит восходящую кровь,
И душою подкупленной веришь,
Что, как мир, бесконечна любовь.

Но сойдемся ли снова так близко
Средь природы разнеженной мы,
Как видало ходившее низко
Нас холодное солнце зимы?

<1848>



ВЕСНА НА ДВОРЕ

Как дышит грудь свежо и емко —
Слова не выразят ничьи!
Как по оврагам в полдень громко
На пену прядают ручьи!

В эфире песнь дрожит и тает,
На глыбе зеленеет рожь —
И голос нежный напевает:
«Еще весну переживешь!»

<1855>

ПЕРВЫЙ ЛАНДЫШ

О первый ландыш! Из-под снега
Ты просишь солнечных лучей;
Какая девственная нега
В душистой чистоте твоей!

Как первый луч весенний ярок!
Какие в нем нисходят сны!
Как ты пленителен, подарок
Воспламеняющей весны!

Так дева в первый раз вздыхает —
О чем — неясно ей самой, —
И робкий вздох благоухает
Избытком жизни молодой.

<1854>

ЕЩЕ МАЙСКАЯ НОЧЬ

Какая ночь! На всем какая нега!
Благодарю, родной полночный край!
Из царства льдов, из царства вьюг и снега
Как свеж и чист твой вылетает май!

Какая ночь! Все звезды до единой
Тепло и кротко в душу смотрят вновь,
И в воздухе за песнью соловьиной
Разносится тревога и любовь.

Березы ждут. Их лист полупрозрачный
Застенчиво манит и тешит взор.
Они дрожат. Так дева новобрачной
И радостен и чужд ее убор.

Нет, никогда нежней и бестелесней
Твой лик, о ночь, не мог меня томить!
Опять к тебе иду с невольной песней,
Невольной — и последней, может быть.

<1857>

* * *

Опять незримые усилия,
Опять невидимые крылья
Приносят северу тепло;

Все ярче, ярче дни за днями,
Уж солнце черными кругами
В лесу деревья обвело.

Заря сквозит оттенком алым,
Подернут блеском небывалым
Покрытый снегом косогор;
Еще леса стоят в дремоте,
Но тем слышнее в каждой ноте
Пернатых радость и задор.

Ручьи, журча и извиваясь,
И меж собой перекликаясь,
В долину гулкую спешат,
И разыгравшиеся воды
Под беломраморные своды
С веселым грохотом летят.

А там по нивам на просторе
Река раскинулась, как море,
Стального зеркала светлей,
И речка к ней на середину
За льдиной выпускает льдину,
Как будто стаю лебедей.

<1859>

ВЕСЕННИЙ ДОЖДЬ

Еще светло перед окном,
В разрывы облак солнце блещет,
И воробей своим крылом,
В песке купаясь, трепещет.

А уж от неба до земли,
Качаясь, движется завеса,
И будто в золотой пыли
Стоит за ней опушка леса.

Две капли брызнули в стекло,
От лип душистым медом тянет,
И что-то к саду подошло,
По свежим листьям барабанит.

1857(?)

* * *

Глубь небес опять ясна,
Пахнет в воздухе весна,
Каждый час и каждый миг
Приближается жених.

Спит во гробе ледяном
Очарованная сном,—
Спит, нема и холодна,
Вся во власти чар она.

Но крылами вешних птиц
Он свежает снег с ресниц,
И из стужи мертвых грез
Проступают капли слез.

22 марта 1879

* * *

Еще, еще! Ах, сердце слышит
Давно призыв ее родной,
И все, что движется и дышит,
Задышит новою весной.

Уж травка светит с ко́чек талых,
Плаксивый чибис прокричал,
Цепь снеговую туч отсталых
Сегодня первый гром порвал.

<1882>

* * *

Когда вослед весенних бурь
Над зацветающей землей
Нежной небесная лазурь
И облаков воздушен рой,

Как той порой отрадно мне
Свергать земли томящий прах,
Тонуть в небесной глубине
И погасать в ее огнях!

О, как мне весело следить
За пышным дымом туч сквозных —
И рад я, что не может быть
Ничто вольней и легче их.

1865(?)

Всю ночь гремел овраг соседний,
Ручей, бурля, бежал к ручью,
Воскресших вод напор последний
Победу разглашал свою.

Ты спал. Окно я растворила,
В степи кричали журавли,
И сила думы уносила
За рубежи родной земли,

Лететь к безбрежью, бездорожью,
Через леса, через поля,—
А подо мной весенней дрожью
Ходила гулкая земля.

Как верить перелетной тени?
К чему мгновенный сей недуг,
Когда ты здесь, мой добрый гений,
Бедами искушенный друг?

1872

Пришла,— и таёт все вокруг,
Все жаждет жизни отдаваться,
И сердце, пленник зимних вьюг,
Вдруг разучилось сжиматься.

Заговорило, зацвело
Все, что вчера томилось немо,
И вздохи неба принесло
Из растворенных врат эдема.

Как весел мелких туч поход!
И в торжестве неизъяснимом
Сквозной деревьев хоровод
Зеленоватым пышет дымом.

Поет сверкающий ручей,
И с неба песня, как бывало;
Как будто говорится в ней:
Все, что ковало,— миновало.

Нельзя заботы мелочной
Хотя на миг не устыдиться,
Нельзя пред вечной красотой
Не петь, не славить, не молиться.

20 мая 1866

* * *

Я рад, когда с земного лона,
Весенней жажде соприсущ,
К ограде каменной балкона
С утра кудрявый лезет плющ.

И рядом, куст родной смущая
И силясь и боясь летать,
Семья пичужек молодая
Зовет заботливую мать.

Не шевелюсь, не беспокою.
Уж не завидую ль тебе?
Вот, вот она, здесь, под рукою,
Пищит на каменном столбе.

Я рад: она не отличает
Меня от камня на свету,
Трепещет крыльями, порхает
И ловит мошек на лету.

12 декабря 1879

МАЙСКАЯ НОЧЬ

Отсталых туч над нами пролетает
Последняя толпа.
Прозрачный их отрезок мягко тает
У лунного серпа.

Царит весны таинственная сила
С звездами на челе.—
Ты, нежная! Ты счастье мне сулила
На суетной земле.

А счастье где? Не здесь, в среде убогой,
А вон оно — как дым.
За ним! за ним! воздушною дорогой —
И в вечность улетим!

1870

* * *

Я ждал. Невестой-царицей
Опять на землю ты сошла.
И утро блещет багряницей,
И все ты воздаешь сторицей,
Что осень скудная взяла.

Ты пронеслась, ты победила,
О тайнах шепчет божество,
Цветет недавняя могила,
И бессознательная сила
Свое ликует торжество.

1860(?)

* * *

С гнезд замахали крикливые цапли,
С листьев скатились последние капли,
Солнце, с прозрачных сияя небес,
В тихих струях опрокинуло лес.

С сердца куда-то слетела забота,
Вижу, опять улыбается кто-то;
Или весна выручает свое?
Или и солнышко всходит мое?

1883(?)

* * *

Сад весь в цвету,
Вечер в огне,
Так освежительно-радостно мне!

Вот я стою,
Вот я иду,
Словно таинственной речи я жду.

Эта заря,
Эта весна
Так непостижна, зато так ясна!

Счастья ли полн,
Плачу ли я,
Ты — благодатная тайна моя.

1884

КУКУШКА

Пышные гнутся макушки,
Млея в весеннем соку;
Где-то вдали от опушки
Будто бы слышно: ку-ку.

Сердце — вот утро — люби же
Все, чем жило на веку;
Слышится ближе и ближе,
Как золотое, — ку-ку.

Или кто вспомнил утраты,
Вешнюю вспомнил тоску?
И раздаётся трикраты
Ясно и томно: ку-ку.

17 мая 1886

* * *

За горами, песками, морями —
Вечный край благовонных цветов,
Где, овеяны яркими снами,
Дремлют розы, не зная снегов.

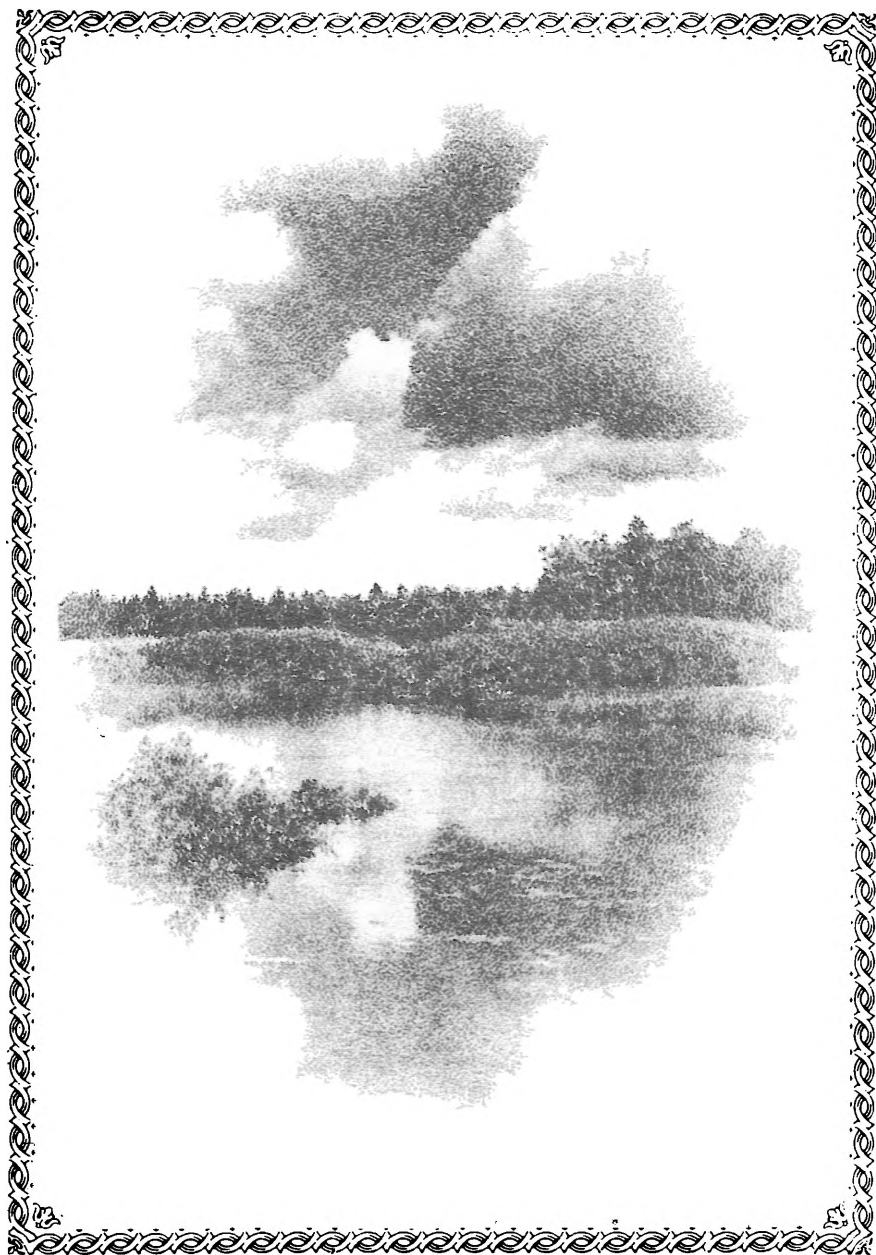
Но красы истомленной молчанье
Там на все налагает печать,
И палящего солнца лобзанье
Призывает не петь, а дышать.

Восприяв опьянения долю
Задремавших лесов и полей,
Где же вырваться птичке на волю
С затаенною песнью своей?

И сюда я, где сумрак короче,
Где заря любит зорю будить,
В холодок вашей северной ночи
Прилетаю и петь и любить.

Апрель 1891

*И как мечты почилищей природы,
Волнистые проходят облака.*



ДОЖДЛИВОЕ ЛЕТО

Ни тучки нет на небосклоне,
Но крик петуший — бури весть,
И в дальном колокольном звоне
Как будто слезы неба есть.

Покрыты слегшими травами,
Не зыблют колоса поля,
И, пресыщенная дождями,
Не верит солнышку земля.

Под кровлей влажной и раскрытой
Печально праздное житье.
Серпа с косой, давно отбитой,
В углу тускнеет лезвие.

Конец 50-х годов

* * *

Зреет рожь над жаркой нивой,
И от нивы и до нивы
Гонит ветер прихотливый
Золотые переливы.

Робко месяц смотрит в очи,
Изумлен, что день не минул,
Но широко в область ночи
День объятия раскинул.

Над безбрежной жатвой хлеба
Меж заката и востока
Лишь на миг смежает небо
Огнедышащее око.

Конец 50 годов

НЕЖДАННЫЙ ДОЖДЬ

Все тучки, тучки, а кругом
Все сожжено, все умирает.
Какой архангел их крылом
Ко мне на нивы навевает?

Повиснул дождь, как легкий дым,
Напрасно степь кругом алкала,
И надо мною лишь одним
Зарею радуга стояла.

Смирись, мятущийся поэт, —
С небес нисходит жизни влага,
Чего ты ждешь, того и нет,
Лишь незаслуженное — благо.

Я — ничего я не могу;
Один лишь может, кто, могучий,
Воздвиг прозрачную дугу
И живоносные шлет тучи.

1866(?)



* * *

Ты видишь, за спиной косцов
Сверкнули косы блеском чистым,
И поздний пар от их котлов
Упитан ужином душистым.

Лиловым дымом даль поя,
В сияньи тонет дня светило,
И набежавших туч края
Стеклом горячим окаймило.

Уже подрезан, каждый ряд
Цветов лежит пахучей цепью,
Какая тень и аромат
Плывут над меркнувшею степью!

В душе смиренной уясни
Дыханье ночи непорочной
И до огней зари восточной
Под звездным пологом усни!

<1864>

* * *

Как здесь свежо под липою густою —
Полдневный зной сюда не проникал,
И тысячи висящих надо мною
Качаются душистых опахал.

А там, вдали, сверкает воздух жгучий,
Колебляся, как будто дремлет он.
Так резко-сух снотворный и трескучий
Кузнечиков неугомонный звон.

За мглой ветвей синеют неба своды,
Как дымкою подернуты слегка,
И, как мечты почиющей природы,
Волнистые проходят облака.

<1854>



*Задрожали листья, облетая,
Тучи неба закрыли красу...*



Осень

* * *

Непогода — осень — куришь,
Куришь — все как будто мало.
Хоть читал бы, — только чтение
Подвигается так вяло.

Серый день ползет лениво,
И болтают нестерпимо
На стене часы стенные
Языком неутомимо.

Сердце стынет понемногу,
И у жаркого камина
Лезет в голову больную
Все такая чертовщина!

Над дымящимся стаканом
Остывающего чаю,
Слава богу, понемногу,
Будто вечер, засыпаю...

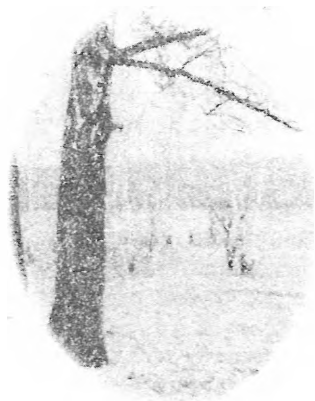
<1847>



Какая холодная осень!
Надень свою шаль и капот;
Смотри: из-за дремлющих сосен
Как будто пожар восстает.

Сияние северной ночи
Я помню всегда близ тебя,
И светят фосфорные очи,
Да только не греют меня.

<1847>



ПСОВАЯ ОХОТА

Последний сноп свезен с нагих полей,
По стоптанным гуляет жнивьям стадо,
И тянется станица журавлей
Над липником замолкнувшего сада.

Вчера зарей впервые у крыльца
Вечерний дождь звездами начал стынуть.
Пора седлать проворного донца
И звонкий рог за плечи перекинуть!

В поля! В поля! Там с зелени бугров
Охотников внимательные взоры
Натешатся на острова лесов
И пестрые лесные косогоры.

Уже давно, осыпавшись с вершин,
Осинников редее глубь густая
Над гулками извивами долин
И ждет рогов да заливного лая.

Семьи волков притон вчера открыт,
Удастся ли сегодня травля наша?
Но вот русак сверкнул из-под копыт,
Все сорвалось — и заварилась каша:

«Отбей собак! Скачи наперерез!»
И красный верх папахи вдаль помчался;
Но уж давно весь голосистый лес
На злобный лай стократно отозвался.

<1858>

* * *

Вот и летние дни убавляются,
Где же лета лучи золотые?
Только серые брови сдвигаются,
Только зыблются кудри седые.

Нынче утром, судьбиною горькою
Истомленный, вздохнул я немножко:
Рано-рано румяною зорькою
На мгновенье зарделось окошко.

Но опять это небо ненастное
Безотраднo нависло над нами, —
Знать, опять, мое солнышко красное,
Залилось ты, вставая, слезами!

19 июня 1887

ОСЕННЯЯ РОЗА

Осыпал лес свои вершины,
Сад обнажил свое чело,
Дохнул сентябрь, и георгины
Дыханьем ночи обожгло.

Но в дуновении мороза
Между погибшими одна,
Лишь ты одна, царица роза,
Благоуханна и пышна.

Назло жестоким испытаниям
И злобе гаснущего дня
Ты очертаньем и дыханьем
Весною веешь на меня.

18 сентября 1886



* * *

Задрожали листы, облетая,
Тучи неба закрыли красу,
С поля буря ворвавшись злая
Рвет и мечет и воет в лесу.

Только ты, моя милая птичка,
В теплом гнездышке еле видна.
Светлогруда, легка, невеличка,
Не запугана бурей одна.

И грохочет громов перекличка,
И шумящая мгла так черна...
Только ты, моя милая птичка,
В теплом гнездышке еле видна.

13 июля 1887

СЕНТЯБРЬСКАЯ РОЗА

За вздохом утренним мороза,
Румянец уст приотворя,
Как странно улыбнулась роза
В день бысролетный сентября!

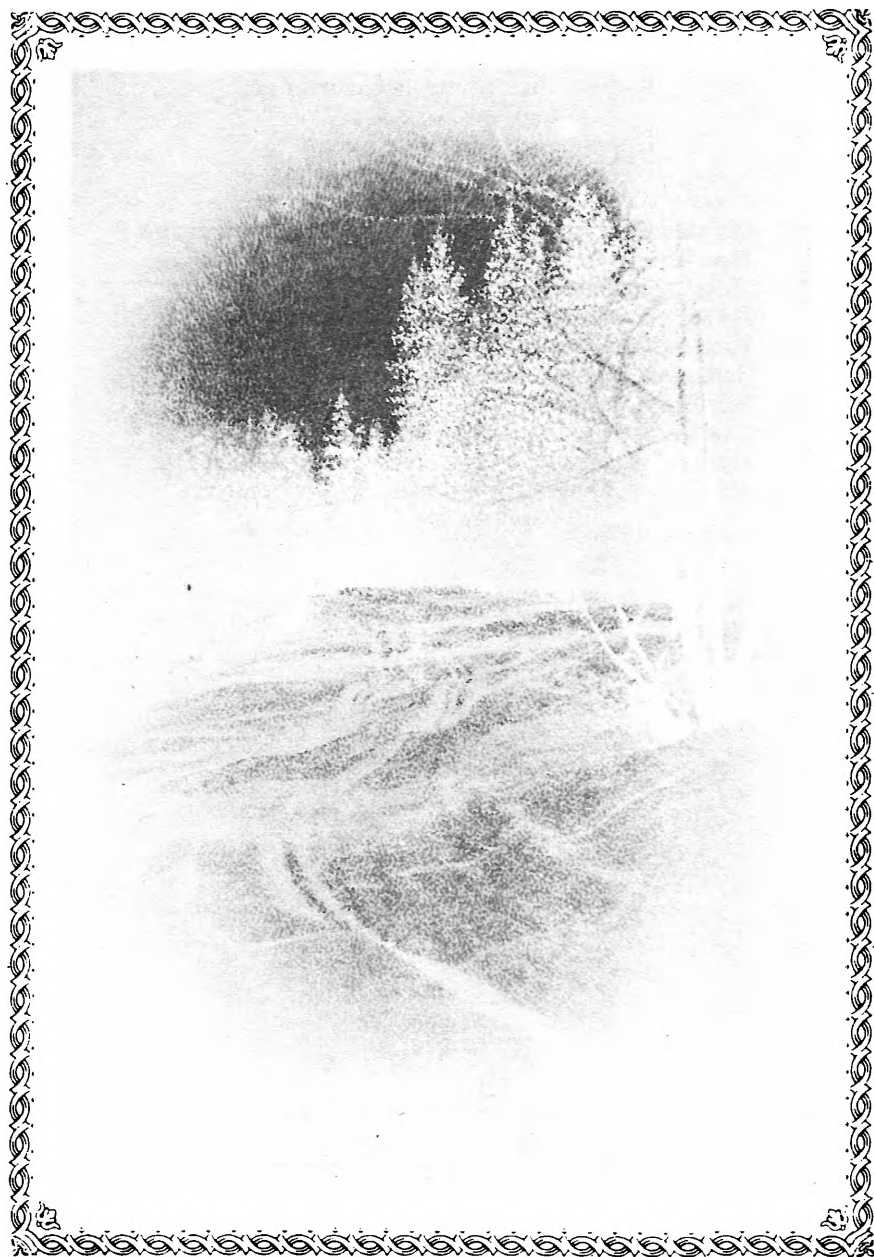
Перед порхающей синицей
В давно безлиственных кустах
Как дерзко выступать царицей
С приветом вешним на устах.

Расцвести в надежде неуклонной —
С холодной разлучась грядой,
Прильнуть последней, опьяненной
К груди хозяйки молодой!

22 ноября 1890



*Земля и небо — все одето
Каким-то тусклым серебром.*



* * *

На пажитях немых люблю в мороз трескучий
При свете солнечном я снега блеск колючий,
Леса под шапками иль в инее седом
Да речку звонкую под темно-синим льдом.
Как любят находить задумчивые взоры
Завеянные рвы, навеянные горы,
Былинки сонные среди нагих полей,
Где холм причудливый, как некий мавзолей,
Изваян полночью, — иль тучи вихрей дальных
На белых берегах и полыньях зеркальных.

<1842>, 1855



* * *

Знаю я, что ты, малютка,
Лунной ночью не робка,
Я на снеге вижу утром
Легкий оттиск башмачка.

Правда, ночь при свете лунном
Холодна, тиха, ясна;
Правда, ты не даром, друг мой,
Покидаешь ложе сна:

Бриллианты в свете лунном,
Бриллианты в небесах,
Бриллианты на деревьях,
Бриллианты на снегах.

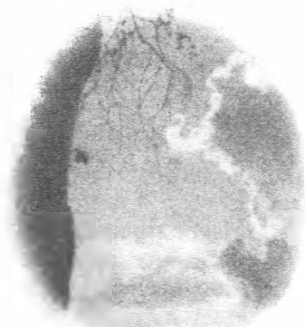
Но боюсь я, друг мой милый,
Как бы в вихре дух ночной
Не завял бы тропинку,
Проложённую тобой.

<1842>

* * *

Вот утро севера — сонливое, скупое —
Лениво смотрится в окно волоковое;
В печи трещит огонь — и серый дым ковром
Тихонько стелется над кровлею с коньком.
Петух заботливый, копаясь на дороге,
Кричит... а дедушка брадатый на пороге
Кряхтит и крестится, схватившись за кольцо,
И хлопья белые летят ему в лицо.
И полдень настает. Но, боже, как люблю я,
Как тройкою ямщик кибитку удалую
Промчит — и скроется... И долго, мнится мне,
Звук колокольчика трепещет в тишине.

<1842>



* * *

Печальная береза
У моего окна,
И прихоть мороза
Разубрана она.

Как гроздь винограда,
Ветвей концы висят,—
И радостен для глаза
Весь траурный наряд.

Люблю игру денницы
Я замечать на ней,
И жаль мне, если птицы
Страхнут красу ветвей.

<1842>

* * *

Кот поет, глаза прищуря,
Мальчик дремлет на ковре,
На дворе играет буря,
Ветер свищет на дворе.

«Полно тут тебе валяться,
Спрячь игрушки да вставай!
Подойди ко мне прощаться,
Да и спать себе ступай».

Мальчик встал. А кот глазами
Поводил и все поет;
В окна снег валит клоками,
Буря свищет у ворот.

<1842>

* * *

Чудная картина,
Как ты мне родна:
Белая равнина,
Полная луна,

Свет небес высоких,
И блестящий снег,
И саней далеких
Одинокий бег.

<1842>

* * *

Ночь светла, мороз сияет,
Выходи — снежок хрустит;
Пристяжная озябает
И на месте не стоит.

Сядем, полость застегну я, —
Ночь светла и ровен путь.
Ты ни слова, — замолчу я,
И — пошел куда ни будь!

<1847>

* * *

На двойном стекле узоры
Начертил мороз,
Шумный день свои дозоры
И гостей унес;

Смолкнул яркий говор сплетней,
Скучный голос дня:
Благодатней и приветней
Все кругом меня.

Пред горящими дровами
Сядем — там тепло.
Месяц быстрыми лучами
Пронизал стекло.

Ты хитрила, ты скрывала,
Ты была умна;
Ты давно не отдыхала,
Ты утомлена.

Полон нежного волненья,
Сладостной мечты,
Буду ждать успокоенья
Чистой красоты.

<1847>

* * *

Скрип шагов вдоль улиц белых,
Огоньки вдали;
На стенах оледенелых
Блещут хрустали.

От ресниц нависнул в очи
Серебристый пух,
Тишина холодной ночи
Занимает дух.

Ветер спит, и все немеет,
Только бы уснуть;
Ясный воздух сам робеет
На мороз дохнуть.

1858(?)

* * *

Еще вчера, на солнце млея,
Последним лес дрожал листом,
И озимь, пышно зеленея,
Лежала бархатным ковром.

Глядя надменно, как бывало,
На жертвы холода и сна,
Себе ни в чем не изменяла
Непобедимая сосна.

Сегодня вдруг исчезло лето;
Бело, безжизненно кругом,
Земля и небо — все одето
Каким-то тусклым серебром.

Поля без стад, леса унылы,
Ни скудных листьев, ни травы.
Не узнаю растущей силы
В алмазных призраках листвы.

Как будто в сизом клубе дыма
Из царства злаков волей фей
Перенеслись непостижимо
Мы в царство горных хрусталей.

1864(?)

Какая грусть! Конец аллеи
Опять с утра исчез в пыли,
Опять серебряные змеи
Через сугробы поползли.

На небе ни клочка лазури,
В степи все гладко, все бело,
Один лишь ворон против бури
Крылами машет тяжело.

И на душе не рассветает,
В ней тот же холод, что кругом,
Лениво дума засыпает
Над умирающим трудом.

А все надежда в сердце тлеет,
Что, может быть, хоть невзначай,
Опять душа помолодеет,
Опять родной увидит край,

Где бури пролетают мимо,
Где дума страстная чиста,—
И посвященным только зримо
Цветет весна и красота.

Начало 1862

У ОКНА

К окну приникнув головой,
Я поджидал с тоскою нежной,
Чтоб ты явилась — и с тобой
Помчаться по равнине снежной.

Но в блеск сокрылась ты лесов,
Под листья яркие банана,
За серебро пустынных мхов
И пыль жемчужную фонтана.

Я видел горный поворот,
Где снег стопой твоей встревожен.
Я рассмотрел хрустальный грот,
Куда мне доступ невозможен.

Вдруг ты вошла — я все узнал —
Смех на устах, в глазах угроза.
О, как все верно подсказал
Мне на стекле узор мороза!

<1871>

* * *

Мама! глянь-ка из окошка —
Знать, вчера недаром кошка
Умывала нос:
Грязи нет, весь двор одело,
Посветлело, побелело —
Видно, есть мороз.

Не колючий, светло-синий
По ветвям развешан иней —
Погляди хоть ты!
Словно кто-то тороватый
Свежей, белой, пухлой ватой
Все убрал кусты.

Уж теперь не будет спору:
За салазки, да и в гору
Весело бежать!
Правда, мама? Не откажешь,
А сама, наверно, скажешь:
«Ну, скорей гулять!»

9 декабря 1887

* * *

Ветер злой, ветер крутой в поле
Заливается,
А сугроб на степной воле
Завивается.

При луне на версте мороз —
Огонечками.
Про живых ветер весть пронес
С позвоночками.

Под дубовым крестом свистит,
Раздувается.
Серый заяц степной хрустит,
Не пугается.

<1847>

*Зеркало в зеркало, с трепетным лепетом,
Я при свечах навела...*



* * *

Ночь крещенская морозна,
Будто зеркало — луна.
«Побегу: еще не поздно,
Да боюсь идти одна».

— «Я, сестрица, за тобою
Не пойду — одна иди!»
— «Я с тобою, — за избою
Наводи да наводи!»

Ничего: пес рябый ходит,
Вот и серый у ворот...
И красавица наводит —
И никак не наведет.

«Вижу, вижу! потянулись:
Раз, два, три, четыре, пять...
Заструились, покачнулись,
Стало только три опять.

Ну, захочет почудесить?
Со страстей рехнуся я...
Шесть, семь, восемь, девять, десять —
Чешуя как чешуя...

Вот одиннадцать — всё лица!
Вот собаки лай и вой...
Чур меня!..» — «Ну что, сестрица?»
— «Раскрасавец молодой!»

<1842>

* * *

Зеркало в зеркало, с трепетным лепетом,
Я при свечах навела;
В два ряда свет — и таинственным трепетом
Чудно горят зеркала.

Страшно припомнить душой оробелою:
Там, за спиной, нет огня...
Тяжкое что-то над шеею белою
Плавает, давит меня!

Ну как уставят гробами дубовыми
Весь этот ряд между свеч!
Ну как лохматый с глазами свинцовыми
Выглянет вдруг из-за плеч!

Ленты да радуги, ярче и жарче дня...
Дух захватило в груди...
Суженый! золото, серебро!.. Чур меня,
Чур меня — сгинь, пропади!

<1842>

* * *

«Полно смеяться! что это с вами?
Точно базар!
Как загудело! словно пчелами
Полон анбар».
«Чу! не стучите! кто-то шагает
Вдоль закровов...
Сыплет да сыплет, пересыпает
Рожь из мешков.

Сыплет орехи, деньги считает,
Шубой шумит,
Всем наделяет, все обещает,
Только сердит».

— «Ну, а тебе что?» — «Тише, сестрицы!
Что-то несут:
Так и трясутся все половицы...
Что-то поют;

Гроб забивают крышей большою,
Кто-то завыл!
Страшно, сестрицы! знать, надо мною
Шут подшутил».

<1842>

* * *

Помню я: старушка-няня
Мне в рождественской ночи
Про судьбу мою гадала
При мерцании свечи,

И на картах выходили
Интересы да почет.
Няня, няня! ты ошиблась,
Обманул тебя расчет;

Но зато я так влюбился,
Что приходится невмочь...
Погадай мне, друг мой няня,
Нынче святочная ночь.

Что,— не будет ли свиданья,
Разговоров иль письма?
Выйдет пиковая дама
Иль бубновая сама?

Няня добрая гадает,
Грустно голову склоня;
Свечка тихо нагорает,
Сердце бьется у меня.

<1842>

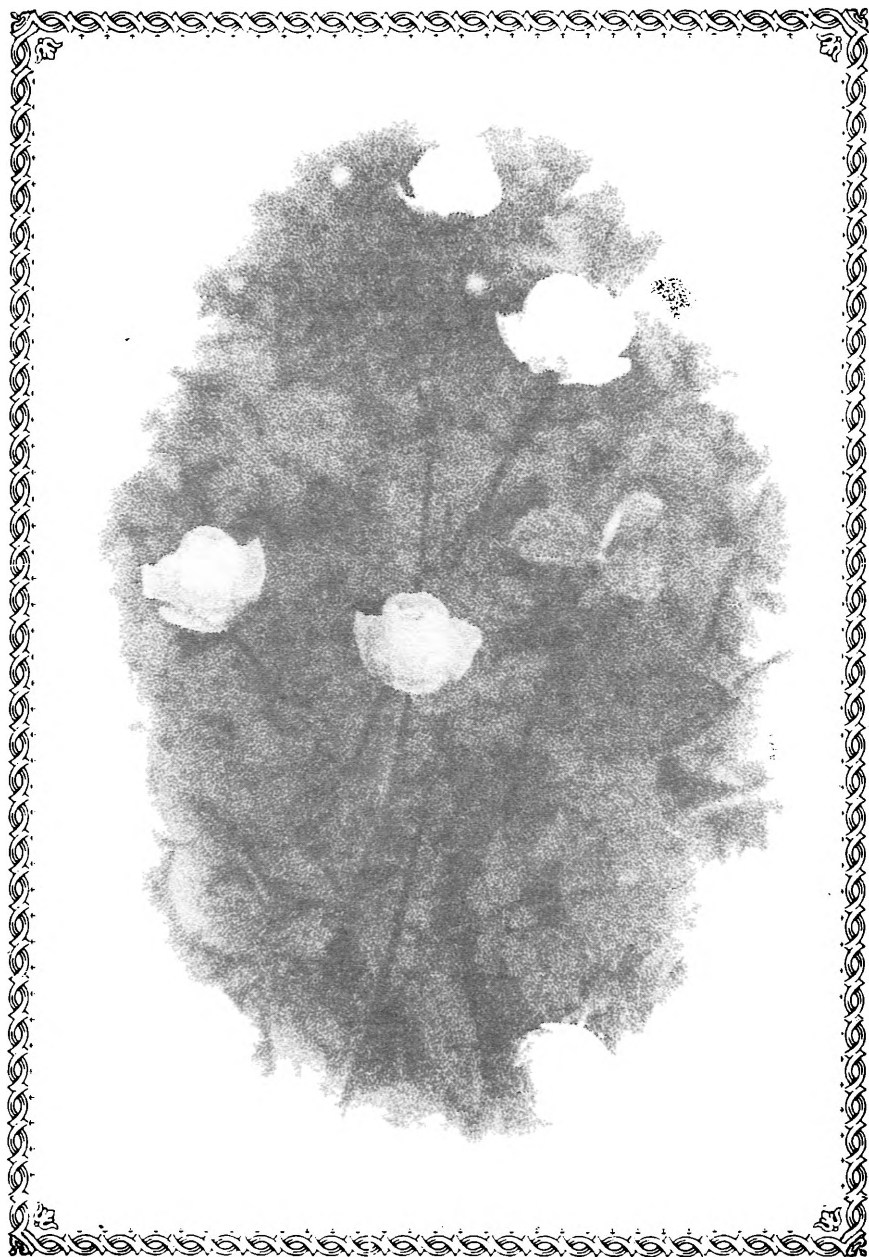
* * *

Перекресток, где ракирка
И стоит и спит...
Тихо ветхая калитка
За плетнем скрипит.

Кто-то крадется сторонкой,
Санки пробегут —
И вопрос раздастся звонкой:
«Как тебя зовут?»

<1842>

*О, если б без слова
Сказаться душой было можно!..*



* * *

Когда я блестящий твой локон целую
И жарко дышу так на милую грудь,—
Зачем говоришь ты про деву иную
И в очи мне прямо не смеешь взглянуть?

Хоть вечер и близок, не бойся! От стужи
Тебя я в широкий свой плащ заверну—
Луна не в тумане, а звезд хоть и много,
Но мы заглядимся с тобой на одну.

Хоть в сердце не веруй... хоть веруй в мгновенье,
И взор мой, и трепет, и лепет пойми—
И, жарким лобзаньем спаливши сомненье,
Ревнивая дева, меня обойми!

<1842>

* * *

Тихо ночью на степи;
Небо ей сказало: спи!
 И курганы спят;
Звезды ж крупные в лучах
Говорят на небесах:
 Вечный — свят, свят, свят!

В небе чутко и светло.
Неподвижное крыло
 За плечом молчит,—
Нет движенья; лишь порой
Бриллиантовой слезой
 Ангел пролетит.

<1847>

Весеннее небо глядится
Сквозь ветви мне в очи случайно,
И тень золотая ложится
На воды блестящего Майна.

Вдали огонек одинокой
Трепещет под сумраком липок;
Исполнена тайны жестокой
Душа замирающих скрипок.

Средь шума толпы неизвестной
Те звуки понятней мне вдвое:
Напомнили силой чудесной
Они мне всё сердцу родное.

Ожившая память несется
К прошедшей тоске и веселью;
То сердце замрет, то проснется
За каждой безумною трелью.

Но быстро волшебной чредою
Промчалась тоскливая тайна,
И месяц бежит полосою
Вдоль вод тихоструйного Майна.

Август 1844



* * *

Я полон дум, когда, закрывши вежды,
Внимаю шум
Младого дня и молодой надежды;
Я полон дум.
Я все с тобой, когда рука неволи
Владеет мной—
И целый день, туманно ли, светло ли,—
Я все с тобой.

Вот месяц всплыл в своем сиянии дивном
На высоты,
И водомет в лобзании непрерывном,—
О, где же ты?

<1842>

* * *

Младенческой ласки доступен мне лепет,
Душа откровенно так с жизнью мирится.
Безумного счастья томительный трепет
Горячим приливом по сердцу стремится.

Скажу той звезде, что так ярко сияет,—
Давно не видались мы в мире широком,
Но я понимаю, на что намекает
Мне с неба она многозначащим оком:

— Ты смотришь мне в очи. Ты права: мой трепет
Понятен, как луч твой, что в воды глядится.
Младенческой ласки доступен мне лепет,
Душа откровенно так с жизнью мирится.

<1847>

* * *

Не отходи от меня,
Друг мой, останься со мной!
Не отходи от меня:
Мне так отрадно с тобой...

Ближе друг к другу, чем мы,—
Ближе нельзя нам и быть;
Чище, живее, сильнее
Мы не умеем любить.

Если же ты — предо мной,
Грустно головку склоня,—
Мне так отрадно с тобой:
Не отходи от меня!

<1842>

* * *

Тихая, звездная ночь,
Трепетно светит луна;
Сладки уста красоты
В тихую, звездную ночь.

Друг мой! в сиянии ночном
Как мне печаль превозмочь?..
Ты же светла, как любовь,
В тихую, звездную ночь.

Друг мой, я звезды люблю—
И от печали не прочь...
Ты же еще мне милей
В тихую, звездную ночь.

<1842>

* * *

Буря на небе вечернем,
Моря сердитого шум—
Буря на море и думы,
Много мучительных дум—
Буря на море и думы,
Хор возрастающих дум—
Черная туча за тучей,
Моря сердитого шум.

<1842>

NOTTURNO*

Ты спишь один, забыт на месте диком,
Старинный монастырь!
Твой свод упал; кругом летают с криком
Сова и нетопырь.

И стекол нет, и свищет вихорь ночи
Во впадину окна,
Да плющ растет, да устремляет очи
Полночная луна.

И кто-то там мелькает в свете лунном,
Блестит его убор—
И слышатся на помосте чугунном
Шаги и звуки шпор.

И грустную симфонию печали
Звучит во тьме орган...
То тихо все, как будто вечно спали
И стены и орган.

<1842>

* * *

Теплым ветром потянуло,
Смолк далекий гул,
Поле тусклое уснуло,
Гуртовщик уснул.

В загородке улеглись
И жуют волы,
Звезды частые зажглись
По навесу мглы.

Только выше все всплывает
Месяц золотой,
Только стадо обегает
Пес сторожевой.

* Ноктюрн (ит.).

Редко, редко кочевая
Тучка бросит тень...
Неподвижная, немая,
Ночь светла, как день.

<1842>

* * *

Если зимнее небо звездами горит
И мечтательно светит луна,
Предо мною твой образ, твой дивный скользит,
Словно ты из лучей создана.

И светла и легка, ты несешься туда...
Я гляжу и молю хоть следов.
И светла и легка — но зато ни следа;
Только грудь обуяет любовь.

И летел бы, летел за красою твоей —
И пускай в небе звезды горят
И быстрее и светлей мириады лучей
На пылинки ночные глядят.

<1843>

* * *

Полуночные образы реют,
Блещут искрами ярко впотьмах,
Но глаза различить не умеют,
Много ль их на тревожных крылах.

Полуночные образы стонут,
Как больной в утомительном сне,
И всплывают, и стонут, и тонут —
Но о чем это стонут оне?

Полуночные образы воют,
Как духов испугавшийся пес;
То нахлынут, то бездну откроют,
Как волна обнажает утес.

<1843>

* * *

Я долго стоял неподвижно,
В далекие звезды глядясь,—
Меж теми звездами и мною
Какая-то связь родилась.

Я думал... не помню, что думал;
Я слушал таинственный хор,
И звезды тихонько дрожали,
И звезды люблю я с тех пор...

<1843>

* * *

Шумела полночная вьюга
В лесной и глухой стороне.
Мы сели с ней друг подле друга.
Валежник свистал на огне.

И наших двух теней громады
Лежали на красном полу,
А в сердце ни искры отрады,
И нечем прогнать эту мглу!

Березы скрипят за стеною,
Сук ели трещит смоляной...
О друг мой, скажи, что́ с тобою?
Я знаю давно, что́ со мной!

1842

* * *

Улыбка томительной скуки
Средь общей веселия жажды...
Вы, полные, сладкие звуки,—
Знать, вас не услышать мне дважды!

Зачем же за тающей скрипкой
Так сердце в груди встрепенулось,
Как будто знакомой улыбкой
Минувшее вдруг улыгнулось?

Так томно и грустно-небрежно
В свой мир расцвечённый уносит,
И ластится к сердцу так нежно,
И так умирительно просит?

<1844>

СЕРЕНАДА

Тихо вечер догорает,
Горы золотя;
Знойный воздух холодает,—
Спи, мое дитя.

Соловьи давно запели,
Сумрак возвестя;
Струны робко зазвенели,—
Спи, мое дитя.

Смотрят ангельские очи,
Трепетно светя;
Так легко дыханье ночи,—
Спи, мое дитя.

<1844>

* * *

За кормою струйки вьются,
Мы несемся в челноке,
И далеко раздаются
Звуки «Нормы» по реке.

Млечный Путь глядится в воду—
Светлый праздник светлых лет!
Я веслом прибавил ходу—
И луна бежит вослед.

Струйки вьются, песни льются,
Вторит эхо вдалеке,
И, дробясь, раздаются
Звуки «Нормы» по реке.

<1844>

ФАНТАЗИЯ

Мы одни; из сада в стекла окон
Светит месяц... тусклы наши свечи;
Твой душистый, твой послушный локон,
Развиваясь, падает на плечи.

Что ж молчим мы? Или самовластно
Царство тихой, светлой ночи мая?
Иль поет и ярко так и страстно
Соловей, над розой изнывая?

Иль проснулись птички за кустами,
Там, где ветер колыхал их гнезды,
И, дрожа ревнивыми лучами,
Ближе, ближе к нам нисходят звезды?

На суку извилистом и чудном,
Пестрых сказок пышная жилица,
Вся в огне, в сиянии изумрудном,
Над водой качается жар-птица,

Расписные раковины блещут
В переливах чудной позолоты,
До луны жемчужной пеной мещут
И алмазной пылью водометы.

Листья полны светлых насекомых,
Все растет и рвется вон из меры,
Много снов проносится знакомых
И на сердце много сладкой веры.

Переходят радужные краски,
Раздражая око светом ложным;
Миг еще — и нет волшебной сказки,
И душа опять полна возможным.

Мы одни; из сада в стекла окон
Светит месяц... тусклы наши свечи;
Твой душистый, твой послушный локон,
Развиваясь, падает на плечи.

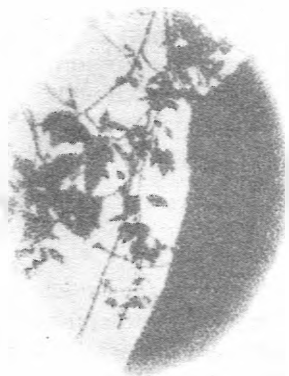
<1847>

* * *

Недвижные очи, безумные очи,
Зачем вы средь дня и в часы полуночи
 Так жадно вперяетесь вдаль!
Ужели вы в том потонули минувшем,
Давно и мгновенно пред вами мелькнувшем,
 Которого сердцу так жаль?

Не высмотреть вам, чего нет и что было,
Что сердце, тоскуя, в себе скоронило
 На самое темное дно;
Не вам допросить у случайности жадной,
Куда она скрыла рукой беспощадной,
 Что было так щедро дано!

<1846>



* * *

Как мошки зарею,
Крылатые звуки толпятся;
 С любимой мечтою
Не хочется сердцу расстаться.

Но цвет вдохновенья
Печален средь буднишних терний;
 Былое стремленье
Далеко, как отблеск вечерний.

Но память бывшего
Все крадется в сердце тревожно...
О, если б без слова
Сказаться душой было можно!

11 августа 1844

* * *

Спи — еще зарею
Холодно и рано;
Звезды за горою
Блещут средь тумана;

Петухи недавно
В третий раз пропели.
С колокольни плавно
Звуки пролетели.

Дышат лип верхушки
Негою отрадной,
А углы подушки —
Влагою прохладной.

<1847>

* * *

Свеж и душист твой роскошный венок,
Всех в нем цветов благовония слышны,
Кудри твои так обильны и пышны,
Свеж и душист твой роскошный венок.

Свеж и душист твой роскошный венок,
Ясного взора губительна сила, —
Нет, я не верю, чтоб ты не любила:
Свеж и душист твой роскошный венок.

Свеж и душист твой роскошный венок,
Счастью сердце легко дается:
Мне близ тебя хорошо и поется.
Свеж и душист твой роскошный венок.

<1847>

* * *

Давно ль под волшебные звуки
Носились по зале мы с ней?
Теплы были нежные руки,
Теплы были звезды очей.

Вчера пели песнь погребенья,
Без крыши гробница была;
Закрывши глаза, без движенья,
Она под парчою спала.

Я спал... над постелью моею
Стояла луна мертвецом.
Под чудные звуки мы с нею
Носились по зале вдвоем.

<1842>



* * *

Снился берег мне скалистый,
Море спало под луною,
Как ребенок дремлет чистый,—
И, по нем скользя с тобою,
В дым прозрачный и волнистый
Шли алмазной мы стезею.

Конец 1856 или начало 1857

ТУМАННОЕ УТРО

Как первый золотистый луч
Меж белых гор и сизых туч
Скользит уступами вершин
На темя башен и руин,
Когда в долинах, полных мглой,
Туман недвижим голубой,—
Пусть твой восторг во мглу сердец
Такой кидает свет, певец!

И как у розы молодой,
Рожденной раннею зарей,
Когда еще палящих крыл
Полудня ветер не раскрыл
И влажный вздох туман ночной
Меж небом делит и землей,
Росинка катится с листа,—
Пусть будет песнь твоя чиста.

Конец 1856 или начало 1857



РИМСКИЙ ПРАЗДНИК

Не напевай тоскливой муки
И слезный трепет утиши,
Воздушный голос! — Эти звуки
Смущают кроткий мир души.

Вокруг светло. На праздник Рима
Взглянули ярко небеса—
И высоко-неизмерима
Их светло-синяя краса.

Толпа ликует, как ребенок,
На перекрестках шум и гул,
В кистях пунцовых, бодр и звонок,
По мостовой ступает мул.

В дыханьи чары мимолетной
Уже ласкались вокруг меня
И радость жизни беззаботной,
И свет безоблачного дня.

Но ты запел — и злые звуки
Смущают кроткий мир души...
О, не зови тоскливой муки
И слезный трепет утиши!

Конец 1856 или начало 1857

ЦВЕТЫ

С полей несется голос стада,
В кустах малиновки звенят,
И с побелевших яблонь сада
Струится сладкий аромат.

Цветы глядят с тоской влюбленной,
Безгрешно чисты, как весна,
Роняя с пылью благовонной
Плодов румяных семена,

Сестра цветов, подруга розы,
Очами в очи мне взгляни,
Навей живительные грезы
И в сердце песню зарони.

<1858>

* * *

Вчера я шел по зале освещенной,
Где так давно встречались мы с тобой.
Ты здесь опять! Безмолвный и смущенный,
Невольно я поникнул головой.

И в темноте тревожного сознания
Былые дни я различал едва,
Когда шептал безумные желанья
И говорил безумные слова.

Знакомыми напевами томимый,
Стою. В глазах движение и цветы—
И кажется, летя под звук любимый,
Ты прошептала кротко: «Что же ты?»

И звуки те ж, и те ж благоуханья,
И чувствую — пылает голова,
И я шепчу безумные желанья
И лепечу безумные слова.

<1858>

* * *

Все вокруг и пестро так и шумно,
Но напрасно толпа весела:
Без тебя я тоскую безумно,
Ты улыбку мою унесла.

Только изредка, поздней порою,
После скучного, тяжкого дня,
Нежный лик твой встает предо мною,
И ему улыбаюсь я.

1856

ПЕВИЦЕ

Уноси мое сердце в звенящую даль,
Где как месяц за рощей печаль;
В этих звуках на жаркие слезы твои
Кротко светит улыбка любви.

О дитя! как легко средь незримых зыбей
Доверяться мне песне твоей:
Выше, выше плыву серебристым путем,
Будто шаткая тень за крылом.

Вдалеке замирает твой голос, горя,
Словно за морем ночью заря,—
И откуда-то вдруг, я понять не могу,
Грянет звонкий прилив жемчугу.

Уноси ж мое сердце в звенящую даль,
Где кротка, как улыбка, печаль,
И все выше помчусь серебристым путем
Я, как шаткая тень за крылом.

<1857>



БАЛ

Когда трепещут эти звуки
И дразнит ноющий смычок,
Слагая на коленях руки,
Сажусь в забытый уголок.

И, как зари румянец дальный
Иль дней былых немая речь,
Меня пленяет вихорь бальный
И шевелит мерцанье свеч.

О, как, ничем неукротимо,
Уносит к юности былой
Вблизи порхающее мимо
Круженье пары молодой!

Чего хочу? Иль, может статься,
Бывалой жизнью дыша,
В чужой восторг переселяться
Заране учится душа?

<1857>

*ANRUF AN DIE GELIEBTE**
БЕТХОВЕНА

Пойми хоть раз тоскливое признание,
Хоть раз услышь души молящей стон!
Я пред тобой, прекрасное создание,
Безвестных сил дыханьем окрылен.

Я образ твой ловлю перед разлукой,
Я, полон им, и млею, и дрожу,
И, без тебя томясь предсмертной мукой,
Своей тоской, как счастьем, дорожу.

Ее пою, во прах упасть готовый.
Ты предо мной стоишь как божество—
И я блажен; я в каждой муке новой
Твоей красы провижу торжество.

<1857>

* * *

Ярким солнцем в лесу пламенеет костер,
И, сжимаясь, трещит можжевельник;
Точно пьяных гигантов столпившийся хор,
Раскрасневшись, шатается ельник.

Я и думать забыл про холодную ночь,—
До костей и до сердца прогрело;
Что смущало, колеблясь, умчалось прочь,
Будто искры в дыму, улетело.

Пусть на зорьке, все ниже спускаясь, дымок
Над золою замрет сиротливо;
Долго-долго, до поздней поры огонек
Будет теплиться скупое, лениво.

И лениво и скупое мерцающий день
Ничего не укажет в тумане;
У холодной золы изогнувшийся пень
Прочернеет один на поляне.

* Призыв к любимой (нем.).

Но нахмурится ночь — разгорится костер,
И, виясь, затрещит можжевельник,
И, как пьяных гигантов столпившийся хор,
Покраснев, зашатается ельник.

<1859>

* * *

Свеча нагорела. Портреты в тени.
Сидишь прилежно и скромно ты.
Старушке зевнулось. По окнам огни
Прошли в те дальние комнаты.

Никак комара не прогонишь ты прочь, —
Поет и к свету все просится.
Взглянуть ты не смеешь на лунную ночь,
Куда душа переносится.

Подкрался, быть может, и смотрит в окно?
Увидит мать — догадается;
Нет, верно, у старого клена давно
Стоит в тени, дожидается.

<1862>

* * *

Нет, не жди ты песни страстной,
Эти звуки — бред неясный,
Томный звон струны;
Но, полны тоскливой муки,
Навевают эти звуки
Ласковые сны.

Звонким роем налетели,
Налетели и запели
В светлой вышине.
Как ребенок им внимаю,
Что́ сказалось в них — не знаю,
И не нужно мне.

Поздним летом в окна спальни
Тихо шепчет лист печальный,
Шепчет не слова;
Но под легкий шум березы
К изголовью, в царство грезы
Никнет голова.

<1858>

* * *

Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали
Лучи у наших ног в гостиной без огней.
Рояль был весь раскрыт, и струны в нем дрожали,
Как и сердца у нас за песнию твоей.

Ты пела до зари, в слезах изнемогая,
Что ты одна — любовь, что нет любви иной,
И так хотелось жить, чтоб, звука не роняя,
Тебя любить, обнять и плакать над тобой.

И много лет прошло, томительных и скучных,
И вот в тиши ночной твой голос слышу вновь,
И веет, как тогда, во вздохах этих звучных,
Что ты одна — вся жизнь, что ты одна — любовь,

Что нет обид судьбы и сердца жгучей муки,
А жизни нет конца, и цели нет иной,
Как только веровать в рыдающие звуки,
Тебя любить, обнять и плакать над тобой!

2 августа 1877



* * *

Что ты, голубчик, задумчив сидишь,
Слышишь — не слышишь, глядишь — не глядишь?
Утро давно, а в глазах у тебя,
Я посмотрю, и не день и не ночь.

— Точно случилось жемчужную нить
Подле меня тебе врозь уронить.
Чудную песню я слышал во сне,
Несколько слов до явү мне прожгло.

Эти слова-то ищу я опять
Все, как звучали они, подобрать.
Верно, ах, верно, сказала б ты мне,
В чем этот голос меня укорял.

Начало 1875

* * *

В дымке-невидимке
Выплыл месяц вешний,
Цвет садовый дышит
Яблонью, черешней.
Так и льнет, целуя
Тайно и нескромно.
И тебе не грустно?
И тебе не томно?

Истерзался песней
Соловей без розы.
Плачет старый камень,
В пруд роняя слезы.
Уронила косы
Голова невольню.
И тебе не томно?
И тебе не больно?

Апрель 1873

* * *

Одна звезда меж всеми дышит
И так дрожит,
Она лучом алмазным пышет
И говорит:

Не суждено с тобой нам дружно
Носить оков,
Не ищем мы и нам не нужно
Ни клятв, ни слов.

Не нам восторги и печали,
Любовь моя!
Но мы во взорах разгадали,
Кто ты, кто я.

Чем мы горим, светить готово
Во тьме ночей;
И счастья ищем мы земного
Не у людей.

<1882>

* * *

Истрепались сосен мохнатые ветви от бури,
Изрыдалась осенняя ночь ледяными слезами,
Ни огня на земле, ни звезды в овдовевшей лазури,
Все сорвать хочет ветер, все смыть хочет ливень ручьями.

Никого! Ничего! Даже сна нет в постели холодной,
Только маятник грубо-насмешливо меряет время.
Оторвись же от тусклой свечи ты душою свободной!
Или тянет к земле роковое, тяжелое бремя?

О, войди ж в этот мрак, улыбнись, благосклонная фея,
И всю жизнь в этот миг я солью, этим мигом измерю,
И, речей благовонных созвучием слух возлелея,
Не признаю часов и рыданьям ночным не поверю!

Конец 60-х годов (?)

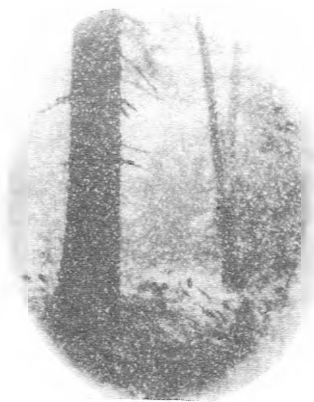
* * *

Солнце ниже лучами в отвес,
И дрожат испарений струи
У окраины ярких небес;
Распахни мне объятия твои,
Густолистый, развесистый лес!

Чтоб в лицо и в горячую грудь
Хлынул вздох твой студеной волной,
Чтоб и мне было сладко вздохнуть;
Дай устами и взором прильнуть
У корней мне к воде ключевой!

Чтоб и я в этом море исчез,
Потонул в той душистой тени,
Что раскинул твой пышный навес;
Распахни мне объятия твои,
Густолистый, развесистый лес!

1863



* * *

Месяц зеркальный плывет по лазурной пустыне,
Травы степные унизаны влагой вечерней,
Речи отрывистей, сердце опять суеверней,
Длинные тени вдали потонули в ложбине.

В этой ночи, как в желаниях, все беспредельно,
Крылья растут у каких-то воздушных стремлений,
Взял бы тебя и помчался бы так же бесцельно,
Свет унося, покидая неверные тени.

Можно ли, друг мой, томиться в тяжелой кручине?
Как не забыть, хоть на время, язвительных терний?
Травы степные сверкают росой вечерней,
Месяц зеркальный бежит по лазурной пустыне.

1863

* * *

Забудь меня, безумец иступленный,
Покою не губи.
Я создана душой твоей влюбленной,
Ты призрак не люби!

О, верь и знай, мечтатель малодушный,
Что, мучась и стена,
Чем ближе ты к мечте своей воздушной,
Тем дальше от меня.

Так над водой младенец, восхищенный
Луной, подымлет крик;
Он бросился — и с влаги возмущенной
Исчез серебристый лик.

Дитя, отри заплаканное око,
Не доверяй мечтам.
Луна плывет и светится высоко,
Она не здесь, а там.

1855

* * *

Прежние звуки, с былым обаяньем
Счастья и юной любви!
Все, что сказалося в жизни страданьем,
Пламенем жгучим пахнуло в крови!

Старые песни, знакомые звуки,
Сон безотвязно больной!
Точно из сумрака бледные руки
Призраков нежных манят за собой.

Пусть обливается жгучею кровью
Сердце, а очи слезой! —
Доброю няней прильнув к изголовью,
Старая песня, звучи надо мной!

Пой! Не смущайся! Пусть время былое
Яркой зарей расцветет!
Может быть, сердце утихнет больное
И, как дитя в колыбели, уснет.

Конец 1862

* * *

Как ясность безоблачной ночи,
Как юно-нетленные звезды,
Твои загораются очи
Всесильным, таинственным счастьем.

И все, что лучом их случайным
Далеко иль близко объято,
Блаженством овеяно тайным—
И люди, и звери, и скалы.

Лишь мне, молодая царица,
Ни счастья нет, ни покоя,
И в сердце, как пленная птица,
Томится бескрылая песня.

1862

* * *

Сны и тени,
Сновиденья,
В сумрак трепетно манящие,
Все ступени
Усыпленья
Легким роем преходящие,

Не мешайте
Мне спускаться
К переходу сокровенному,
Дайте, дайте
Мне умчаться
С вами к свету отдаленному.

Только минем
Сумрак свода,—
Тени станем мы прозрачные
И покинем
Там у входа
Покрывала наши мрачные.

1859

ШОПЕНУ

Ты мелькнула, ты предстала,
Снова сердце задрожало,
Под чарующие звуки
То же счастье, те же муки,
Слышу трепетные руки—
Ты еще со мной!

Час блаженный, час печальный,
Час последний, час прощальный,
Те же легкие одежды,
Ты стоишь, склоняя вежды,—
И не нужно мне надежды:
Этот час — он мой!

Ты руки моей коснулась,
Разом сердце встрепетнулось;
Не туда, в то горе злое,
Я несусь в мое бывшее,—
Я на все, на все иное
Отпылал, потух!

Этой песне чудотворной
Так покорен мир упорный;
Пусть же сердце, полно муки,
Торжествует час разлуки,
И когда загаснут звуки—
Разорвется вдруг!

<1882>



РОМАНС

Злая песнь! Как больно возмутила
Ты дыханьем душу мне до дна!
До зари в груди дрожала, ныла
Эта песня — эта песнь одна.

И поюшим отдаваться мукам
Было слаще обаянья сна;
Умереть хотелось с каждым звуком,
Сердцу грудь казалась тесна.

Но с зарей потухнул жар напевный
И душа затихнула до дна.
В озаренной глубине душевной
Лишь улыбка уст твоих видна.

<1882>

* * *

Я видел твой млечный, младенческий волос,
Я слышал твой сладко вздыхающий голос —
И первой зари я почувствовал пыл;
Налегу весенних порывов подвластный,
Дохнул я струею и чистой и страстной
У пленного ангела с веющих крыл.

Я понял те слезы, я понял те муки,
Где слово немеет, где царствуют звуки,
Где слышишь не песню, а душу певца,
Где дух покидает ненужное тело,
Где внемлешь, что радость не знает предела,
Где веришь, что счастьем не будет конца.

<1884>

* * *

Только в мире и есть, что тенистый
Дремлющих кленов шатер.
Только в мире и есть, что лучистый
Детски задумчивый взор.

Только в мире и есть, что душистый
Милой головки убор.
Только в мире и есть этот чистый
Влево бегущий пробор.

3 апреля 1883

В ЛУННОМ СИЯНИИ

Выйдем с тобой побродить
В лунном сиянии!
Долго ли душу томить
В темном молчании!

Пруд как блестящая сталь,
Травы в рыдании,
Мельница, речка и даль.
В лунном сиянии.

Можно ль тужить и не жить
Нам в обаянии?
Выйдем тихонько бродить
В лунном сиянии!

27 декабря 1885

НА РАССВЕТЕ

Плавню у ночи с чела
Мягкая падает мгла;
С поля широкого тень
ЖметсЯ под ближнюю сень,
Жаждою света горя,
Выйти стыдится заря;
Холодно, ясно, бело,
Дрогнуло птицы крыло...
Солнца еще не видать,
А на душе благодать.

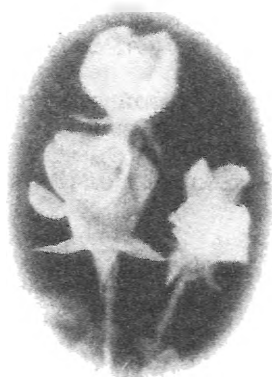
1 апреля 1886

* * *

Что за звук в полумраке вечернем? Бог весть,—
То кулик простонал или сыч.
Расставанье в нем есть, и страданье в нем есть,
И далекий неведомый клич.

Точны грезы больные бессонных ночей
В этом плачущем звуке слиты,—
И не нужно речей, ни огней, ни очей—
Мне дыхание скажет, где ты.

10 апреля 1887



* * *

Я тебе ничего не скажу,
И тебя не встревожу ничуть,
И о том, что я молча твержу,
Не решусь ни за что намекнуть.

Целый день спят ночные цветы,
Но лишь солнце за рощу зайдет,
Раскрываются тихо листы,
И я слышу, как сердце цветет.

И в больную, усталую грудь
Веет влагой ночной... я дрожу,
Я тебя не встревожу ничуть,
Я тебе ничего не скажу.

2 сентября 1885

* * *

Все, как бывало, веселый, счастливый,
Ленты твоей уловляю извивы,
Млеющих звуков впивая истому;
Пусть ты летишь, отдаваясь другому.

Пусть пронеслась ты надменно, небрежно,
Сердце мое все по-прежнему нежно,
Сердце обид не считает, не мерит,
Сердце по-прежнему любит и верит.

Тщетно опущены строгие глазки,
Жду под ресницами блеска и ласки,—
Все, как бывало, веселый, счастливый,
Ленты твоей уловляю извивы.

24 июля 1887

* * *

Моего тот безумства желал, кто смежал
Этой розы завой, и блестки, и росы;
Моего тот безумства желал, кто свивал
Эти тяжким узлом набежавшие косы.

Злая старость хотя бы всю радость взяла,
А душа моя так же пред самым закатом
Прилетела б со стоном сюда, как пчела,
Охмелеть, упиваясь таким ароматом.

И, сознание счастья на сердце храня,
Стану буйства я жизни живым отголоском.
Этот мед благовонный — он мой, для меня,
Пусть другим он останется топким лишь воском!

25 апреля 1887

* * *

Сплю я. Тучки дружные,
Вешние, жемчужные
Мчатся надо мной;
Смутные, узорные,
Тени их проворные —
По полям грядой.

Подбежали к чистому
Пруду серебристому,
И — вдвойне светло.

Уж не тени мрачные,—
Облака прозрачные
Смотрятся в стекло.

Сплю я. Безотрадную
Тканью непроглядною
Тянутся мечты;
Вдруг сама, заветная,
Кроткая, приветная,
Улыбнулась ты.

19 сентября 1887

* * *

Не нужно, не нужно мне проблесков счастья,
Не нужно мне слова и взора участия,
Оставь и дозвожь мне рыдать!
К горячему снова прильнув изголовью,
Позволь мне моей нераздельной любовью,
Забыв все на свете, дышать!

Когда бы ты знала, каким сиротливым,
Томительно-сладким, безумно-счастливым
Я горем в душе опьянен,—
Безмолвно прошла б ты воздушной стопою,
Чтоб даже своей благовонной стезею
Больной не смутила мой сон.

Не так ли, чуть роща одеться готова,
В весенние ночи,— светила дневного
Боишься крылатый певец?—
И только что сумрак разгонит денница,
Смолкает зарей отрезвленная птица,—
И счастью и песне конец.

4 ноября 1887

* * *

Гаснет заря в забытьи, в полусне,
Что-то неясное шепчешь ты мне;
Ласки твои я расслушать хочу,—
«Знаю, ах, знаю»,— тебе я шепчу.

В блеске, в румяном разливе огня,
Ты потонула, ушла от меня;
Я же, напрасной истомой горя,—
Летняя вслед за тобою заря.

Сладко сегодня тобой мне сгорать,
Сладко, летя за тобой, замирать...
Завтра, когда ты очнешься иной,
Свет не допустит меня за тобой.

29 декабря 1888

* * *

Чуя внушенный другими ответ,
Тихий в глазах прочитал я запрет,
Но мне понятней еще говорит
Этот правдивый румянец ланит,
Этот цветов обмирающих зов,
Этот теней набегающий кров,
Этот предательский шепот ручья,
Этот рассыпчатый клич соловья.

30 января 1890

ВО СНЕ

Как вешний день, твой лик приснился снова,—
Знакомую приветствую красу,
И по волнам ласкающего слова
Я образ твой прелестный понесу.

Сомнений нет, неясной нет печали,
Все высказать во сне умею я,
И мчит да мчит все далее и дале
С тобою нас воздушная ладья.

Перед тобой с коленопреклоненьем
Стою, пленен волшебною игрой,
А за тобой — колеблемый движеньем
Неясных звуков отстающий рой.

26 апреля 1890

* * *

Запретили тебе выходить,
Запретили и мне приближаться,
Запретили, должны мы признаться,
Нам с тобою друг друга любить.

Но чего нам нельзя запретить,
Что с запретом всего несовместней—
Это песня: с крылатою песней
Будем вечно и явно любить.

7 июля 1890

* * *

Я не знаю, не скажу я,
Оттого ли, что гляжу я
На тебя, я все пою,
И задорное веселье
Ты, как легкое похмелье,
Проливаешь в песнь мою,

Иль — еще того чудесней—
За моей дрожащей песней
Тае́т дум невольных мгла,
И за то ли, оттого ли
До томления, до боли
Ты приветливо светла?

11 декабря 1890

* * *

Только месяц взошел
После жаркого дня,—
Распустился, расцвел
Цвет в груди у меня.

Что за счастье — любя,
Этот цвет охранять!
Как я рад, что тебя
Никому не видать!

Погляди, как спешу
Я в померкнувший сад—
И повсюду ношу
Я цветка аромат.

11 февраля 1891

* * *

Мы встретились вновь после долгой разлуки,
Очнувшись от тяжелой зимы;
Мы жали друг другу холодные руки,
И плакали, плакали мы.

Но в крепких незримых оковах сумели
Держать нас людские умы;
Как часто в глаза мы друг другу глядели,
И плакали, плакали мы!

Но вот засветилось над черною тучей
И глянуло солнце из тьмы;
Весна,—мы сидели под ивой плакучей,
И плакали, плакали мы!

30 марта 1891

* * *

Люби меня! Как только твой покорный
Я встречу взор,
У ног твоих раскину я узорный
Живой ковер.

Окрылены неведомым стремленьем,
Над всем земным
В каком огне, с каким самозабвеньем
Мы полетим!

И, просияв в лазури сновиденья,
Предстанешь ты
Царить навек в дыханьи песнопенья
И красоты.

13 апреля 1891

*Шепот сердца, уст дыхание,
Трепи соловья...*



Вечера и ночи

* * *

Долго еще прогорит Вespera скромная лампа,
Но уже светит с небес девы изменчивый лик.
Тонкие змейки сребра блещут на влаге уснувшей.
Звездное небо во мгле дальнего облака ждет.
Вот потянулось оно, легкому ветру послушно,
Скрыло богиню, и мрак сладостный землю покрыл.

<1842>

* * *

Что за вечер! А ручей
Так и рвется.
Как зарей-то соловей
Раздается.

Месяц светом с высоты
Обдал нивы,
А в овраге блеск воды,
Тень да ивы.

Знать, давно в плотине течь:
Доски гнилы,—
А нельзя здесь не прилечь
На перилы.

Так-то все весной живет!
В роще, в поле
Все трепещет и поет
Поневоле.

Мы замолкнем, что в кустах
Хоры эти,—
Придут с песнью на устах
Наши дети;

А не дети, так пройдут
С песнью внуки:
К ним с весною низойдут
Те же звуки.

<1847>

* * *

Право, от полной души я благодарен соседу:
Славная вещь — под окном в клетке держать соловья.
Грустно в неволе певцу, но чары сильны у природы:
Только прощальным огнем озлатятся кресты на церквах
И в расцветающий сад за высоким, ревнивым забором
Вечера свежесть вдыхать выйдет соседка одна, —
Тени ночные в певце пробудят желание воли,
И под окном соловей громко засвищет любовь.
Что за головка у ней, за белые плечи и руки!
Что за янтарный отлив на роскошных извивах волос!
Стан — загляденье! притом какая лукавая ножка!
Будто бы дразнит, мелькая...
Но вечер давно уж настал...
Что ж не поет соловей или что ж не выходит соседка?..
Может, сегодня мы все трое друг друга пойдем.

<1842>

* * *

Я люблю многое, близкое сердцу,
Только редко люблю я...

Чаще всего мне приятно скользить по заливу
Так — забываясь
Под звучную меру весла,
Омочённого пеной шипучей, —
Да смотреть, много ль отъехал
И много ль осталось,
Да не видать ли зарницы...

Изо всех островков,
На которых редко мерцают
Огни рыбаков запоздалых,
Мил мне один предпочтительно...

Красноглазый кролик
Любит его;
Гордый лебедь каждой весною
С протянутой шеей летает вокруг
И садится с размаха
На тихие воды.

Над обрывом утеса
Растет, помавая ветвями,
Широколиственный дуб.
Сколько уж лет тут живет соловей!
Он поет по зарям,
Да и позднею ночью, когда
Месяц обманчивым светом
Серебрит и волны и листья,
Он не молкнет, поет
Все громче и громче.

Странные мысли
Приходят тогда мне на ум:
Что это — жизнь или сон?
Счастлив я или только обманут?

Нет ответа...
Мелкие волны что-то шепчут с кормою,
Весло недвижимо,
И на небе ясном высоко сверкает зарница.

<1842>

* * *

Вдали огонек за рекою,
Вся в блестках струится река,
На лодке весло удалое,
На цепи не видно замка.

Никто мне не скажет: «Куда ты
Поехал, куда загадал?»
Шевелись же, весло, шевелись!
А берег во мраке пропал.

Да что же? Зачем бы не ехать?
Дождешься ль вечерней порой
Опять и желанья, и лодки,
Весла, и огня за рекой?..

<1842>

* * *

Скучно мне вечно болтать о том, что высоко, прекрасно;

Все эти толки меня только к зевоте ведут...

Бросив педантов, бегу с тобой побеседовать, друг мой;

Знаю, что в этих глазах, черных и умных глазах,

Больше прекрасного, чем в нескольких стах фолиантах,

Знаю, что сладкую жизнь пью с этих розовых губ.

Только пчела узнает в цветке затаенную сладость.

Только художник на всем чувствует прекрасного след.

<1842>

* * *

Я жду... Соловьиное эхо

Несется с блестящей реки,

Трава при луне в бриллиантах,

На тмине горят светляки.

Я жду... Темно-синее небо

И в мелких и в крупных звездах,

Я слышу биение сердца

И трепет в руках и в ногах.

Я жду... Вот повеяло с юга;

Тепло мне стоять и идти;

Звезда покатилась на запад...

Прости, золотая, прости!

<1842>

* * *

Здравствуй! тысячу раз мой привет тебе, ночь!

Опять и опять я люблю тебя,

Тихая, теплая,

Серебром окаймленная!

Робко, свечу потушив, подхожу я к окну...

Меня не видать, зато сам я все вижу...

Дождусь, непременно дождусь:

Калитка вздрогнёт, растворяясь,

Цветы, закачавшись, сильнее запахнут, и долго,

Долго при месяце будет мелькать покрывало.

<1842>

* * *

Друг мой, бессильны слова, — одни поцелуи всеильны...

Правда, в записках твоих весело мне наблюдать,
Как прилив и отлив мыслей и чувства мешают

Ручке твоей поверять то и другое листку;
Правда, и сам я пишу стихи, покоряясь богине, —

Много и рифм у меня, много размеров живых...

Но меж ними люблю я рифмы взаимных лобзаний,

С нежной цезурою уст, с вольным размером любви.

<1842>

* * *

Ночью как-то вольнее дышать мне,

Как-то просторней...

Даже в столице не тесно!

Окна растворишь:

Тихо и чутко

Плывет прохладительный воздух.

А небо? А месяц?

О, этот месяц-волшебник!

Как будто бы кровли

Покрыты зеркальным стеклом,

Шпили и кресты — бриллианты;

А там, за луной, небосклон —

Чем дальше — светлей и прозрачней.

Смотришь — и дышишь,

И слышишь дыхание свое,

И бой отдаленных часов,

Да крик часового,

Да изредка стук колеса

Или пение вестника утра.

Вместе с зарею и сон налетает на вежды,

Светел, как призрак.

Голову клонит, — а жаль от окна оторваться!

<1842>

* * *

Рад я дождю... От него тучнеет мягкое поле,
Лист зеленеет на ветке и воздух становится чище;
Зелени запах одну за одной из ульёв многошумных
Пчел вызывает.

Но что для меня еще лучше,
Это — когда он ее на дороге ко мне орошает!
Мокрые волосы, гладко к челу прилегая,
Так и сияют у ней, — а губки и бледные ручки
Так холодны, что нельзя не согреть их своими устами.
Но нестерпим ты мне ночью бессонною, Плювий Юпитер!
Лучше согласен я крыс и мышей в моей комнате слушать,
Лучше колеса пускай гремят непрестанно у окон,
Чем этот шум и удары глупых, бессмысленных капель;
Точно как будто бы птиц проклятое стадо
Сотнями ног и носов терзают железную кровлю.
Юпитер Плювий, помилуй! Расти сколько хочешь цветов ты
Для прекрасной и лавров юных на кудри поэта,
Только помилуй — не бей по почам мне в железную кровлю!

<1842>



* * *

Слышишь ли ты, как шумит вверху угловатое стадо?
С криком летят через дом к теплым полям журавли,
Желтые листья шумят, в березнике свищет синица.
Ты говоришь, что опять теплойждемся весны...

* * *

Друг мой! могу ль при тебе дожидаться блаженства
в грядущем?

Разве зимой у тебя меньше ланиты цветут?..
В зеркале часто себя ты видишь, с детской улыбкой
Свой поправляя венок; так разреши мне сама,
Где у тебя на лице более жизни и страсти:
Вешним ли утром в саду, в полном сиянии зари,
Иль у огня моего, когда я боюсь, чтобы искра,
С треском прыгнув, не сожгла ножки-малютки твоей?

<1842>

* * *

Каждое чувство бывает понятней мне ночью, и каждый
Образ пугливо-немой дальше трепещет во мгле;
Самые звуки доступней, даже когда, неподвижен,
Книгу держу я в руках, сам пробегая в уме
Все невозможно-возможное, странно-бывалое... Лампа
Томно у ложа горит, месяц смеется в окно,
А в отдалении колокол вдруг запоем — и тихонько
В комнату звуки плывут; я предаюсь им вполне.
Сердце в них находило всегда какую-то влагу,
Точно как будто росой ночи омыты они.
Звук все тот же поет, но с каждым порывом иначе:
То в нем меди тугой более, то серебра.
Странно, что ухо в ту пору, как будто не слушая, слышит;
В мыслях иное совсем, думы — волна за волной...
А между тем еще глубже сокрытая сила объемлет
Лампу, и звуки, и ночь, их сочетавши в одно.
Так между влажно-махровых цветов снотворного маку
Полночь роняет порой тайные сны наяву.

<1843>

* * *

Летний вечер тих и ясен;
Посмотри, как дремлют ивы;
Запад неба бледно-красен,
И реки блестят извивы.

От вершин скользя к вершинам,
Ветр ползет лесною высью.
Слышишь ржанье по долинам?
То табун несется рысью.

<1847>

* * *

Любо мне в комнате ночью стоять у окошка в потемках,
Если луна с высоты прямо глядит на меня
И, проникая стекло, нарисует квадраты лучами
По полу, комнату всю дымом прозрачным поя,
А за окошком в саду, между листьев сирени и липы,
Черные группы деля, зыбким проходит лучом
Между ветвями — и вниз ее золоченые стрелы
Ярким стремятся дождем, иль одинокий листок
Лунному свету мешает рассыпаться по зemi, сам же,
Светом осыпанный весь, черен, дрожит на тени.
Я восклицаю: блажен, трижды блажен, о Диана,
Кто всемогущей судьбой в тайны твои посвящен!

<1847>

* * *

Шепот сердца, уст дыханье,
Трели соловья,
Серебро и колыханье
Сонного ручья.

Свет ночной, ночные тени,
Тени без конца,
Ряд волшебных изменений
Милого лица,

Бледный блеск и пурпур розы,
Речь не говоря,
И лобзания, и слезы,
И заря, заря!..

<1850>



* * *

На стоге сена ночью южной
Лицом ко тверди я лежал,
И хор светил, живой и дружный,
Кругом раскинувшись, дрожал.

Земля, как смутный сон немая,
Безвестно уносилась прочь,
И я, как первый житель рая,
Один в лицо увидел ночь.

Я ль неся к бездне полуночной,
Иль сонмы звезд ко мне неслись?
Казалось, будто в длани мощной
Над этой бездной я повис.

И с замираньем и смятеньем
Я взором мерил глубину,
В которой с каждым я мгновеньем
Все невозвратнее тону.

<1857>

* * *

Заря прощается с землею,
Ложится пар на дне долин,
Смотрю на лес, покрытый мглою,
И на огни его вершин.

Как незаметно потухают
Лучи и гаснут под конец!
С какою негой в них купают
Деревья пышный свой венец!

И все таинственней, безмерней
Их тень растет, растет, как сон;
Как тонко по заре вечерней
Их легкий очерк вознесен!

Как будто, чуя жизнь двойную
И ей овеяны вдвойне, —
И землю чувствуют родную,
И в небо просятся оне.

<1858>

КОЛОКОЛЬЧИК

Ночь нема, как дух бесплотный,
Теплый воздух онемел;
Но как будто мимолетный
Колокольчик прозвенел.

Тот ли это, что мешает
Вдалеке лесному сну
И, качаясь, набегает
На ночную тишину?

Или этот, чуть заметный
В цветнике моем и днем,
Узкодонный, разноцветный,
На тычинке под окном?

1859



* * *

Молятся звезды, мерцают и рдеют,
Молятся месяц, плывя по лазури,
Легкие тучки, свиваясь, не смеют
С темной земли к ним притягивать бури.

Видны им наши томленья и горе,
Видны страстей неподильные битвы,
Слезы в алмазном трепещут их взоре —
Всё же безмолвно горят их молитвы.

1883

* * *

Благовонная ночь, благодатная ночь,
Раздраженье недужной души!
Все бы слушал тебя — и молчать мне невмочь
В говорящей так ясно тиши.

Широко раскидалась лазурная высь,
И огни золотые горят;
Эти звезды кругом точно все собрались,
Не мигая, смотреть в этот сад.

А уж месяц, что всплыл над зубцами аллеи
И в лицо прямо смотрит, — он жгуч;
В недалекой тени непроглядных ветвей
И сверкает, и плещется ключ.

И меняется звуков отдельный удар;
Так ласкательно шепчут струи,
Словно робкие струны воркуют гитар,
Напевая призывы любви.

Словно все и горит и звенит заодно,
Чтоб мечте невозможной помочь;
Словно, дрогнув слегка, распахнется окно
Поглядеть в серебристую ночь.

28 апреля 1887

* * *

Сегодня все звезды так пышно
Огнем голубым разгорались,
А ты промелькнула неслышно,
И взоры твои преклонялись.

Зачем же так сердце нестройно
И робко в груди застучало?
Зачем под прохладой так знойно
В лицо мне заря задышала?

Всю ночь прогляжу на мерцанье,
Что светит и мощно и нежно,
И яркое это молчанье
Разгадывать стану прилежно.

27 октября 1888

* * *

От огней, от толпы беспощадной
Незаметно бежали мы прочь;
Лишь вдвоем мы в тени здесь прохладной,
Третья с нами лазурная ночь.

Сердце робкое бьется тревожно,
Жаждет счастье и дать и хранить;
От людей утаиться возможно,
Но от звезд ничего не сокрыть.

И безмолвна, кротка, серебриста,
Эта полночь за дымкой сквозной
Видит только, что вечно и чисто,
Что навеяно ею самой.

7 февраля 1889

СТЕПЬ ВЕЧЕРОМ

Клубятся тучи, млея в блеске алом,
Хотят в росе понежиться поля,
В последний раз, за третьим перевалом,
Пропал ямщик, звеня и не пыля.

Нигде жилья не видно на просторе.
Вдали огня иль песни — и не ждешь!
Все степь да степь. Безбрежная, как море,
Волнуется и наливает рожь.

За облаком до половины скрыта,
Луна светить еще не смеет днем.
Вот жук взлетел и прожужжал сердито,
Вот лунь проплыл, не шевеля крылом.

Покрылись нивы сетью золотистой,
Там перепел откликнулся вдали,
И слышу я, в изложине росистой
Вполголоса скрипят коростели.

Уж сумраком пытливый взор обманут.
Среди тепла прохладой стало дуть.
Луна чиста. Вот с неба звезды глянут,
И, как река, засветит Млечный Путь.

<1854>



ВЕЧЕР

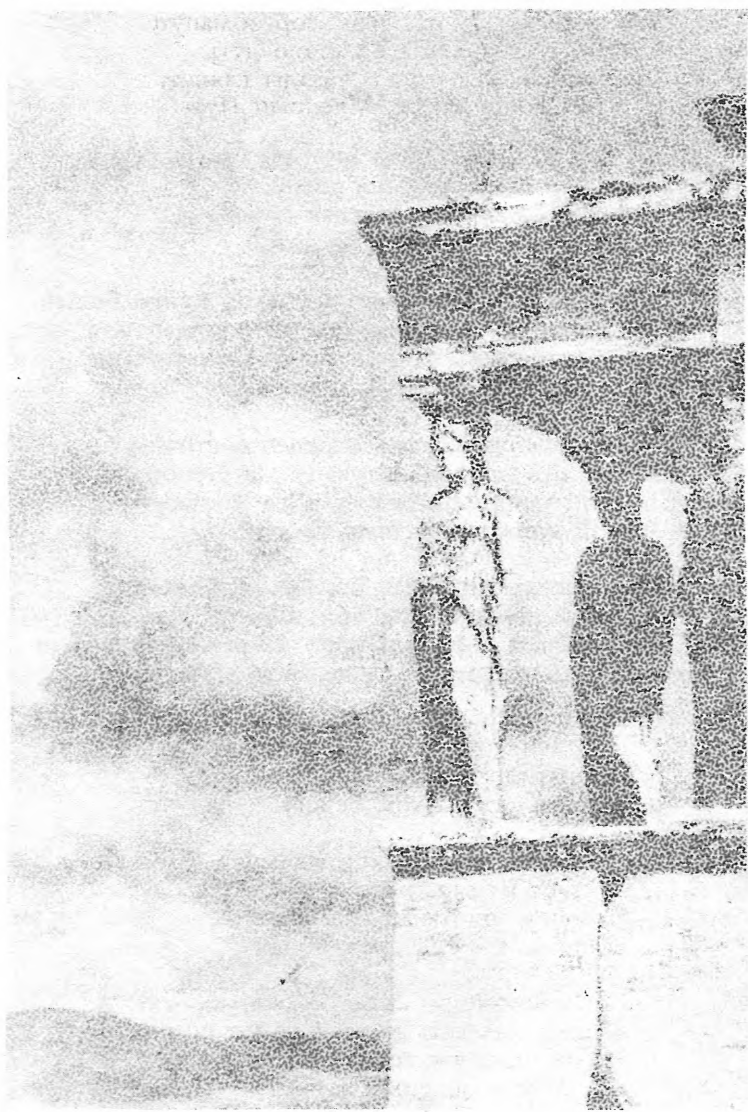
Прозвучало над ясной рекою,
Прозвенело в померкшем лугу,
Прокатилось над рощей немою,
Засветилось на том берегу.

Далеко, в полумраке, луками
Убегает на запад река.
Погорев золотыми каймами,
Разлетелись, как дым, облака.

На пригорке то сыро, то жарко,
Вздохи дня есть в дыханье ночном,—
Но зарница уж теплится ярко
Голубым и зеленым огнем.

<1855>

*Я посещал тот край обетованный,
Где золотой блистал когда-то век...*



ГРЕЦИЯ

Там, под оливами, близ шумного каскада,
Где сочная трава унижена росой,
Где радостно кричит веселая цикада
И роза южная гордится красотой,

Где храм оставленный подъял свой купол белый
И по колоннам вверх кудрявый плющ бежит,—
Мне грустно: мир богов, теперь осиротелый,
Рука невежества забвением клеймит.

Вотще... В полночь, как соловей восточный
Свистал, а я бродил незримый за стеной,
Я видел: грации сбирались в час урочный
В былой приют заросшею тропой.

Но в плясках ветреных богини не блистали
Молочной пеной форм при золотой луне;
Нет,—ставши в тесный круг, красавицы шептали
«Эллада!» — слышалось мне часто в тишине.

<1840>



БАКХАНКА

Под тенью сладостной полуденного сада,
В широколиственном венке из винограда
И влаги вакховой томительной полна,
Чтоб дух перевести, замедлилась она.
Закинув голову, с улыбкой опьянения,
Прохладного она искала дуновенья,
Как будто волосы уж начинали жечь
Горячим золотом ей розы пышных плеч.
Одежда жаркая все ниже опускалась,
И молодая грудь все больше обнажалась,
А страстные глаза, слезой упоены,
Вращались медленно, желания полны.

<1843>

ДИАНА

Богини девственной округлые черты,
Во всем величии блестящей наготы,
Я видел меж деревьев над ясными водами.
С продолговатыми, бесцветными очами
Высоко поднялось открытое чело,—
Его недвижностью внимание облегло;
И дев молению в тяжелых муках чрева
Внимала чуткая и каменная дева.
Но ветер на заре между листов проник,—
Качнулся на воде богини ясный лик;
Я ждал,— она пойдет с колчаном и стрелами,
Молочной белизной мелькая меж деревьями,
Взирать на сонный Рим, на вечный славы град,
На желтоводный Тибр, на группы колоннад,
На стогны длинные... Но мрамор недвижимый
Белел передо мной красой непостижимой.

<1847>

* * *

Влажное ложе покинувши, Феб златокудрый направил
Быстрых коней, Фаетонову гибель, за розовой Эос;
Круто напрягши бразды, он кругом озирался, и тотчас
Бойкие взоры его устремились на берег пустынный.
Там воскурялся туман благовонною жертвою; море
Тихо у желтых песков почивало; разбитая лодка,

Дном опрокинута вверх, половиной в воде, половиной
В утреннем воздухе, темной смолою чернела — и тут же,
Влево, разбросаны были обломки еловые весел,
Кожаный щит и шелом опрокинутый, полные тины.
Дальше, когда порассеялись волны тумана седого,
Он увидал на траве, под зеленым навесом каштана
(Трижды его obeжавши, лоза окружала кистями), —
Юношу он на траве увидал: белоснежные члены
Были раскинуты, правой рукою как будто теснил он
Грудь, и на ней-то прекрасное тело недвижно лежало,
Левая навзничь упала, и белые формы на темной
Зелени трав благовонных во всей полноте рисовались;
Весь был разодран хитон, округленные бедра белели,
Будто бы мрамор, приявший изгибы от рук Праксителя,
Ноги казали свои покровенные прахом подошвы,
Светлые кудри чела упали на грудь, осеняя
Мертвую силу лица и глубоко-смертельную язву.

<1847>

КУСОК МРАМОРА

Тщетно блуждает мой взор, измеряя твой мрамор начатый,
Тщетно пытливая мысль хочет загадку решить.
Что одевает кора грубо изрубленной массы?
Ясное ль Тита чело, Фавна ль изменчивый лик,
Змей примирителя — жезл, крылья и стан быстроногий
Или стыдливости дев с тонким перстом на устах?

<1847>

К ЮНОШЕ

Друзья, как он хорош за чашею вина!
Как молодой души неопытность видна!
Его шестнадцать лет, его живые взоры,
Ланиты нежные, заносчивые споры,
Порывы дружества, негодование, гнев —
Все обещает в нем любимца зорких дев.

<1847>

* * *

С корзиной, полною цветов, на голове
Из сумрака аллеи она на свет ступила —
И побежала тень за ней по мураве,
И пол-лица ей тень корзины осенила;

Но и под тению узнаешь ты как раз
Приметы южного создания без ошибки —
По светлому зрачку неотразимых глаз,
По откровенности младенческой улыбки.

<1847>

* * *

В златом сиянии лампы полусонной
И отворя окно в мой садик благовонный,
То прохлаждаемый, то в сладостном жару,
Следил я легкую кудрей ее игру:
Дыханьем полночи их тихо волновало
И с милого чела красиво отдувало...

<1843>

ПОДРАЖАНИЕ XVI ИДИЛЛИИ БИОНА

Прекрасная звезда Венеры светлоокой!
Пока свое чело за рощею далекой
Диана нежная скрывает, освети
Кустарник тот и холм для моего пути.
Я оставляю кров не для ночных хищений,
На путников в душе не крою покушений.
Нет, я люблю и жду возмездия забот
От нимфы молодой, красы между красот, —
Как в мириаде звезд, Дианой предводимой,
Краса ночных небес, горит твой луч любимый.

<1847>

* * *

Питомец радости, покорный наслажденью,
Зачем, коварный друг, не внемля приглашенью,
Ты наш вечерний пир вчера не посетил?
Хозяин ласковый к обеду пригласил
В беседку, где кругом, не заслоняя сада,
Полувоздушная обстала колоннада.
Диана полная, глядя между ветвей,
Благословляла стол улыбкою своей,

И яства сочные с их паром благовонным,
Отраднo — лакомым гулякам утонченным,
И — отчих кладовых старинное добро —
Широкодонных чаш литое серебро.
А ветерок ночной, по фитилям порхая,
Качал слегка огни, нам лица освежая.
Зачем ты не сидел меж нами у стола?
Тут в розовом венке и Лидия была,
И Пирра смуглая, и Цинтия живая,
И, ученица муз, Неэра молодая,
Как Сафо, страстная, пугливая, как лань...
О друг! я чувствую, я заплачу ей дань
Любви мечтательной, тоскливой, безотрадной...
Я наливал вчера рукою беспощадной, —
Но вспоминал тебя, и, знаю, вполныя
Мешал в заздравиях я ваши имена.

<1847>

* * *

Уснуло озеро; безмолвен черный лес;
Русалка белая небрежно выплывает;
Как лебедь молодой, луна среди небес
Скользит и свой двойник на влаге созерцает.

Уснули рыбаки у сонных огоньков;
Ветрило бледное не шевельнет ни складкой;
Порой тяжелый карп плеснет у тростников,
Пустив широкий круг бежать по влаге гладкой.

Как тихо... Каждый звук и шорох слышу я;
Но звуки тишины ночной не прерывают, —
Пусть живая трель ярка у соловья,
Пусть травы на воде русалки колыхают...

<1847>

К КРАСАВЦУ

Природы баловень, как счастлив ты судьбой!
Всем нравятся твой рост, и гордый облик твой,
И кудри пышные, беспечностью завиты,
И бледное чело, и нежные ланиты,

Приподнятая грудь, жемчужный ряд зубов,
И огненный зрачок, и бархатная бровь;
А девы юные, украдкой от надзора,
Толкуют твой ответ и выраженье взора,
И после каждая, вздохнув наедине,
Промолвит: «Да, он мой — его отдайте мне!»
Как сон младенчества, как первые лобзання
С отравой сладкою безумного желанья,
Ты, полон прелести, в их памяти живешь,
Улыбкам учишь их и к зеркалу зовешь;
Не для тебя ль они, при факеле Авроры,
Находят новый взгляд и новые уборы?
Когда же ложе их оденет темнота,
Алкают уст твоих, раскрывшись, их уста.

<1841>

СОН И ПАЗИФАЯ

Ярко блестящая пряжка над белою полною грудью
Девы хариты младой — ризы вязала концы,
Свежий веноч прилегал к высоко подвязанным косам,
Серьги с подвеской тройной с блеском качались в ушах,
Сзади вились по плечам, умащенные сладкою амброй,
Запах далеко лия, волны кудрей золотых.
Тихо ступала нога круглобедрая. Так Пазифаю
Юноша Сон увидал, полон желанья любви.
Крепкой обвита рукой, покраснела харита младая,
Но возрастающий жар вежды прекрасной сомкнул,
И в упоении любви, на цветы опускаясь, дева,
Члены раскинув, с кудрей свой уронила веноч.

<1842>

АМИМОНА

«Это у вас, на севере, все нипочем! Посмотри-ка,
Чей там, в дали голубой, парус, как чайка, блеснул?
Ты только белую точку завидел, — а я различила
Снасти и пестрый наш флаг. Это отцовский корабль!
Знать, старику надоела в Наксосе жена молодая...
Мать говорила, что он скоро вернется домой,
В Наполи-ди-Романию. Полно вечерней порою
В рощу лавровую мне тайно к тебе приходить!

Ах, любовь только губит нас, девушек!» — «Милая, полно!

В этих словах две вины: город родной назвала
Ты Наполи-ди-Романьей: это название — чужое.

Можно ли в вашей стране девам пенять на любовь?
Здесь она города созидала; по храмам и рощам

Сладостный жар не остыл в гнездах ее голубей.
Знаешь ты, как основался ваш город? Гонимый Египтом,

С целой толпою детей в Грецию прибыл Данай.
В Арголиде, томясь жестокою жаждой, изгнанник

Всех пятьдесят дочерей ключ отыскать разослал.
Долго блуждали они, одинокие. Вдруг Амимона

Неосторожной стопой будит Сатир в лесу.
Нет пощады! — Сатир догоняет пугливую, обнял...

Но над беглянкою бог верным трезубцем взмахнул.
Быстро, как горный олень, умчался Сатир козлоногий —

Мимо его просвистав, в землю трезубец впился.
«Амимона! — сказал Нептун, — подай мне трезубец!»

Дева, горя от стыда, дернула ловкой рукой.
Чудо! вслед за зубцами железными почва сухая

Чистых, как горный кристалл, три извергает ключа.
Навплия сына Нептуну затем понесла Амимона —

Город ваш Навплию он, смелый пловец, заложил».

<1855>

ИАНА, ЭНДИМИОН И САТИР

(Картина Брюллова)

У звучного ключа как сладок первый сон!

Как спящий при луне хорош Эндимион!

Герои только так покоятся и дети.

Над чудной головой висят рожок и сети;

Откинутый колчан лежит на стороне;

Собаки верные встревожены — оне

Не видят смертного и чуют приближенье.

Ты ль, непорочная, познала вожделенье?

Счастливец! ты его узрела с высоты,

И небо для него должна покинуть ты.

Девическую грудь невольный жар объемлет.

Диана, берегись! старик сатир не дремлет.

Я слышу стук копыт. Рога прикрыв венцом,

Вот он, любовник нимф, с пылающим лицом,

Обезображенным порывом страсти зверской,

Уж стана нежного рукой коснулся дерзкой.

О, как вздрогнула ты, как обернулась вдруг!
В лице божественном и гордость и испуг.
А баловень Эрот, доволен шуткой новой,
Готов на кулаке прохлопнуть лист кленовый.

<1855>

ЗОЛОТОЙ ВЕК

Auch ich war in Arkadien geboren.
Schiller *

Я посещал тот край обетованный,
Где золотой блистал когда-то век,
Где, розами и миртами венчанный,
Под сению дерев благоуханной
Блаженствовал незлобный человек.

Леса полны поныне аромата,
Долины те ж и горные хребты;
Еще досель в прозрачный час заката
Глядит скала, сиянием объята,
На пену волк эгейских с высоты.

Под пихтою душистой и красивой,
Под шум ручьев, разбитых об утес,
Отрадно верить, что Сатурн ревнивый
Над этою долиною счастливой
Век золотой не весь еще пронес.

И чудится: за тем кустом колючим
Румяных роз, где лавров тень легла,
Дыханьем дня распалена горячим,
Лобзаниям то долгим, то летучим
Менада грудь и плечи предала.

Но что за шум? За девой смуглолицей
Вослед толпа. Все празднично кругом.
И гибкий тигр с пушистою тигрицей,
Неслышные, в ярме пред колесницей
Идут, махая весело хвостом.

* И я был рожден в Аркадии. *Шиллер (нем.)*.

А вот и он, красавец ненаглядный,
Среди толпы ликующих — Лией,
Увенчанный листвою виноградной,
Любуется спасенной Ариадной —
Бессмертною избранницей своей.

У колеса, пускаясь вперегонку,
Нагие дети пляшут и шумят;
Один приподнял пухлую ручонку
И крови не вкусившему тигренку
Дает лизать пурпурный виноград.

Вино из рога бог с лукавым ликом
Льет на толпу, сам весел и румян,
И, хохоча в смятенье полудиком,
Вакханка быстро отвернулась с криком
И от струи приподняла тимпан.

1856

ДАКИ

Вблизи семи холмов, где так невыразимо
Воздушен на заре вечерний очерк Рима
И светел Апеннин белеющих туман,
У сонного Петра почиет Ватикан.
Там боги и цари толпою обнаженной,
Создания руки, резцом вооруженной,
Готовы на пиры, на негу иль на брань,
Из цезарских палат, из храмов и из бань
Стеклись безмолвные, торжественные лики,
На древние ступя, как прежде, мозаики,
В которых на конях Нептуновых Тритон
Чернеет, ликами Химеры окружен.
Там я в одной из зал, на мраморах, у входа,
Знакомые черты могучего народа
Приветствовал не раз. Нельзя их не узнать:
Все та же на челе безмолвия печать,
И брови грозные, сокрытых сил примета,
И на устах вопрос, — и нет ему ответа,
То даки пленные; их странная судьба —
Одна безмолвная и грозная борьба.
Вперя на мрамор взор, исполненный вниманья,
Я в сердце повторял родимые названья
И мрамору шептал: «Суровый славянин,
Среди тебе чужих зачем ты здесь один?»

Поверь, ни женщина, ни раб, ни император
Не пощадят того, кто пал как гладиатор.
По мненью суетных, безжалостных гуляк,
Бойцом потешным быть родится дикий дак,
И, чуждые для них поддерживая троны,
Славяне составлять лишь годны легионы.
Пускай в развалинах умолкнет Колизей,
Через длинный ряд веков, в глазах иных судей,
Куда бы в бой его ни бросила судьбина,
Безмолвно умирать — вот доля славянина.
Когда потомок твой, весь в ранах и в крови,
К тому, кого он спас, могучие свои
Протянет руки вновь, прося рукопожатья,
Опять со всех сторон подымутся проклятья
И с подлым хохотом гетера закричит:
«Кончай! кончай его! — он дышит, он хрипит;
Довольно сила рук, безмолвие страданий
Невольных вызвали у нас рукоплесканий!
(Как эти варвары умеют умирать!)
Пойдемте! Кончено! Придется долго ждать
Борьбы таких бойцов иль ярой львиной драки.
Пойдемте! Что смотреть, как цепенеют даки!»

1 декабря 1856

ТЕЛЕМАК У КАЛИПСЫ

Солнце низко. Легкой мглою
Вечер доли напояет.
Вход в пещеру раззолочен.
С наклоненной головою
Старый Ментор засыпает.
Сын Улисса озабочен.

Смолкли нимфы. Тихо дышит
Море, пар подъяв туманный.
Все безмолвствуют упорно.
Нимфа Эхо ясно слышит,
Как смолы благоуханной
На жаровне прыщут зерна.

Полны сладкого Лиея,
Ждут раскрытые амфоры;
Но забыл густую влагу
Сын прекрасный Одиссея;
Он поднять не смеет взоры,
Он ступить не смеет шагу.

На душе и стыд, и горе:
Как осмелиться богине
Рассказать свою кручину?
«Неужели, злое море,
Завтра я в твоей пустыне
Все забуду, что покину?»

Разгораясь в блеске алом
Отлетающей Авроры,
Но безмолвна, как рабыня,
Грудь прикрыла опахалом
И, склоня к любимцу взоры,
Не насмотрится богиня.

О Зевес! Зачем же лира
Так бессильна — дар, любимый
Златовласым Аполлоном?
Иль зачем, владыка мира,
Взгляд такой невыразимый
Ты даешь влюбленным женам?

<1857>

ВЕНЕРА МИЛОССКАЯ

И целомудренно и смело,
До чресл сияя наготой,
Цветет божественное тело
Неувядающей красой.

Под этой сенью прихотливой
Слегка приподнятых волос
Как много неги горделивой
В небесном лике разлилось!

Так, вся дыша пафосской страстью,
Вся млея пеною морской
И всепобедной вея властью,
Ты смотришь в вечность пред собой.

<1856>

НИМФА И МОЛОДОЙ САТИР

(Группа Ставассера)

Постой хотя на миг! О камень или пень
Ты можешь уязвить разутую ступень;
Еще невинная, бежа от вакханалий,
Готова уронить одну ты из сандалий.
Но вот, косматые колена преклоня,
Он у ноги твоей поймал конец ремня.
Затянется теперь не скоро узел прочный:
Сатир, и молодой,— не отрок непорочный!
Смотри, как, голову откинувши назад,
Глядит он на тебя и пьет твой аромат,
Как дышат негою уста его и взоры!
Быть может, нехотя ты ищешь в нем опоры,
А стройное твое бедро так горячо
Теперь легло к нему на крепкое плечо.
Нет! Мысль твоя чиста и воля неизменна;
Улыбка у тебя насмешливо-надменна.
Но отчего, скажи,— в сознаньи ль красоты
Иль в утомлении так неподвижна ты?
Еще открытое, смежиться хочет око,
И молодая грудь волнуется высоко,
Иль страсть, горящая в сатире молодым,
Пахнула и в тебя томительным огнем?

<1859>



СОН И СМЕРТЬ

Богом света покинута, дочь Громовержца немая,
Ночь Гелиосу вослед водит возлюбленных чад.
Оба и в мать и в отца зародились бессмертные боги,
Только несходны во всем между собой близнецы:
Смуглоликий, как мать, творец, как всезрящий родитель,
Сон и во мраке никак дня не умеет забыть;
Но просветленная дочь лучезарного Феба, дыханьем
Ночи безмолвной полна, невозмутимая Смерть,
Увенчавши свое чело неподвижной звездой,
Не узнает ни отца, ни безутешную мать.

1858 или 1859

* * *

Когда петух,
Ударив три раза
Крылом золотистым,
Протяжную песню
Встречает зарю
И ты, человек,
Впиваешь последнюю
Сладкую влагу
Сна на заре,
Тогда поэт...
Нет! Спи, утомленный
Заботами дня,
Земной страдалец!
Ты не поймешь,
Зачем я бодрствую
В таинственном храме
Прохладной ночи.
Чу! Слышу, вздох
Ко мне несется
С мягкого ложа,
Где при серебряной
Луне белеют
Младые ланиты,
Покрытые первым
Шелковым пухом,
И где в беспорядке
Рассыпаны кудри.
А! Слышу, слышу,—
Ты также не спишь,
Несчастный влюбленный!

Послушай, что ныне
Я слышал ночью
От чад Сатурна:
Они мне велели
В земных страданиях
Искать исцеленья
У Вакха. Наполним
Стаканы — и оба
Заснем поутру,
Когда другие
Пойдут трудиться.

<1840>

НЕПТУНУ ЛЕВЕРРЬЕ

Птицей,
Быстро парящей птицей Зевеса
Быть мне судьбою дано всеобъемлющей.
Ныне, крылья раскинув над бездной
Тверди, — ныне над высью я
Горной, там, где у ног моих
Воды,
Вечно несущие белую пену,
Стонут и старый трезубец Нептуна
В темных руках повелителя строгого блещет.
Нет пределов
Кверху, и нет пределов
Книзу.

Здравствуй!
На половинном пути
К вечности здравствуй, Нептун! Над собою
Слышишь ли шумные крылья и ветер,
Спертый нагрудными сизыми перьями? Здравствуй!
Нет мгновенья покою;
Вслед за тобою летящая
Феба стрела, я вижу, стоит,
С визгом перья поджавши, в эфире.
Ты промчался, пронесся, мелькнул и сокрылся,
А я!
Здравствуй, Нептун!
Слышишь ли, брат, над собою
Шумный полет? — Я принес
С жаркой, далекой земли,

Кровью упитанной,
Трупами тучной,
Лавром шумящей,
Мой привет тебе: здравствуй, Нептун!

Вечно, вечно,
Как бы ни мчался ты, брат мой,
Крылья мои зашумят, и орлиный
Голос к тебе зазвучит по эфиру:
Здравствуй, Нептун!

<1847>



*Свежеет ветер, меркнет ночь,
А море злей и злей бурлит...*



* * *

Ночь весенней негой дышит,
Ветер взморья не колышет,
Весь залив блестит, как сталь,
И над морем облаками,
Как ползущими горами,
Разукрасилась даль.

Долго будет утомленный
Спать с Фетидой Феб влюбленный,
Но Аврора уж не спит
И, смутясь блаженством бога,
Из подводного чертога
С ярким факелом бежит.

1854

* * *

Жди ясного на завтра дня.
Стрижи мелькают и звенят.
Пурпурной полосой огня
Прозрачный озарен закат.

В заливе дремлют корабли,—
Едва трепещут вымпела.
Далеко небеса ушли —
И к ним морская даль ушла.

Так робко набегают тень,
Так тайно свет уходит прочь,
Что ты не скажешь: минул день,
Не говоришь: настала ночь.

1854

МОРСКОЙ ЗАЛИВ

Третью уж ночь вот на этом холме за оврагом
Конь мой по звонкой дороге пускается шагом.
Третью уж ночь, миновав эту старую иву,
Сам я невольно лицом обращаюсь к заливу.
Только вдали, потухая за дымкою сизой,
Весь в ширину он серебряной светится ризой.
Спит он так тихо, что ухо, исполняя вниманья,
Даже средь камней его не уловит дыханья.
В блеск этот душу уносит волшебная сила...
Что за слова мне она в эту ночь говорила!
Сколько в веселых речах прозвучало привета!
Сколько в них сердце почуяло неги и света!
Ах, что за ночь! Тише, конь мой! Куда торопиться?
Рад и сегодня я сном до зари не забыться!

1855 (?)

ВЕЧЕР У ВЗМОРЬЯ

Засверкал огонь зарницы,
На гнезде умолкли птицы,
Тишина леса объемлет,
Не качаясь, колос дремлет;
День бледнеет понемногу,
Вышла жаба на дорогу.
Ночь светлеет и светлеет,
Под луною море млеет;
Различишь прилежным взглядом,
Как две чайки, сидя рядом,
Там, на взморье плоскодонном,
Спят на камне озаренном.

1854

* * *

Как хорош чуть мерцающим утром,
Амфитрита, твой влажный венок!
Как огнем и сквозным перламутром
Убирает Аврора восток!

Далеко на песок отодвинут
Трав морских бесконечный извив,
Свод небесный, в воде опрокинут,
Испещряет румянцем залив.

Остров вырос над тенью зеленой;
Ни движенья, ни звука в тиши,
И, погнувшись над влагой соленой,
В крупных каплях стоят камыши.

1857(?)

* * *

Морская даль во мгле туманной;
Там парус тонет, как в дыму,
А волны в злобе постоянной
Бегут к побережью моему.

Из них одной, избранной мною,
Навстречу пристально гляжу
И за грядой ее крутою
До камня влажного слежу.

К ней чайка плавная спустилась, —
Не дрогнет острое крыло.
Но вот громада докатилась,
Тяжеловесна, как стекло;

Плеснула в каменную стену,
Вот звонко грянет на плиту —
А уж подкинутую пену
Разбрызнул ветер на лету.

1857(?)

ПРИБОЙ

Утесы. Зной и сон в пустыне,
Песок да звонкий хрящ кругом,
И вдалеке земной твердыне
Морские волны бьют челом.

На той черте, уже безвредный,
Не докатясь до красных скал,
В последний раз зелено-медный
Сверкает Средиземный вал:

И, забывая век свой бурный,
По пестрой отмели бежит
И преломленный и лазурный;
Но вот преграда — он кипит,

Жемчужной пеною украшен,
Встает на битву со скалой
И, умирающий, все страшен
Всей перейденной глубиной.

1856 или 1857

НА КОРАБЛЕ

Летим! Туманною чертою
Земля от глаз моих бежит.
Под непривычною стопою
Вскипая белою грядою,
Стихия чуждая дрожит.

Дрожит и сердце, грудь заныла;
Напрасно моря даль светла,
Душа в тот круг уже вступила,
Куда невидимая сила
Ее неволей унесла.

Ей будто чудится заране
Тот день, когда без корабля
Помчусь в воздушном океане
И будет исчезать в тумане
За мной родимая земля.

1856 или 1857

БУРЯ

Свежеет ветер, меркнет ночь,
А море злей и злей бурлит,
И пена плещет на гранит —
То прянет, то отхлынет прочь.

Все раздражительней бурун;
Его шипучая волна
Так тяжела и так плотна,
Как будто в берег бьет чугун.

Как будто бог морской сейчас,
Всесилен и неумолим,
Трезубцем пригрозя своим,
Готов воскликнуть: «Вот я вас!»

1854

ПОСЛЕ БУРИ

Пронеслась гроза седая,
Разлетевшись по лазури.
Только дышит зыбь морская,
Не опомнится от бури.

Спит, кидаясь, челн убогой,
Как больной от страшной мысли,
Лишь забытые тревогой
Складки паруса обвисли.

Освеженный лес прибрежный
Весь в росе, не шелохнется.—
Час спасенья, яркий, нежный,
Словно плачет и смеется.

1870

* * *

Вчера расстались мы с тобой.
Я был растерзан.— Подо мной
Морская бездна бушевала.
Волна кипела за волной
И, с грохотом о берег мой
Разбившись в брызги, убегала.

И новые росли во мгле,
Росли и небу и земле
Каким-то бешеным упреком;

Размыть уступы острых плит
И вечный раздробить гранит
Казалось вечным их уроком.

А ныне — как моя душа,
Волна светла, — и, чуть дыша,
Легла у ног скалы отвесной;
И, в лунный свет погружена,
В ней и земля отражена,
И задрожал весь хор небесный.

1864

МОРЕ И ЗВЕЗДЫ

На море ночное мы оба глядели.
Под нами скала обрывалась бездной;
Вдали затихавшие волны белели,
А с неба отсталые тучки летели,
И ночь красотой одевалась звездной.

Любуясь раздольем движенья двойного,
Мечта позабыла мертвящую сушу,
И с моря ночного и с неба ночного,
Как будто из дальнего края родного,
Целебную силою веяло в душу.

Всю злобу земную, гнетущую, вскоре,
По-своему каждый, мы оба забыли,
Как будто меня убаюкало море,
Как будто твое утолилось горе,
Как будто бы звезды тебя победили.

1859

* * *

Качаяся, звезды мигали лучами
На темных зыбях Средиземного моря,
А мы любовались с тобою огнями,
Что мчались под нами, с небесными споря.

В каком-то забвении, немом и целебном,
Смотрел я в тот блеск, отдаваясь неге;
Казалось, рулем управляя волшебным,
Глубоко ты грудь мне взрезаешь в побеге.

И там, в глубине, молодая царица,
Бегут пред тобой светоносные пятна,
И этих несметных огней вереница
Одной лишь тебе и видна и понятна.

17 февраля 1891



Если захочешь ты душу мою разгадать...



ПАМЯТИ Д. А. КРЮКОВА

Когда светильником пред нашими очами
Ко храму римских муз ты озарял ступень
И чудилось нам невольно, что над нами
Горация витает тень,—

Впервые тихие и радостные слезы
Исторгнул дышащий из уст твоих певец:
Пленили нас его неблекнущие розы
И зеленеющий венец.

В замолкнувший чертог к Минерве и к Зевесу
Вслед за тобой толпа ликующая шла,—
И тихо древнюю ты раздвигал завесу
С громодержащего орла.

Но светоч твой угас. Надежного союза
Судьба не обрекла меж нами и тобой—
И, лиру уронив, поникла молча муза
В слезах над урной гробовой.

<1855>

НА СМЕРТЬ А. В. ДРУЖИНИНА
19 ЯНВАРЯ 1864 ГОДА

Умолк твой голос навсегда,
И сердце жаркое остыло,
Лампаду честного труда
Дыханье смерти погасило.

На мир усопшего лица
Кладу последнее лобзанье.
Не изменили до конца
Тебе ни дружба, ни призванье.

Изнемогающий больной,
Души ты не утратил силу,
И жизни мутною волной
Ты чистым унесен в могилу.

Спи! Вечность правды настает,
Вокруг стихает гул суровый,
И муза строгая кладет
Тебе на гроб венок лавровый.

19 января 1864

*ПАМЯТИ В. П. БОТКИНА
16 ОКТЯБРЯ 1869 ГОДА*

Прости! Разверстая могила
Тебя отдаст родной земле;
Скажи: что смерть изобразила
На этом вдумчивом челе?

Ужель, добра поклонник страстный,
Ты буйству века уступил
И обозвал мечтой напрасной,
Чему всю жизнь не изменил?

Ужель сказал: «За вами поле,
Вы правы, тщетен наш союз!
Я ухожу,— нет в мире боле
Ни светлых дум, ни вещей муз».

Нет! покидая жизнь земную,
Ты вспять стопы не обращал
И тихо лепту трудовую
Трем старшим музам завещал*.

Октябрь 1869

* Завещал капитал университету, консерватории и школе живописи.
(Прим. А. А. Фета.)

ПАМЯТИ Н. Я. ДАНИЛЕВСКОГО

Если жить суждено и на свет не родиться нельзя,
Как завидна, о странник почивший, твоя мне стезя! —
Отдаваясь мысли широкой, доступной всему,
Ты успел оглядеть, полюбить голубую тюрьму.

Постигая, что мир только право живущим хорош,
Ты восторгов опасных старался обуздывать ложь;
И у южного моря, за вечной оградой скал,
Ты местечко на отдых в цветущем саду отыскал.

3—5 июля 1886

НА СМЕРТЬ БРАЖНИКОВА

Взвод, вперед, справа по три, не плачь!
Марш могильный играй, штаб-трубач!
Словно ясная тучка зарей,
Ты погаснул, собрат молодой!
Как печаль нам утешить свою,
Что ты с нами не будешь в строю?
Гребень каски на гробе ведь наш,
Где с ножнами скрестился палаш.
Лишь тебя нам с пути не вернуть!
Не вздохнет молодецкая грудь,
И рука, цепenea как лед,
На прощанье ничьей не пожмет.
Но, безмолвный красавец, в гробу
Ты дрожащую слышишь трубу,
И тебе и в земле не забыть,
Как тебя мы привыкли любить.
Взвод, вперед, справа по три, не плачь!
Марш могильный играй, штаб-трубач!

Июль 1845

НА СМЕРТЬ МИТИ БОТКИНА

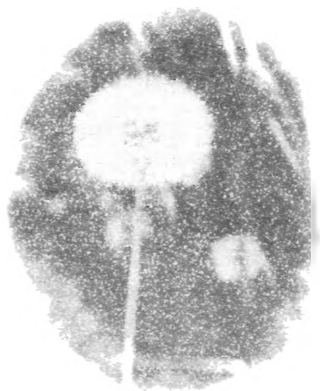
Тебя любили мы за резвость молодую,
За нежность милых слов...
Друг Митя, ты унес неожиданно в жизнь иную
Надежды стариков!

Уже слетел недуг, наваян злобным роком,
Твой пышный цвет сорвать;
Дитя, ты нам предстал тогда живым уроком,
Как жить и умирать!

Когда, теряясь, все удерживали слезы
Над мальчиком больным,
Блаженные свои и золотые грезы
Передавал ты им.

И перед смертью, живой исполнен ласки,
Ты взор обвел кругом
И тихо сам закрыл младенческие глазки,
Уснув последним сном...

15 декабря 1886



ПАМЯТИ С. С. БОТКИНОЙ

Ужель на вопль и зов молебный
Ты безучастно промолчишь?
Ужель улыбкой задушевной
Семьи опять не озаришь?

Забыв и радости земные,
И милосердия дела,
Ты, покидая нас впервые,
За сыном-отроком ушла.

Разлуки нет. Твой образ милый
Чрез жизнь мы в сердце пронесем
И там, за рубежом могилы,
Навек обнять тебя придем.

Между 7 и 10 марта 1889

ОТВЕТ ТУРГЕНЕВУ

Поэт! ты хочешь знать, за что такой любовью
Мы любим родину с тобой?
Зачем в разлуке с ней, наперекор злословью
Готово сердце в нас истечь до капли кровью
По красоте ее родной?

Что ж! пусть весна у нас позднее и короче,
Но вот дождались наконец:
Синей, мечтательней божественные очи,
И раздражительней немеркнувшие ночи,
И зеленей ее венец.

Вчера я шел в ночи и помню очертанье
Багряно-золотистых туч.
Не мог я разгадать: то яркое сиянье —
Вечерней ли зари последнее прощанье
Иль утра пламенного луч?

Как будто среди дня, замолкнувши мгновенно,
Столица севера спала,
Под обаяньем сна горда и неизменна,
И над громадой ночь, бледна и вдохновенна,
Как ясновидящая шла.

Не верилось мне, а взоры различали,
Скользя по ясной синеве,
Чьи корабли вдали на рейде отдыхали, —
А воды, не струясь, под ними отражали
Все флаги пестрые в Неве.

Заныла грудь моя — но в думах окрыленных
С тобой мы встретились, друг!
О, верь, что никогда в объятьях раскалённых
Не мог таких ночей, вполне разоблаченных,
Лелеять сладострастный юг!

1856

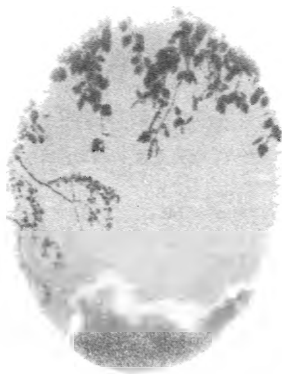
Е. П. КОВАЛЕВСКОМУ

Напрасно жизнь зовешь ты жалкою ошибкой,
И, тихо наклонясь усталой головой,
Напрасно смотришь ты с язвительной улыбкой
На благородный подвиг свой.

Судьба тебя тоской неспраздной истерзала,
В измученной груди волшебный голос жив;
В нем слышен жар любви, в нем жажда идеала
И сердца смелого порыв.

Так, навсегда простясь с родимой скалою,
Затерянный в песках рассыпчатых степей,
Встречает путников, томящихся от зною,
Из камня брызнувший ручей.

1856



ТУРГЕНЕВУ

Прошла зима, затихла вьюга,—
Давно тебе, любовник юга,
Готовим тучного тельца;
В снегу, в колючих искрах пыли
В тебе мы друга не забыли
И заждались обнять певца.

Ты наш. Напрасно утром рано
Ты будишь стражей Ватикана,
Вот за решетку ты шагнул,
Вот улыгнулися антики,
И долго слышат мозайки
Твоих шагов бегущий гул.

Ты наш. Чужда и молчалива
Перед тобой стоит олива
Иль зонтик пинны молодой;
Но вечно радужные грезы
Тебя несут под тень березы,
К ручьям земли твоей родной.

Там все тебя встречает другом:
Черней бразда бежит за плугом,
Там бархат степи зеленой,
И, верно, чуя, что просторней,—
Смелей, и слаще, и задорней
Весенний свищет соловей.

Начало 1858

БРЖЕСКИМ

при получении цветов и нот

Откуда вдруг в смиренный угол мой
Двойкой роскоши избыток,
Прекрасный дар, неожиданный и двойной,—
Цветы и песни дивной свиток?

Мой жадный взор к чертам его приник,
Внемлю живительному звуку,
И узнаю под бархатом гвоздик
Благоухающую руку.

Начало сентября 1847

А. Ф. БРЖЕСКОМУ

Из смертных, жизнью пресыщенных,
Кто без отравы чашу пил?
От всех подонков возмущенных
Язык мой горечь сохранил.

И та, чей нежный зов участия
С земли мечты мои вознес,
Мне подавая кубок счастья,
В него роняла капли слез.

К чему по прихоти мгновенной
Тревожить мертвых сон святой!
До дна тот кубок вдохновенный
Скупой отравлен был судьбой.

Лишь ты один, ты не скупился,
По сердцу брат мой, Алексей!
Коль чашей счастья ты делился,—
Делился чистой, полной, всей.

Вот почему, за юность нашу
Хваля харит, я не грешу
И дружбы общую нам чашу
К устам с восторгом подношу.

1866

А. А. БРЖЕСКОЙ

Далекий друг, пойми мои рыдания,
Ты мне прости болезненный мой крик.
С тобой цветут в душе воспоминанья,
И дорожить тобой я не отвык.

Кто скажет нам, что жить мы не умели,
Бездушные и праздные умы,
Что в нас добро и нежность не горели
И красоте не жертвовали мы?

Где ж это все? Еще душа пылает,
По-прежнему готова мир объять.
Напрасный жар! Никто не отвечает,
Воскреснут звуки — и замрут опять.

Лишь ты одна! Высокое волненье
Издалека мне голос твой принес.
В ланитах кровь, и в сердце вдохновенье.—
Прочь этот сон,— в нем слишком много слез!

Не жизни жаль с томительным дыханьем,
Что жизнь и смерть? А жаль того огня,
Что просиял над целым мирозданьем,
И в ночь идет, и плачет, уходя.

28 января 1879

А. А. БРЖЕСКОЙ

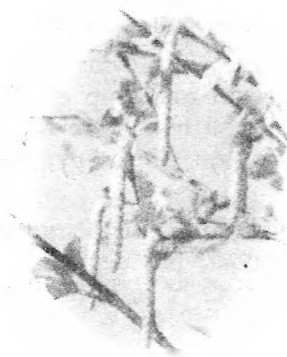
Опять весна! опять дрожат листы
С концов берез и на макушке ивы.
Опять весна! опять твои черты,
Опять мои воспоминанья живы.

Весна! весна! о, как она крепит,
Как жизненной нас учит верить силе!
Пускай наш добрый, лучший друг наш спит
В своей цветами убранной могиле,—

Он говорит: «Приободришь и ты:
Нельзя больной лелеять два недуга».
Когда к нему ты понесешь цветы,
Снеси ему сочувствие от друга.

Минувшего нельзя нам воротить,
Грядущему нельзя не доверяться,
Хоть смерть в виду, а все же нужно жить;
А слово: жить — ведь значит: покоряться.

1879



А. А. БРЖЕСКОЙ

Нет, лучше голосом ласкательно обычным
Безумца вечного, поэта, не буди;
Оставь его в толпе ненужным и безличным
За шумною волной безмолвному идти.

Зачем уснувшего будить в тоске бессильной?
К чему шептать про свет, когда кругом темно,
И дружеской рукой срывать покров могильный
С того, что спать навек в груди обречено?

Ведь это прах святой затихшего страдания!
Ведь это милые почившие сердца!
Ведь это страстные, блаженные рыдания!
Ведь это тернии колючего венца!

1 апреля 1886

С. П. ХИТРОВО

Я опоздал — и как жалею!
Уж солнце скрылося в ночи.
Я не видал, когда в аллею
Оно кидало нам лучи.

Но силу летнего сиянья
Не всю умчал минувший день,
Его отрадного прощанья
Не погасила ночи тень.

Еще пред дымкою туманной
Как очарованный стою,
Еще в заре благоуханной
Дыханье неба узнаю.

1882(?)

ГРАФИНЕ С. А. ТОЛСТОЙ

Где средь иного поколенья
Нам мир так пуст,
Ловлю усмешку утомленья
Я ваших уст.

Мне все сдается: миновали
Восторги роз,
Цветы последние увяли.
Побил мороз.

И безуханна, бесприветна
Тропа и там,
Где что-то бледное заметно
По бороздам.

Но знаю, в воздухе нагретом,
Вот здесь со мной,
Цветы задышат прежним летом
И резедой.

24 декабря 1889



ГРАФИНЕ С. А. ТОЛСТОЙ

Когда так нежно расточала
Кругом приветы взоров ты,
Ты мимолетно разгоняла
Мои печальные мечты.

И вот, исполнен обаянья
Перед тобою, здесь, в глуши,
Я понял, светлое создание,
Всю чистоту твоей души.

Пускай терниста жизни проза,
Я просветлеть готов опять
И за тебя, *звезда и роза*,
Закат любви благословлять.

Хоть меркнет жизнь моя бесследно,
Но образ твой со мной везде;
Так светят звезды всепобедно
На темном небе и в воде.

1866

К ПОРТРЕТУ ГРАФИНИ С. А. ТОЛСТОЙ

И вот портрет! И схоже и несхоже,
В чем сходство тут, несходство в чем найти?
Не мне решать; но можно ли, о боже,
Сердечнее, отраднее цвести?

Где красота, там споры не у места:
Звезда горит — как знать, каким огнем?
Пусть говорят: «Тут девочка-невеста,
Богини мы своей не узнаем».

Но все толпой коленопреклоненной
Мы здесь упасть у ваших ног должны,
Как в прелести и скромной и нетленной
Вы смотрите на наши седины.

27 апреля 1885

ГРАФИНЕ С. А. ТОЛСТОЙ

Я не у вас, я обделен!
Как тяжело изнеможенье;
У вас — порывы, блеск, движенье,
А у меня — не бред, а сон.

Какое счастье хоть на миг
Залюбоваться жизни далью,
Призыв слышать над роялью,—
Я все признал бы и постиг.

Я б снова трепет ощутил,
Целебной силой с прежним схожий;
Я б верил вновь, что ангел божий
Пришел и воду возмутил.

27 мая 1886

ЕЙ ЖЕ

во время моего 50-летнего юбилея

Пора! по влаге кругосветной
Я в новый мир перехожу
И с грустью нежной и заветной
На милый север свой гляжу.

Жестокой уносим волною,
С звездой полярною в очах,
Я знаю, ты горишь за мною
В твоей красе, в твоих лучах.

19 февраля 1880

В АЛЬБОМ П. А. КОЗЛОВУ

Тому, что было, не бывать —
Иные сны, иное племя;
Зачем же рифмы призывать,
Как будто прежнее то время?

Волшебных грез рассеян рой,
А в грусти стыдно признаваться;
Ужель остывшею слезой
Еще последней расписаться?

Декабрь 1879

ГРАФУ А. В. ОЛСУФЬЕВУ

Второй бригады из-за фронта
Перед тобою мой Пегас,
Хоть сбросил он Беллерофонта,
Но под твоей уздечкой — пас.

Ты сам заметишь поначалу:
Каким он был, ему не быть,
И как служил он Ювеналу,
Улану ныне не служить.

Но в шенкелях его исправно
Перед тобой провесть хочу,
И лишь твое услышу: «Славно!» —
Я «Рад стараться!» прокричу.

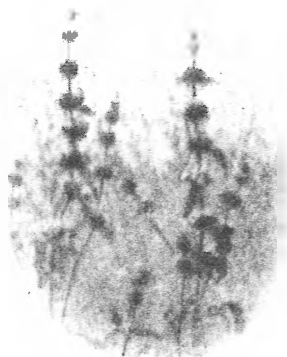
4 октября 1886

ГРАФИНЕ А. А. ОЛСУФЬЕВОЙ
при получении от нее гиацинтов

В смущеньи ум, не свяжешь взглядом,
И нем язык:
Вы с гиацинтами — и рядом
Больной старик.

Но безразлично, беззаветно
Власть вам дана:
Где вы царите так приветно —
Всегда весна.

2 января 1887



Е. С. ХОМУТОВОЙ
при получении от нее пышного букета
цветной капусты

Соизмеряя дар с приветом,
Дерзаю высказать в ответ,
Что в мире никаким букетам
Не уступает ваш букет.

Его значение многосложно
И в силах вдохновить певца;
Его принять с поклоном можно,
И можно скушать до конца.

5 мая 1888

Е. С. ХОМУТОВОЙ,
приславшей мне цветы

Цветы и песни с давних лет
В благоухающем союзе;
И благовонный ваш привет
Вручил я пристыженной музе.

Но ей до вас так далеко,
Что состязанье безрассудно:
Ее украсить вам легко,
Ей заслужить венок так трудно!

7 августа 1885

ГРАФИНЕ Н. М. СОМЛЮГ

Вам песнь моя. В степи мирской,
Среди толпы бесцветно-бледной,
Лишь вы поэта за собой
Красой влечете всепобедной.

Прелестны матовым челом,
Могучи пышными кудрями,
Вы обаятельны умом,
Очаровательны очами.

Что смертных трогает сердца,
Внушите вы послушной лире,
И слово на устах певца
При вас цветет пышней и шире.

16 февраля 1888

ЕЙ ЖЕ

Тобой привычный восхищаться,
Я втайне верить был готов,
Что можно лире приближаться
К твоей красе красою строк.

Но вижу в состязаньи струнном,
Двойным восторгом трепеща,
Что на челе золоторунном
Непобедим венок плюща.

24 января 1891

ЕЙ ЖЕ

О Береника! Сердцем чую
Заочный блеск и власть красы,
И помню россыпь золотую
Твоей божественной косы.

Не нам, с волненьями земными,
К ее разливу припадать!
Ей место — с песнями твоими
Между созвездьями сиять.

Ну что за добрая догадка —
Вдруг «отче» молвить мне шутя!
Так по головке умной сладко
Погладить дивное дитя!

28 января 1892

А. И. ОФРОСИМОВОЙ

при посылке портрета

Гляжу с обычным умилением
На ваши кроткие черты,
И сердце светлым вдохновеньем
Наполнил образ красоты.

Какой обмен несправедливый!
Вдруг получить издалека
Вам, юной, свежей и красивой,
Печальный образ старика!

8 февраля 1888

И. Ф. ОФРОСИМОВУ

*на юбилей конского его завода
в селе Березовце*

Да, я не Пиндар: мне страшней
Всего торжественная ода,—
Березовец и юбилей
Рожденья конского завода.

Когда б слова в стихах моих
Ложились выпуклы и ковки,
Вставали разом бы из них
Копыта, шейки и головки.

Следя за каждою чертой,
Знаток не проходил бы мимо,
Не восхитившись красотой
Любимца или Ибрагима.

Я, лавры оглася твои
И все стяжанные награды,
В заводе конском Илии
Нашел бы звуки Илиады.

Но этих звуков-то и нет,
И я, греметь бессильный оду,
Лишь пожелаю много лет
Тебе и твоему заводу!

17 июня 1888

НА БРАКОСОЧЕТАНИЕ Е. Д. И К. Г. ДУНКЕР

В часы забав, во дни пиров,
Пред божеством благоговея,
Поэты славили любовь
И пышный факел Гименя.

Он горячо волнует грудь
И сквозь покров полупрозрачный
На расцвеченный кажет путь
И жениху и новобрачной.

И мы отраду возвестим
Князьям сегодняшнего пира;
Споет о счастье молодым
Моя стареющая лира.

На юность озираясь вновь
И новой жизнью пламенея,
Ура! и я хвалю любовь
И пышный факел Гименя!

30 апреля 1889



Е. Д. ДУНКЕР

Если захочешь ты душу мою разгадать,
То перечти со вниманием эту тетрадь.
Можно ли трезвой то высказать силой ума,
Что опьяненному муза прошепчет сама?

Я назову лишь цветок, что срывает рука,—
Муза раскроет и сердце и запах цветка,
Я расскажу, что тебя беспредельно люблю,—
Муза поведает, что я за муки терплю.

17 января 1888

НА СЕРЕБРЯНУЮ СВАДЬБУ Е. П. ЩУКИНОЙ
4 февраля 1874 года

Ты говоришь: день свадьбы, день чудесный,
День торжества и праздничных одежд!
Тебе тот путь не страшен неизвестный,
Где столько гибнет радужных надежд.

Все взоры к ней, когда, стыдом пылая,
Под дымкою, в цветах и под венком,
Стоит она, невеста молодая,
Пред алтарем с избранным женихом.

Стоит она и радостна и сира.
Но он клялся,— он сердцем увлечен!
Поймет ли мир все скрытое от мира,
Весь подвиг долга и любви? А он? —

Он понял все, чем сердце человека
Гордится втайне.— Дайте мне фиал!
Воочию промчалась четверть века,
И свадьбы день серебряной настал.

И близкий здесь, и тот перед родною,
Кого судьба умчала далеко;
У всех в глазах признательной слезою
Родимое сказалось молоко.

Судьба всего послала полной чашей.
Чего желать? Чего искать душой?
Дай бог с четой серебряною нашей
Нам праздновать день свадьбы золотой!

4 февраля 1874

М. Н. КОНШИНОЙ

Явись, явись ко мне, больному!
Вот исцеленье! Кто скорей
Развеет грустную истому
Души тоскующей моей?

Кто неподкупных муз привета
Достойней прелестью лица?
Кто красотой из рук поэта
Достойней вечного венца?

13 февраля 1890

М. Ф. ВАНДЯРСКОЙ

*при получении визитной карточки
с летящими ласточками*

Мечтам покорствуя отважным,
Несусь душой навстречу к ним,
И вашим ласточкам бумажным
Не меньше рад я, чем живым.

Они безмолвны, не мелькают
Крылом проворным, но оне,
Подобно вам, напоминают
Красой воздушной о весне.

23 апреля 1891

П. И. ЧАЙКОВСКОМУ

Тому не лестны наши оды,
Наш стих родной,
Кому гремели антиподы
Такой хвалой.

Но, потрясенный весь струнами
Его цевниц,
Восторг не может и меж нами
Терпеть границ.

Так пусть надолго музы наши
Хранят певца
И он кипит, как пена в чаше
И в нас сердца!

18 августа 1891

*ГРАФУ А. К. ТОЛСТОМУ
в деревне Пустыньке*

В твоей Пустыньке подгородной,
У хлебосольства за столом,
Поклонник музыки благородный,
Камен мы русских помянем.

Почтим святое их наследство
И не забудем до конца,
Как на призыв их с малолетства
Дрожали счастьем в нас сердца.

Пускай пришла пора иная,
Пора печальная, когда
Гетера гонит площадная
Царицу мысли и труда;

Да не смутит души поэта
Гоненье на стыдливых муз,
И пусть в тени, вдали от света,
Свободней зреет их союз!

<1864?>

ГРАФУ А. Н. ТОЛСТОМУ

Как ястребу, который просидел
На жердочке суконной зиму в клетке,
Питаясь настрелянною птицей,
Весной охотник голубя несет
С надломленным крылом — и, оглядев
Живую пищу, старый ловчий щурит
Зрачок прилежный, поджигает перья
И вдруг нежданно быстро, как стрела,
Вонзается в трепещущую жертву,
Кривым и острым клювом ей взрезает
Мгновенно грудь и, весело раскинув
На воздух перья, с алчностью забытой
Рвет и глотает трепетное мясо,—
Так бросил мне кавказские ты песни,
В которых бьется и кипит та кровь,
Что мы зовем поэзией.— Спасибо,
Полакомил ты старого ловца!

Конец октября или начало ноября 1875

А. Н. ТОЛСТОМУ

при появлении романа «Война и мир»

Была пора — своей игрою,
Своею ризою стальною
Морской простор меня пленял;
Я дорожил и в тишь и в бури
То негой тающей лазури,
То пеной у прибрежных скал.

Но вот, о море, властью тайной
Не все мне мил твой блеск случайный
И в душу просится мою;
Дивясь красе жестоковойной,
Я перед мощию стихийной
В священном трепете стою.

23 апреля 1877

А. Н. МАЙКОВУ
на сочувственный отзыв о переводе Горация

Кто сам так пышно в тогу эту
Привычен лики облачать,—
Кому ж, как не тебе, поэту,
И тень Горация встречать?

На Геликон ступя несмело,
От вас я блеска позайму,
Гордясь, что сам, хоть неумело,
Но вам обоим руку жму.

14 октября 1884

НА ЮБИЛЕЙ А. Н. МАЙКОВА
30 апреля 1888 года

Пятьдесят лебедей пронесли
С юга вешние крики в полесье,
И мы слышали, дети земли,
Как звучала их песнь с поднебесья.

Майков медь этих звуков для нас
Отчеканил стихом-чародеем.
И за это в торжественный час
Мы встречаем певца юбилеем.

Кто же выступит с гимном похвал
Перед тем, кто, поднявшись над нами,
Полстолетия Русь осыпал
Драгоценных стихов жемчугами?

Хоть восторг не дает нам молчать,
Но восторженных скоро забудут,
А певца по поднебесью мчатъ
Лебединые крылья всё будут!

11 марта 1888

ПОЛОНСКОМУ

Спасибо! Лирой вдохновенной
Ты мне опять напомнил дни,
Когда, не зная мысли пленной,
Ты вынес, отрок дерзновенный,
Свои алмазные огни.

А я, по-прежнему смиренный,
Забытый, кинутый в тени,
Стою коленопреклоненный
И, красотою умиленный,
Зажег *вечерние огни.*

1883



Я. П. ПОЛОНСКОМУ

В минувшем жизнь твоя богата,
Звенел залог бесценный в нем:
Сам рассказал ты, что когда-то
Любил и пел ты соловьем.

Кто ж не пленен влюбленной птицей,
Весной поющей по ночам?
Но как поэт — ты мил сторицей
Тебе внимающим друзьям.

26 августа 1890

В АЛЬБОМ Н. Я. ПОЛОНСКОЙ

Стихи мои в ряду других
Прочтут ли бархатные глазки?
Но появиться рад мой стих
Там, где кругом цветы и краски.

Желать вам счастья я готов,
Но в чем придет оно, не знаю:
Ни юных роз, ни мотыльков,
Хоть им дивлюсь, не поучаю.

20 июня 1890

Ф. И. ТЮТЧЕВУ

Мой обожаемый поэт,
К тебе я с просьбой и с поклоном:
Пришли в письме мне твой портрет,
Что нарисован Аполлоном.

Давно мечты твоей полет
Меня увлек волшебной силой,
Давно в груди моей живет
Твое чело, твой облик милый.

Твоей камене — повторять
Прося стихи — я докучаю,
А все заветную тетрадь
Из жадных рук не выпускаю.

Поклонник вечной красоты,
Давно смиренный пред судьбою
Я одного прошу — чтоб ты
Во всех был видах предо мною.

Вот почему спешу, поэт,
К тебе я с просьбой и поклоном:
Пришли в письме мне твой портрет,
Что нарисован Аполлоном.

1862

Ф. И. ТЮТЧЕВУ

Прошла весна — темнеет лес,
Скудней ручьи, грустнее ивы,
И солнце с высоты небес
Томит безветренные нивы.

На плуг знакомый налегли
Все, кем владеет труд упорный;
Опять сухую грудь земли
Взрезает конь и вол покорный.

Но в свежем тайнике куста
Один певец проснулся вешний,
И так же песнь его чиста
И дышит полночью нездешней.

Как сладко труженик смущен,
Весны заслыша зов единый!
Как улыбнулся он сквозь сон
Под яркий посвист соловьиный!

1866



НА КНИЖКЕ СТИХОТВОРЕНИЙ ТЮТЧЕВА

Вот наш патент на благородство,—
Его вручает нам поэт,
Здесь духа мощного господство,
Здесь утонченной жизни цвет.

В сыртах не встретишь Геликона,
На льдинах лавр не расцветет,
У чукчей нет Анакреона,
К зырянам Тютчев не придет.

Но муза, правду соблюдая,
Глядит — а на весах у ней
Вот эта книжка небольшая
Томов премногих тяжелей.

Декабрь 1883

НА ПЯТИДЕСЯТИЛЕТИЕ МУЗЫ

Нас отпевают. В этот день
Никто не подойдет с хулою:
Всяк благосклонною хвалою
Немую провожает тень.

Как лик усопшего светить
Душою лучшей начинает!
Не то, чем был он, проступает,
А только то, чем мог он быть.

Живым карать и награждать,
А нам у гробового входа,
О муза,— нам велит природа,
Навек смиряясь, молчать.

20 декабря 1888

НА ПЯТИДЕСЯТИЛЕТИЕ МУЗЫ

29 января 1889 года

На утре дней всё ярче и чудесней
Мечты и сны в груди моей росли,
И песен рой вослед за первой песней
Мой тайный пыл на волю понесли.

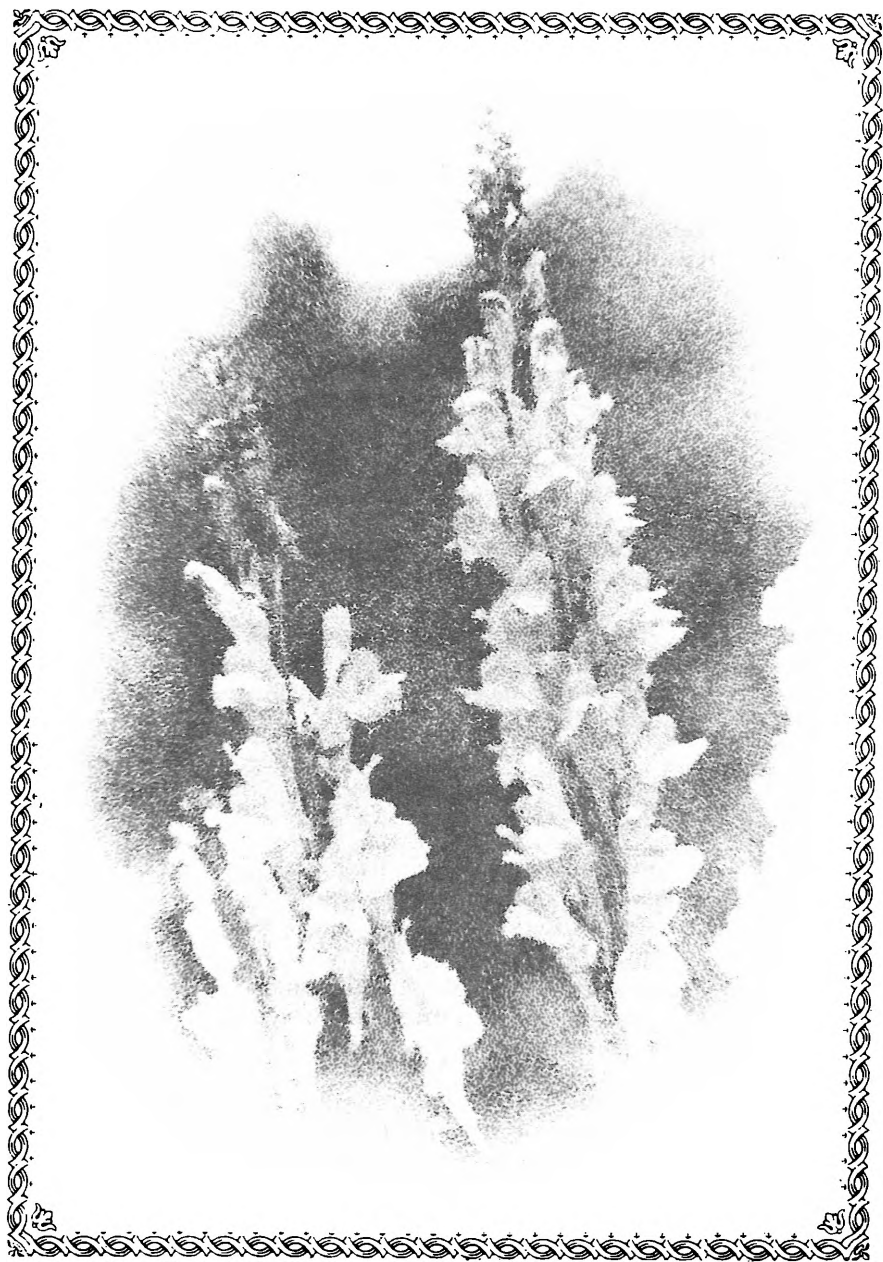
И трепетным от счастья и муки
Хотелось птичкам Божиим моим,
Чтоб где-нибудь их налетели звуки
На чуткий слух, внимать готовый им.

Полвека ждал друзей я этих песен,
Гадал о тех, кто им живой приют;
О, как мой день сегодняшней чудесен! —
Со всех сторон те песни мне несут.

Тут нет чужих, тут всё родной и кровный!
Тут нет врагов, кругом одни друзья! —
И всей душой за ваш привет любовный
К своей груди вас прижимаю я!..

14 января 1889

*Слух, раскрываясь, растет,
Как полуночный цветок...*



* * *

Владычица Сиона, пред тобою
Во мгле моя лампада зажжена.
Все спит кругом, — душа моя полна
Молитвою и сладкой тишиною.

Ты мне близка... Покорною душою
Молюсь за ту, кем жизнь моя ясна.
Дай ей цвести, будь счастлива она
С другим ли избранным, одна — или со мною.

О нет! Прости влиянию недуга!
Ты знаешь нас: нам суждено друг друга
Взаимными молитвами спасать.

Так дай же сил, простри святые руки,
Чтоб ярче мог в полночный час разлуки
Я пред тобой лампаду возжигать!

<1842>

МАДОННА

Я не ропщу на трудный путь земной,
Я буйного не слушаю невежды:
Моим ушам понятен звук иной,
И сердцу голос слышится надежды

С тех пор, как Санцио передо мной
Изобразил склоняющую вежды,
И этот лик, и этот взор святой,
Смиренные и легкие одежды,

И это лоно матери, и в нем
Младенца с ясным, радостным челом,
С улыбкою к Марии наклоненной.

О, как душа стихает вся до дна!
Как много со святого полотна
Ты шлешь, мой бог, с пречистою Мадонной!
<1842>

*AVE MARIA**

Ave Maria — лампада тиха,
В сердце готовы четыре стиха:

Чистая дева, скорбящего мать,
Душу проникла твоя благодать.
Неба царица, не в блеске лучей,
В тихом предстань сновидении ей!

Ave Maria — лампада тиха,
Я прошептал все четыре стиха.
<1842>

* * *

Я знал ее малюткою кудрявой,
Голубоглазой девочкой; она
Казалась вся из резвости лукавой
И скромности румяной сложена.

И в те лета какой-то круг влеченья
Был у нее и звал ее ласкать;
На ней лежал оттенок предпочтенья
И женского служения печать.

Я знал ее красавицей; горели
Ее глаза священной тишиной, —
Как светлый день, как ясный звук свирели,
Она неслась над грешною землей.

Я знал его — и как она любила,
Как искренно пред ним она цвела,
Как много слез она ему дарила,
Как много счастья в душу пролила!

* Привет тебе, Мария (*лат.*).

Я видел час ее благословенья —
Детей в слезах покинувшую мать;
На ней лежал оттенок предпочтенья
И женского служения печать.

1844

* * *

Не ворчи, мой кот-мурлыка,
В неподвижном полусне:
Без тебя темно и дико
В нашей стороне;

Без тебя все та же печка,
Те же окна, как вчера,
Те же двери, та же свечка,
И опять хандра...

<1843>

ВЕНЕЦИЯ НОЧЬЮ

Лунный свет сверкает ярко,
Осыпая мрамор плит;
Дремлет лев святого Марка,
И царица моря спит.

По каналам посребренным
Опрокинулись дворцы,
И блещут веслом бессонным
Запоздалые гребцы.

Звезд сияют мириады,
Чутко в воздухе ночном;
Осребренные громады
Вековым уснули сном.

<1847>

* * *

Полно спать: тебе две розы
Я принес с рассветом дня.
Сквозь серебряные слезы
Ярче нег их огня.

Вешних дней минутны грозы,
Воздух чист, свежей листы...
И роняют тихо слезы
Ароматные цветы.

<1847>

КОЛЫБЕЛЬНАЯ ПЕСНЯ СЕРДЦУ

Сердце — ты малютка!
Угомон возьми...
Хоть на миг рассудка
Голосу вонми.
Рад принять душою
Всю болезнь твою!
Спи, господь с тобою,
Баюшки-баю!

Не касайся к ране —
Станет подживать;
Не тоскуй по няне,
Что ушла гулять;
Это только шутка —
Няню жди свою.
Засыпай, малютка,
Баюшки-баю!

А не то другая
Нянюшка придет,
Сядет, молодая,
Песни запоеет:
«Посмотри, родное,
На красу мою,
Да усни в покое...
Баюшки-баю!»

Что ж ты повернулось?
Прежней няни жаль?
Знать, опять проснулась
Старая печаль?
Знать, пуста скамейка,
Даром что пою?
Что ж она, злодейка?
Баюшки-баю!

Подожди, вот к лету
Станешь подрастать,—
Колыбельку эту
Надо променять.
Я кровать большую
Дам тебе свою
И свечу задую.
Баюшки-баю!

И долга кроватка,
И без няни в ней
Спится сладко-сладко
До скончанья дней.
Перестанешь биться
И навек в раю,—
Только будет сниться:
Баюшки-баю!

<1843>

* * *

О, не зови! Страстей твоих так звонок
Родной язык.
Ему внимать и плакать, как ребенок,
Я так привык!

Передо мной дай волю сердцу биться
И не лукавь,
Я знаю край, где все, что может сниться,
Трепещет вьявь.

Скажи, не я ль на первые воззванья
Страстей в ответ
Искал блаженств, которым нет названья
И меры нет?

Что ж? Рухнула с разбега колесница,
Хоть цель вдали,
И, распростерт, заносчивый возница
Лежит в пыли.

Я это знал — с последним увлеченьем
Конец всему;
Но самый прах с любовью, с наслажденьем
Я обойму.

Так предо мной дай волю сердцу биться
И не лукавь!
Я знаю край, где все, что может сниться,
Трепещет вьвявь.

И не зови — но песню наудачу
Любви запой;
На первый звук я, как дитя, заплачу —
И за тобой!

<1847>

* * *

Облаком волнистым
Пыль встает вдали;
Конный или пеший —
Не видать в пыли!

Вижу: кто-то скачет
На лихом коне.
Друг мой, друг далекий,
Вспомни обо мне!

<1843>

* * *

Я пришел к тебе с приветом,
Рассказать, что солнце встало,
Что оно горячим светом
По листам затрепетало;

Рассказать, что лес проснулся,
Весь проснулся, веткой каждой,
Каждой птицей встрепенулся
И весенней полон жаждой;

Рассказать, что с той же страстью,
Как вчера, пришел я снова,
Что душа все так же счастью
И тебе служить готова;

Рассказать, что отовсюду
На меня весельем веет,
Что не знаю сам, что́ буду
Петь,— но только песня зреет.
<1843>



ДЕРЕВНЯ

Люблю я приют ваш печальный,
И вечер деревни глухой,
И за лесом благовест дальный,
И кровлю, и крест золотой.

Люблю я немятого луга
К окну подползающий пар,
И тесного, тихого круга
Не раз долитой самовар.

Люблю я на тех посиделках
Старушки чепец и очки;
Люблю на окне на тарелках
Овса золотые злачки;

На столике близко к окошку
Корзину с узорным чулком,
И по полу резвую кошку
В прыжках за проворным клубком;

И милой, застенчивой внучки
Красивый девичий наряд,
Движение бледненькой ручки
И робко опущенный взгляд;

Прощанье смолкающих птишек
И месяца бледный восход,
Дрожанье фарфоровых чашек
И речи замедленный ход;

И собственной выдумки сказки,
Прохлады вечерней струю
И вас, любопытные глазки,
Живую награду мою!

<1842>

* * *

Ах, дитя, к тебе привязан
Я любовью безвозмездной!
Нынче ты, моя малютка,
Снилась мне в короне звездной.

Что за искры эти звезды!
Что за кроткое сиянье!
Ты сама, моя малютка,
Что за светлое создание!

<1843>

УЗНИК

Густая крапива
Шумит под окном,
Зеленая ива
Повисла шатром;

Веселые лодки
В дали голубой;
Железо решетки
Визжит под пилой.

Бывалое горе
Уснуло в груди,
Свобода и море
Горят впереди.

Прибавилось духа,
Затихла тоска,
И слушает ухо,
И пилит рука.

<1843>

* * *

Люди спят; мой друг, пойдем в тенистый сад.
Люди спят; одни лишь звезды к нам глядят.
Да и те не видят нас среди ветвей
И не слышат — слышит только соловей...
Да и тот не слышит, — песнь его громка;
Разве слышат только сердце да рука:
Слышит сердце, сколько радостей земли,
Сколько счастья сюда мы принесли;
Да рука, услыша, сердцу говорит,
Что чужая в ней пылает и дрожит,
Что и ей от этой дрожи горячо,
Что к плечу невольно клонится плечо...

<1853>

* * *

Растут, растут причудливые тени,
В одну сливаясь тень...
Уж позлатил последние ступени
Перебежавший день.

Что звало жить, что силы горячило —
Далеко за горой.
Как призрак дня, ты, бледное светило,
Восходишь над землей.

И на тебя как на воспоминанье
Я обращаю взор...
Смолкает лес, бледней ручья сиянье,
Потухли выси гор;

Лишь ты одно скользишь стезей лазурной
Недвижно все окрест...
Да сыплет ночь своей бездонной урной
К нам мириады звезд.

<1853>

НА ДНЕПРЕ В ПОЛОВОДЬЕ

А. Я. II-вой

Светало. Ветер гнул упругое стекло
Днепра, еще в волнах не пробуждая звука
Старик отчаливал, опершись на весло,
А между тем ворчал на внука.

От весел к берегу кудрявый след бежал,
Струи под лодкой закипели,
Наш парус, медленно надувшись, задрожал
И мы, как птица, полетели.

И ярким золотом и чистым серебром
Змеились облаков прозрачных очертанья
Над разыгравшимся, казалось, Днепром
Струилися от волн и трав благоуханья.

За нами мельница едва-едва видна
И берег посинел зеленый...
И вот под лодкою вздрогнувшей быстрина
Сверкает сталью вороненой...

А там затопленный навстречу лес летел...
В него зеркальные врывались заливы;
Над сонной влагою там тополь зеленел,
Белели яблони и трепетали ивы.

И под лобзания немолкнувшей струи
Певцы, которым лес да волны лишь внимали,
С какой-то негою задорной соловьи
Пустынный воздух раздражали.

Вот изумрудный луг, вот желтые пески
Горят в сиянии золотистом;
Вон утка крадется в тростник, вон кулики
Беспечно бегают со свистом...

Остался б здесь дышать, смотреть и слушать век...

<1853>

* * *

Над озером лебедь в тростник протянул,
В воде опрокинулся лес,
Зубцами вершин он в заре потонул.
Меж двух изгибаясь небес.

И воздухом чистым усталая грудь
Дышала отрадно. Легли
Вечерние тени.— Вечерний мой путь
Краснел меж деревьев вдали.

А мы — мы на лодке сидели вдвоем,
Я смело налег на весло,
Ты молча покорным владела рулем,
Нас в лодке, как в люльке, несло.

И детская челн направляла рука
Туда, где, блестя чешуей,
Вдоль сонного озера быстро река
Бежала, как змей золотой.

Уж начали звезды мелькать в небесах...
Не помню, как бросил весло,
Не помню, что пестрый нашептывал флаг,
Куда нас потоком несло!

<1854>

СОСНЫ

Средь кленов девственных и плачущих берез
Я видеть не могу надменных этих сосен;
Они смущают рой живых и сладких грез,
И трезвый вид мне их несносен.

В кругу воскреснувших соседей лишь оне
Не знают трепета, не шепчут, не вздыхают
И, неизменные, ликующей весне
Пору зимы напоминают.

Когда уронит лес последний лист сухой
И, смолкнув, станет ждать весны и возрожденья,—
Они останутся холодною красой
Пугать иные поколения.

<1854>

БОЛЬНОЙ

Его томил недуг. Тяжелый зной печей,
Казалось, каждый вздох оспаривал у груди.
Его томил напев бессмысленных речей,
Ему противны стали люди.

На стены он кругом смотрел как на тюрьму,
Он обращал к окну горящие зеницы,
И света божьего хотелось ему —
Хотелось воздуха, которым дышат птицы.

А там, за стеклами, как чуткий сон легки,
С востока яркого все шире дни летели,
И солнце теплое, морозам вопреки,
Вдоль крыш развесило капли.

Просиживая дни, он думал все одно:
«Я знаю, небеса весны меня излечат...»
И ждал он: скоро ли весна пахнет в окно
И там две ласточки, прижавшись, защебечут?

<1855>

В САДУ

Приветствую тебя, мой добрый, старый сад,
Цветущих лет цветущее наследство!
С улыбкой горькою я пью твой аромат,
Которым некогда мое дышало детство.

Густые липы те ж, но заросли слова,
Которые в тени я вырезал искусно,
Хватает за ноги загложшая трава,
И чувствую, что там, в лесу, мне будет грустно.

Как будто с трепетом здесь каждого листа
Моя пробудится и затрепещет совесть,
И станут лепетать знакомые места
Давно забытую, оплаканную повесть.

И скажут: «Помним мы, как ты играл и рос,
Мы помним, как потом, в последний час разлуки,
Венком из молодых и благовонных роз
Тебя здесь нежные благословляли руки.

Скажи: где розы те, которые такой
Веселой радостью и свежестью дышали?»
Одни я раздарил с безумством и тоской,
Другие растерял — и все они увяли.

А вы — вы молоды и пышны до конца.
Я рад — и радости вполне вкусить не смею;
Стою, как блудный сын перед лицом отца,
И плакать бы хотел — и плакать не умею!

<1854>

* * *

В долгие ночи, как вежды на сон не сомкнуты,
Чудные душу порой посещают минуты.
Дух окрылен, никакая не мучит утрата,
В дальней звезде отгадал бы отбывшего брата!
Близкой души предо мною все ясны изгибы:
Видишь, как были, — и видишь, как быть мы могли бы!
О, если ночь унесет тебя в мир этот странный,
Мощному духу отдайся, о друг мой желанный!
Я отзовусь — но, внемля бестелесному звуку,
Вспомни меня, как невольную помнят разлуку!

1851

* * *

Не спрашивай, над чем задумываюсь я:
Мне сознаваться в том и тягостно и больно;
Мечтой безумною полна душа моя
И в глубь минувших лет уносится невольно.

Сиянье прелести тогда в свой круг влекло:
Взглянул — и пылкое навстречу сердце рвется!
Так голубь, бурю застигнутый, в стекло,
Как очарованный, крылом лазурным бьется.

А ныне пред лицом сияющей красоты
Нет этой слепоты и страсти безответной,
Но сердце глупое, как ветхие часы,
Коли забьет порой, так всё свой час заветный.

Я помню, отроком я был еще; пора
Была туманная, сирень в слезах дрожала;
В тот день лежала мать больна, и со двора
Подруга игр моих надолго уезжала.

Не мчались ласточки, звеня, перед окном,
И мошек не толклись блестящих вереницы,
Сидели голуби, нахохлившись, рядом,
И в липник прятались умолкнувшие птицы.

А над колодезем, на вздернутом шесте,
Где старая бадья болталась, как подвеска,
Закаркал ворон вдруг, чернея в высоте, —
Закаркал как-то зло, отрывисто и резко.

Тот плач давно умолк, — кругом и смех и шум;
Но сердце вечно, зная, пугаться не отвыкнет;
Гляжу в твои глаза, люблю их нежный ум...
И трепещу — вот-вот зловещий ворон крикнет.

<1854>

ПЕРВАЯ БОРОЗДА

Со степи зелено-серой
Подымается туман,
И торчит еще Церерой
Ненавидимый бурьян.

Ржавый плуг опять светлеет;
Где волы, склонясь, прошли,
Лентой бархатной чернеет
Глыба взрезанной земли.

Чем-то блещут свежим, нежным
Солнца вешние лучи,
Вслед за пахарем прилежным
Ходят жадные грачи.

Ветерок благоухает
Сочной почвы глубиной,—
И Юпитера встречает
Лоно Геи молодой.

<1854>

* * *

Ты расточительна на милые слова,
А в сердце мне не шлешь отрадного привета
И втайне думаешь: причудлива, черства
Душа суровая поэта.

Я тоже жду; я жду, нельзя ли превозмочь
Твоей холодности, подметить миг участия,
Чтобы в глазах твоих, загадочных как ночь,
Затрепетали звезды счастья.

Я жду, я жажду их, мечтателю в ночи
Сиянья не встречать пышнее и прелестней;
И знаю — низойдут их яркие лучи
Ко мне и трепетом, и песней.

<1854>

АЕС

Куда ни обращаю взор,
Кругом синее мрачный бор
И день права свои утратил.
В глухой дали стучит топор,
Вблизи стучит вертлявый дятел.

У ног гниет столетний лом,
Гранит чернеет, и за пнем
Прижался заяц серебристый,
А на сосне, поросшей мхом,
Мелькает белки хвост пушистый.

И путь заглох и одичал,
Позеленелый мост упал
И лег, скосясь, во рву размытом,
И конь давно не выступал
По нем подкованным копытом.

<1854>



* * *

Какое счастье: и ночь, и мы одни!
Река — как зеркало и вся блестит звездами;
А там-то... голову закинь-ка да взгляни:
Какая глубина и чистота над нами!

О, называй меня безумным! Назови
Чем хочешь; в этот миг я разумом слабею
И в сердце чувствую такой прилив любви,
Что не могу молчать, не стану, не умею!

Я болен, я влюблен; но, мучась и любя,—
О, слушай! о, пойми! — я страсти не скрываю,
И я хочу сказать, что я люблю тебя —
Тебя, одну тебя люблю я и желаю!

<1854>

* * *

Что за ночь! Прозрачный воздух скован;
Над землей клубится аромат.
О, теперь я счастлив, я взволнован,
О, теперь я высказаться рад!

Помнишь час последнего свиданья!
Безотраден сумрак ночи был;
Ты ждала, ты жаждала признанья —
Я молчал: тебя я не любил.

Холодела кровь, и сердце ныло:
Так тяжка была твоя печаль;
Горько мне за нас обоих было,
И сказать мне правду было жаль.

Но теперь, когда дрожу и млею,
И, как раб, твой каждый взор ловлю,
Я не лгу, назвав тебя своею
И клянясь, что я тебя люблю!

<1854>

СТАРЫЙ ПАРК

Сбирались умирать последние цветы
И ждали с грустью дыхания мороза;
Краснели по краям кленовые листья,
Горюшек отцветал, и осыпалась роза.

Над мрачным ельником проснулася заря,
Но яркости ее не радовались птицы;
Однообразный свист лишь слышен снегиря,
Да раздражает писк насмешливой синицы.

Беседка старая над пропастью видна.
Вхожу. Два льва без лап на лестнице встречают.
Полузатертые чужие имена,
Сплетаясь меж собой, в глазах моих мелькают.

Гляжу, у ног моих отвесною стеной
Мне сосен кажутся недвижные вершины,
И горная тропа, размытая водой,
Виясь, как желтый змей, бежит на дно долины.

И солнце вырвалось из тучи, и лучи,
Блеснув, как молния, в долину долетели.
Отсюда вижу я, как бьют в пруде ключи
И над травой стоят недвижные форели.

Один. Ничьих шагов не слышу за собой.
В душе уныние, усилие во взоре.
А там, за соснами, как купол голубой,
Стоит бесстрастное, безжалостное море.

Как чайка, парус там белеет в высоте.
Я жду, потонет он, но он не утопает
И, медленно скользя по выгнутой черте,
Как волокнистый след пропавшей тучки, тает.

1853(?)

МУЗА

Не в сумрачный чертог наяды говорливой
Пришла она пленять мой слух самолюбивый
Рассказом о щитах, героях и конях,
О шлемах кованых и сломанных мечях.
Скрывая низкий лоб под ветвию лавровой,
С цитарой золотой иль из кости слоновой,
Ни разу на моем не прилегла плече
Богиня гордая в расшитой епанче.
Мне слуха не ласкал язык ее могучий,
И гибкий, и простой, и звучный без созвучий.
По воле пиерид с достоинством певца
Я не мечтал стяжать широкого венца.
О нет! Под дымкою ревнивой покрывала
Мне музу молодость иную указала:
Отягощала прядь душистая волос
Головку дивную узлом тяжелых кос;
Цветы последние в руке ее дрожали;
Отрывистая речь была полна печали,
И женской прихоти, и серебристых грез,
Невысказанных мук и непонятных слез.
Какой-то негою томительной волнуем,
Я слушал, как слова встречались поцелуем,
И долго без нее душа была больна
И несказанного стремления полна.

<1854>

* * *

Теплый ветер тихо веет,
Жизнью свежей дышит степь,
И курганов зеленеет
Убегающая цепь.

И далеко меж курганов
Темно-серою змеей
До бледнеющих туманов
Пролегает путь родной..

К безотчетному веселью
Поднимаясь в небеса,
Сыплют с неба трель за трелью
Вешних птичек голоса.

<1845>

* * *

Последний звук умолк в лесу глухом,
Последний луч погаснул за горою...
О, скоро ли в безмолвии ночном,
Прекрасный друг, увижусь я с тобою?

О, скоро ли младенческая речь
В испуг мое изменит ожиданье?
О, скоро ли к груди моей прилечь
Ты поспешишь, вся трепет, вся желанье?

Скользит туман прозрачный над рекой,
Как твой покров, свиваясь и белея...
Час фей настал! Увижусь ли с тобой
Я в царстве фей, мечтательная фея?

Иль заодно с тобой и ночь и мгла
Меня томят и нежат в заблужденьи?
Иль это страсть больная солгала
И жар ночной потухнет в песнопеньи?

<1855>

* * *

В пору любви, мечты, свободы,
В мерцаньи розового дня
Язык душевной непогоды
Был непонятен для меня.

Я забавлялся над словами,
Что будто по душе иной
Проходит злоба полосами,
Как тень от тучи громовой.

Настало время отрезвляться,
И долг велел — в немой борьбе
Навстречу людям улыбаться,
А горе подавлять в себе.

Я побеждал. В душе сокрыта,
Беда спала... Но знал ли я,
Как живу́ща, как ядовита
Эдема старая змея!

Находят дни, — с самим собою
Бороться сердцу тяжело
И духа злобы над душою
Я слышу тяжкое крыло.

<1855>

ИВА

Сядем здесь, у этой ивы.
Что за чудные извивы
На коре вокруг дупла!
А под ивой как красивы
Золотые переливы
Струй дрожащего стекла!

Ветви сочные дугою
Перегнулись над водою,
Как зеленый водопад;
Как живые, как иглою,
Будто споря меж собою,
Листья воду бороздят.

В этом зеркале под ивой
Уловил мой глаз ревнивый
Сердцу милые черты...
Мягче взор твой горделивый...
Я дрожу, глядя, счастливый,
Как в воде дрожишь и ты.

<1854>

О друг, не мучь меня жестоким приговором!
Я оскорбить тебя минувшим не хочу.
Оно пленительным промчалось метеором...
С твоим я встретиться робел и жаждал взором
И приходил молчать. Я и теперь молчу.

Добра и красоты в чертах твоих слиянье
По-прежнему еще мой подкупает ум.
Я вижу — вот оно, то нежное создание,
К которому я нес весь пыл, все упование
Безумных, радостных, невысказанных дум.

Но помнишь ли? — весной гремела песнь лесная
И кликал соловей серебряные сны;
Теперь душистей лес, пышнее тень ночная,
И хочет соловей запеть, как утром мая...
Но робко так не пел он в первый день весны.

<1855>

ПРИМЕТЫ

И тихо и светло — до сумерек далеко;
Как в дымке голубой и небо и вода, —
Лишь облаков густых с заката до востока
Лениво тянется лиловая гряда.

Да, тихо и светло; но ухом напряженным
Смятенья и тоски ты крики разгадал:
То чайки скликались над морем усыпленным
И, в воздухе кружась, летят к навесам скал.

Ночь будет страшная, и буря будет злая,
Сольются в мрак и гул и небо и земля...
А завтра, может быть, вот здесь волна седая
На берег выбросит обломки корабля.

Середина 50-х годов

Какие-то носятся звуки
И льнут к моему изголовью.
Полны они томной разлуки,
Дрожат небывалой любовью.

Казалось бы, что ж? Отзвучала
Последняя нежная ласка,
По улице пыль пробежала,
Почтовая скрылась коляска...

И только... Но песня разлуки
Несбыточной дразнит любовью,
И носятся светлые звуки
И льнут к моему изголовью.

<1853>

РЕВЕЛЬ

(После представления Фрейшица)

Театр во мгле затих. Агата
В объятьях нежного стрелка.
Еще, напевами объята,
Душа светла — и жизнь легка.

Все спит. Над тесным переулком,
Как речка, блещут небеса,
Умолк на перекрестке гулком
Далекий грохот колеса.

И с каждым шагом город душный
Передо мной стесняет даль;
Лишь там, на высоте воздушной,
Блестит балкон, поет рояль...

И с переливом серебристым,
С лучом, просящимся во тьму,
Летит твой голос к звездам чистым
И вторит сердцу моему.

1855(?)

ПАРОХОД

Злой дельфин, ты просишь ходу,
Ноздри пышут, пар валит,
Сердце мощное кипит,
Лапы с шумом роют воду.

Не лишай родной земли
Этой девы, этой розы;
Погоди, прощанья слезы
Вдохновенные продли!

Но напрасно... Конь морской,
Ты понесся быстрой птицей —
Только пляшут вереницей
Нереиды за тобой.

1854

ЗНАКОМКЕ С ЮГА

На север грустный с пламенного юга,
Прекрасных дней прекрасная подруга,
Ты мне привет отрадный принесла.
Но холодом полночным все убило,
Что сердце там так искренно любило
И чем душа так радостно цвела.

О, как бы я на милый зов ответил
Там, где луны встающий диск так светел,
Где солнца блеск живителен и жгуч,
Где дышит ночь невыразимой тайной
И теплятся над спящею Украиной
В лучах лазурных звезды из-за туч,

И грезит пруд, и дремлет тополь сонный,
Вдоль туч скользя вершиной заостренной,
Где воздух, свет и думы — заодно,
И грудь дрожит от страсти неминучей,
И веткою все просится пахучей
Акация в раскрытое окно!

<1854>

* * *

Вчера, увенчана душистыми цветами,
Смотрела долго ты в зеркальное окно
На небо синее, горевшее звездами,
В аллею тополей с дрожащими листьями,—
В аллею, где вдали так страшно и темно.

Забыла, может быть, ты за собою в зале
И яркий блеск свечей, и нежные слова...
Когда помчался вальс и струны рокотали,—
Я видел — вся в цветах, исполнена печали,
К плечу слегка твоя склонилась голова.

Не думала ли ты: «Вон там, в беседке дальней,
На мраморной скамье теперь он ждет меня
Под сумраком дерев, ревнивый и печальный;
Он взоры утомил, смотря на вихорь бальный,
И ловит тень мою в сиянии огня».

<1855>

* * *

В темноте, на треножнике ярком
Мать варила черешни вдали...
Мы с тобой отворили калитку
И по темной аллее пошли.

Шли мы розно. Прохлада ночная
Широко между нами плыла.
Я боялся, чтоб в помысле смелом
Ты меня упрекнуть не могла.

Как-то странно мы оба молчали
И странней сторонились прочь...
Говорила за нас и дышала
Нам в лицо благовонная ночь.

<1856>

ИВЫ И БЕРЕЗЫ

Березы севера мне милы,—
Их грустный, опущенный вид,
Как речь безмолвная могилы,
Горячку сердца холодит.

Но ива, длинными листьями
Упав на лоно ясных вод,
Дружней с мучительными снами
И дольше в памяти живет.

Лия таинственные слезы
По рощам и лугам родным,
Про горе шепчутся березы
Лишь с ветром севера одним.

Всю землю, грустно-сиротлива,
Считая родиной скорбей,
Плакучая склоняет ива
Везде концы своих ветвей.

<1843>, <1856>



У КАМИНА

Тускнеют угли. В полумраке
Прозрачный вьется огонек.
Так плещет на багряном маке
Крылом лазурным мотылек.

Видений пестрых вереница
Влечет, усталый теща взгляд,
И неразгаданные лица
Из пепла серого глядят.

Встает ласкательно и дружно
Былое счастье и печаль,
И лжет душа, что ей не нужно
Всего, чего глубоко жаль.

1856

СЕСТРА

Милой меня называл он вчера —
В зеркале точно себя я не вижу?!
Боже, зачем хороша так сестра,
Что перед ней я себя ненавижу!

Голос его, прерываясь, дрожал;
Даже в сердцах я его проводила, —
Образ сестры предо мною стоял...
Так я всю ночь по аллее ходила.

В спальню вошла я; она уж спала.
Месяц ей кудри осыпал лучами.
Я не могла устоять — подошла
И, наклонясь, к ней прильнула устами.

Как хороша, как светла и добра!
Нет, и сравнением ее не обижу!
Милой меня называл он вчера —
В зеркале точно себя я не вижу?!

<1857>

ГОРНОЕ УЩЕЛЬЕ

За лесом лес и за горами горы,
За темными лилово-голубые,
И если долго к ним приникнут взоры,
За бледным рядом выступят другие.

Здесь темный дуб и ясень изумрудный
А там лазури тающая нежность...
Как будто из действительности чудной
Уносишься в волшебную безбрежность

И в дальний блеск душа лететь готова
Не трепетом, а радостью объята,
Как будто это чувство ей не ново,
А сладостно уж грезилось когда-то.

Октябрь 1856

МУЗЕ

Надолго ли опять мой угол посетила,
Заставила еще томиться и любить?
Кого на этот раз собою воплотила?
Чьей речью ласковой сумела подкупить?

Дай руку. Сядь. Зажги свой факел вдохновенный,
Пой, добрая! В тиши признаю голос твой
И стану, трепетный, коленопреклоненный,
Запоминать стихи, пропетые тобой.

Как сладко, позабыв житейское волнение,
От чистых помыслов пылать и потухать,
Могучее твое учуя дуновение,
И вечно девственным словам твоим внимать.

Пошли, небесная, ночам моим бессонным
Еще блаженных снов и славы и любви,
И нежным именем, едва произнесенным,
Мой труд задумчивый опять благослови.

<1857>

РЫБКА

Тепло на солнышке. Весна
Берет свои права;
В реке местами глубь ясна,
На дне видна трава.

Чиста холодная струя,
Слежу за поплавком, —
Шалунья рыбка, вижу я,
Играет с червяком.

Голубоватая спина,
Сама как серебро,
Глаза — бурмитских два зерна,
Багряное перо.

Идет, не дрогнет под водой,
Пора — червяк во рту!
Увы, блестящей полосой
Юркнула в темноту.

Но вот опять лукавый глаз
Сверкнул невдалеке.
Постой, авось на этот раз
Повиснешь на крючке!

<1858>

* * *

Был чудный майский день в Москве;
Кресты церковей сверкали,
Вились касатки под окном
И звонко щебетали.

Я под окном сидел, влюблен,
Душой и юн и болен.
Как пчелы, звуки вдалеке
Жужжали с колоколен.

Вдруг звуки стройно, как орган,
Запели в отдаленьи;
Невольно дрогнула душа
При этом стройном пеньи.

И шел и рос поющий хор,—
И непонятной силой
В душе сливался лик небес
С безмолвною могилой.

И шел и рос поющий хор,—
И черною грядою
Тянулся набожно народ
С открытой головою.

И миновал поющий хор,
Его я минул взором,
И гробик розовый прошел
За громогласным хором.

Струился теплый ветерок,
Покровы колыхая,
И мне казалось, что душа
Парила молодая.

Весенний блеск, весенний шум,
Молитвы стройной звуки —
Всё тихим веяло крылом
Над грустию разлуки.

За гробом шла, шатаясь, мать.
Надгробное рыданье! —
Но мне казалось, что легко
И самое страданье.

<1857>

* * *

В леса безлюдной стороны
И чуждой шумному веселью
Меня порой уносят сны
В твою приветливую келью.

В благоуханьи простоты,
Цветок — дитя дубравной сени,
Опять встречать выходишь ты
Меня на шаткие ступени.

Вечерний воздух влажно чист,
Вся покраснев, ты жмешь мне руки,
И, сонных лип тревожа лист,
Порхают гаснущие звуки.

1856 (?)

НА ЛОДКЕ

Ты скажешь, броса взор по голубой равнине:
«И небо и вода».

Здесь остановим челн, по самой середине
Широкого пруда.

Буграми с колеса волнение не клокочет, —
Чуть-чуть блестят струи.

Так тихо, будто ночь сама подслушать хочет
Рыдания любви.

До слуха чуткого мечтаньями ночными

Доходит плеск ручья.
Осыпана кругом звездами золотыми,
Покоится ладья.

Гляжу в твоё лицо, в сияющие очи,
О добрый гений мой!
Лицо твоё — как день, ты вся при свете ночи —
Как призрак неземной!

Теперь, волшебница, иной могучей власти
У неба не проси.
Всю эту ночь, весь блеск, весь пыл безумной страсти
Возьми — и погаси!

<1856>

* * *

Только станет смеркаться немножко,
Буду ждать, не дрогнет ли звонок,
Приходи, моя милая крошка,
Приходи посидеть вечерок.

Потушу перед зеркалом свечи —
От камина светло и тепло;
Стану слушать веселые речи,
Чтобы вновь на душе отлегло.

Стану слушать те детские грезы,
Для которых — все блеск впереди;
Каждый раз благодатные слезы
У меня закипают в груди.

До зари осторожной рукою
Вновь платок твой узлом завяжу,
И вдоль стен, озаренных луною,
Я тебя до ворот провожу.

1856 (?)

* * *

Расстались мы, ты странствуешь далече,
Но нам дано опять
В таинственной и ежечасной встрече
Друг друга понимать.

Когда в толпе живой и своевольной,
Поникнув головой,
Смолкаешь ты с улыбкою невольной, —
Я говорю с тобой.

И вечером, когда в аллее темной
Ты пьешь немую ночь,
Знай, тополи и звезды негой томной
Мне вызвались помочь.

Когда ты спишь, и полог твой кисейный
Раздвинется в лучах,
И сон тебя прозрачный, тиховойный
Уносит на крылах,

А ты, летя в эфир неизмеримый,
Лепечешь: «Я люблю», —
Я — этот сон, — и я рукой незримой
Твой полог шевелю.

1857

* * *

Я был опять в саду твоём,
И увела меня аллея
Туда, где мы весной вдвоем
Бродили, говорить не смея.

Как сердце робкое влекло
Излить надежду, страх и пени, —
А юный лист тогда назло
Нам посылал так мало тени.

Теперь и тень в саду темна,
И трав сильнее благоуханье;
Зато какая тишина,
Какое томное молчанье!

Один зарею соловей,
Таясь во мраке, робко свищет,
И под навесами ветвей
Напрасно взор кого-то ищет.

Июнь 1857

ГРЕЗЫ

Мне снился сон, что сплю я непробудно,
Что умер я и в грезы погружен
И на меня ласкательно и чудно
Надежды тень наваял этот сон.

Я счастья жду, какого — сам не знаю,
Вдруг колокол — и все уяснено;
И, просияв душой, я понимаю,
Что счастье в этих звуках. — Вот оно!

И звуки те прозрачнее, и чище,
И радостней всех голосов земли;
И чувствую — на дальнее кладбище
Меня под них, качая, понесли.

В груди восторг и сдавленная мука,
Хочу привстать, хоть раз еще вздохнуть
И, на волне ликующего звука
Умчась вдаль, во мраке потонуть.

<1859>

МОТЫЛЕК МАЛЬЧИКУ

Цветы кивают мне, головки наклоня,
И манит куст душистой веткой,
Зачем же ты один преследуешь меня
Своею шелковою сеткой?

Дитя кудрявое, любимый нежно сын
Неувядающего мая,
Позволь мне жизнью упиться день один,
На солнце радостном играя.

Постой, оно уйдет, и блеск его лучей
Замрет на западе далеком,
И в час таинственный я упаду в ручей,
И унесет меня потоком.

<1860>

* * *

Молчали листья, звезды рдели
И в этот час
С тобой на звезды мы глядели,
Они — на нас.

Когда всё небо так глядится
В живую грудь,
Как в этой груди затаится
Хоть что-нибудь?

Все, что хранит и будит силу
Во всем живом,
Все, что уносится в могилу
От всех тайком.

Что чище звезд, пугливей ночи,
Страшнее тьмы,
Тогда, взглянув друг другу в очи,
Сказали мы.

14 ноября 1859

НА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ

Мороз и ночь над далью снежной,
А здесь уютно и тепло,
И предо мной твой облик нежный
И детски чистое чело.

Полны смущенья и отваги,
С тобою, кроткий серафим,
Мы через дебри и овраги
На змее огненном летим.

Он сыплет искры золотые
На озаренные снега,
И снятся нам места иные,
Иные снятся берега.

В мерцаньи одинокой свечки,
Ночным путем утомлена,
Твоя старушка против печки
В глубокий сон погружена.

Но ты красою ненаглядной
Еще томиться мне позволь;
С какой заботою отрадной
Лелеет сердце эту боль!

И, серебром облиты лунным,
Деревья мимо нас летят,
Под нами с грохотом чугунным
Мосты мгновенные гремят.

И, как цветы волшебной сказки,
Полны сердечного огня,
Твои агатовые глазки
С улыбкой радости и ласки
Порою смотрят на меня.

Конец 1859 или начало 1860

* * *

Кричат перепела, трещат коростели,
Ночные бабочки взлетели,
И поздних соловьев над речкою вдали
Звучат порывистые трели.

В напевах вечера тревожною душой
Ищу былого наслажденья —
Увы, как прежде, в грудь живительной струей
Они не вносят откровенья!

Но тем мучительней, как близкая беда,
Меня томит вопрос лукавый:
Ужели подошли к устам моим года
С такою горькою отравой?

Иль век смолкающий в наследство передал
Свои бесплодные мне муки,
И в одиночестве мне допивать фиал,
Из рук переходивший в руки?

Проходят юноши с улыбкой предо мной,
И слышу я их шепот внятный:
Чего он ищет здесь средь жизни молодой
С своей тоскою непонятной?

Спешите, юноши, и верить и любить,
Вкушать и труд и наслажденье.
Придет моя пора — и скоро, может быть,
Мое наступит возрожденье.

Приснится мне опять весенний, светлый сон
На лоне божески едином,
И мира юного, покоен, примирен,
Я стану вечным гражданином.

<1859>

ГЕОРГИНЫ

Вчера — уж солнце рдело низко —
Средь георгин я шел твоих,
И как живая одалиска
Стояла каждая из них.

Как много пылких или томных,
С наклоном бархатных ресниц,
Веселых, грустных и нескромных
Отвсюду улыбалось лиц!

Казалось, нет конца их грезам
На мягком лоне тишины, —
А нынче утренним морозом
Они стоят опалены.

Но прежним тайным обаяньем
От них повеяло опять,
И над безмолвным увяданьем
Мне как-то совестно роптать.

<1859>

* * *

Если ты любишь, как я, бесконечно,
Если живешь ты любовью и дышишь,—
Руку на грудь положи мне беспечно:
Сердца биенья под нею услышишь.

О, не считай их! в них, силой волшебной,
Каждый порыв переполнен тобою;
Так в роднике за струею целебной
Прядает влага горячей струею.

Пей, отдавайся минутам счастливым,—
Трепет блаженства всю душу обнимет;
Пей — и не спрашивай взором пытливым,
Скоро ли сердце иссякнет, остынет.

<1859>

* * *

Еще акация одна
С цветами ветви опускала
И над беседкою весна
Душистых сводов не скругляла.

Дышал горячий ветерок,
В тени сидели мы друг с другом,
И перед нами на песок
День золотым ложился крутом.

Жужжал пчелами каждый куст,
Над сердцем счастье тяготело,
Я трепетал, чтоб с робких уст
Твое признание не слетело.

Вдали сливалось пенье птиц,
Весна над степью пронеслась,
И на концах твоих ресниц
Слеза нескромная светилась.

Я говорить хотел — и вдруг,
Нежданным шорохом пугая,
К твоим ногам, на ясный круг,
Спорхнула птичка полевая.

С какой мы робостью любви
Свое дыханье затаили!
Казалось мне, глаза твои
Не улетать ее молили.

Сказать «прости» чему ни будь
Душе казалось утратой...
И, собираясь упорхнуть,
Глядел на нас наш гость крылатый.

<1859>



* * *

Тихонько движется мой конь
По вешним заводям лугов,
И в этих заводях огонь
Весенних светит облаков.

И освежительный туман
Встает с оттаявших полей.
Заря, и счастье, и обман —
Как сладки вы душе моей!

Как нежно содрогнулась грудь
Над этой тенью золотой!
Как к этим призракам прильнуть
Хочу мгновенною душой!

1862 (?)

* * *

Чем тоске, и не знаю, помочь;
Грудь прохлады свежительной ищет,
Окна настезь, уснуть мне невмочь,
А в саду над ручьем во всю ночь
Соловей разливается-свищет.

Стройный тополь стоит под окном,
Листья в воздухе все онемели.
Точно думы всё те же и в нем,
Точно судит меня он с певцом,—
Не проронит ни вздоха, ни трели.

На заре только клонит ко сну,
Но лишь яркий багрянец замечу —
Разгорюсь — и опять не усну.
Знать, в последний встречаю весну
И тебя на земле уж не встречу.

1862

ROMANZERO

1

Знаю, зачем ты, ребенок больной,
Так неотступно все смотришь за мной,
Знаю, с чего на большие глаза
Из-под ресниц наплывает слеза.

Там у вас душно, там жаркая грудь
Разу не может прохладой дохнуть,
Да, нагоняя на слабого страх,
Плавает коршун на темных кругах.

Только вот здесь, средь заветных цветов,
Тень распростерла таинственный кров,
Только в сердечке поникнувших роз
Капли застыли младенческих слез.

22 июля 1882

Встречу ль яркую в небе зарю,
 Ей про тайну мою говорю,
 Подойду ли к лесному ключу,
 И ему я про тайну шепчу.

А как звезды в ночи задрожат,
 Я всю ночь им рассказывать рад;
 Лишь когда на тебя я гляжу,
 Ни за что ничего не скажу.

13 июля 1882

В страдании блаженства стою пред тобою,
 И смотрит мне в очи душа молодая.
 Стою я, овеянный жизнью иною,
 Я с речью нездешней, я с вестью из рая.

Слетел этот миг, не земной, не случайный,
 Над ним так бессильны житейские грозы,
 Но вечной уснет он сердечною тайной,
 Как вижу тебя я сквозь яркие слезы.

И в трепете сердце, и трепетны руки,
 В восторге склоняюсь пред чуждою властью,
 И мукой блаженства исполнены звуки,
 В которых сказаться так хочется счастьем.

2 августа 1882

Вчерашний вечер помню живо:
 Синели глубиной небеса,
 Лист трепетал, красноречиво
 Глядели звезды нам в глаза.

Светились зори издалека,
 Фонтан сверкал так горячо,
 И Млечный Путь бежал широко
 И звал: смотри! еще! еще!

Сегодня все вокруг заснуло,
 Как дымкой твердь заволочло,
 И в полумраке затонуло
 Воды игривое стекло.

Но не томлюсь среди тумана,
Меня не давит мрак лесной, —
Я слышу плеск живой фонтана
И чую звезды над собой.

5 августа 1882

ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ

Помнишь тот горячий ключ,
Как он чист был и бегуч,
Как дрожал в нем солнца луч
И качался,
Как пестрел соседний бор,
Как белели выси гор,
Как тепло в нем звездный хор
Повторялся.

Обмелел он и остыл,
Словно в землю уходил.
Оставляя следом ил
Бледно-красный.
Долго-долго я алкал,
Жилу жаркую меж скал
С тайной ревностью искал,
Но напрасной.

Вдруг в горах промчался гром,
Потряслась земля кругом,
Я бежал, покинув дом,
Мне грозящий, —
Оглянулся — чудный вид:
Старый ключ прошиб гранит
И над бездною висит,
Весь кипящий!

<1870>

* * *

Отчего со всеми я любезна,
Только с ним нас разделяет бездна?
Отчего с ним, хоть его бегу я,
Не встречаться всюду не могу я?

Отчего, когда его увижу,
Словно весь я свет возненавижу?
Отчего, как с ним должна остаться,
Так и рвусь над ним же издеваться?
Отчего — кто разрешит задачу? —
До зари потом всю ночь проплачу?

<1882>

ОСЕНЬЮ

Когда сквозная паутина
Разносит нити ясных дней
И под окном у селянина
Далекий благовест слышней,

Мы не грустим, пугаясь снова
Дыханья близкого зимы,
А голос лета прожитого
Яснее понимаем мы.

1870(?)



* * *

В душе, измученной годами,
Есть неприступный чистый храм,
Где все нетленно, что судьбами
В отраду посылалось нам.

Для мира путь к нему заглохнет,—
Но в этот девственный тайник,
Хотя б и мог, скорей иссохнет,
Чем путь укажет, мой язык.

Скажи же — как, при первой встрече,
Успокоительно светла,
Вчера — о, как оно далеке! —
Живая ты в него вошла?

И вот отныне поневоле
В блаженной памяти моей
Одной улыбкой нежной боле,
Одной звездой любви светлей.

1867

КЛЮЧ

Меж селеньем и рощей нагорной
Вьется светлою лентой река,
А на храме над озимью черной
Яркий крест поднялся в облака.

И толпой голосистой и жадной
Все к заре набежит со степей,
Точно весть над волною прохладной
Пронеслась: освежись и испей!

Но в шумящей толпе ни единый
Не присмотрится к кущам дерёв,
И не слышен им зов соловьиный
В реве стад и плесканьи вальков.

Лишь один в час вечерний, заветный,
Я к журчащему сладко ключу.
По тропинке лесной, незаметной,
Путь обычный во мраке сыщу.

Дорожа соловьиным покоем,
Я ночного певца не спугну
И устами, спаленными зноем,
К освежительной влаге прильну.

1870

Чем безнадежнее и строже
Года разъединяют нас,
Тем сердцу моему дороже,
Дитя, с тобой крылатый час.

Я лет не чувствую суровых,
Когда в глаза ко мне порой
Из-под ресниц своих шелковых
Заглянет ангел голубой.

Не в силах ревности мятежность
Я победить и скрыть печаль,—
Мне эту девственную нежность
В глазах толпы оставить жаль!

Я знаю, жизнь не даст ответа
Твоим несбыточным мечтам,
И лишь одна душа поэта —
Их вечно празднующий храм.

1861 (?)

СОНЕТ

Когда от хмелю преступлений
Толпа развратная буйна
И рад влачить в грязи злой гений
Мужей великих имена,—

Мои сгибаются колени
И голова преклонена;
Зову властительные тени
И их читаю письма.

В тени таинственного храма
Учусь сквозь волны фимиама
Словам наставников внимать

И, забывая гул народный,
Вверяясь думе благородной,
Могучим вздохом их дышать.

<1866>

* * *

Толпа теснилася. Рука твоя дрожала,
Сдвигая складками бегущий с плеч атлас.
Я знаю: «завтра» ты невнятно прошептала;
Потом ты вспыхнула и скрылася из глаз.

А он? С усилием сложил он накрест руки,
Стараясь подавить восторг в груди своей,
И часа позднего пророческие звуки
Смешались с топотом помчавшихся коней.

Казались без конца тебе часы ночные,
Ты не смежила вежд горячих на покой
И сильфы резвые и феи молодые
Все «завтра» до зари шептали над тобой.

<1860>

* * *

Встает мой день, как труженик убогой
И светит мне без силы и огня,
И я бреду с заботой и тревогой.

Мы думой врозь, — тебе не до меня.
Но вот луна прокралась из саду,
И гасит ночь в руке дрожащей дня

Своим дыханьем яркую лампаду.
Таинственным окружена огнем,
Сама идешь ты мне принести отраду.

Забыто всё, что угнетало днем,
И, полные слезами умиления,
Мы об руку, блаженные, идем.

И тени нет тяжелого сомненья.

1865(?)

* * *

Как нежишь ты, серебряная ночь,
В душе расцвет немой и тайной силы!
О, окрыли — и дай мне превозмочь
Весь этот тлен, бездушный и унылый!

Какая ночь! Алмазная роса
Живым огнем с огнями неба в споре,
Как океан, разверзлись небеса,
И спит земля — и теплится, как море.

Мой дух, о ночь, как падший серафим,
Признал родство с нетленной жизнью звездной
И, окрылен дыханием твоим,
Готов лететь над этой тайной бездной.

1865(?)

* * *

Блеском вечерним овеяны горы.
Сырость и мгла набегают в долину.
С тайной мольбою подымаю я взоры:
«Скоро ли холод и сумрак покину?»

Вижу на том я уступе румяном,
Сдвинуты кровель уютные гнезды;
Вон засветились под старым каштаном
Милые окна, как верные звезды.

Кто ж меня втайне пугает обманом:
«Сердцем, как прежде, ты чист ли и молод?
Что, если там, в этом мире румяном,
Снова охватит и сумрак и холод?»

<1866>

* * *

Кому венец: богине ль красоты
Иль в зеркале ее изображенью?
Поэт смущен, когда дивишься ты
Богатому его воображенью.

Не я, мой друг, а божий мир богат,
В пылинке он лелеет жизнь и множит,
И что один твой выражает взгляд,
Того поэт пересказать не может.

<1865>

Напрасно ты восходишь надо мной
Посланицей волшебных сновидений
И, юностью сияя заревой,
Ждешь от меня похвал и песнопений.

Как ярко ты и нежно ни гори
Над каменным угаснувшим Мемноном,—
На яркие приветствия зари
Он отвечать способен только стоном.

1865

РОЗА

У пурпурной колыбели
Трели мая прозвенели,
Что весна опять пришла.
Гнется в зелени береза,
И тебе, царица роза,
Брачный гимн поет пчела.

Вижу, вижу! счастья сила
Яркий свиток твой раскрыла
И увлажила росой.
Необъятный, непонятный,
Благовонный, благодатный
Мир любви передо мной.

Если б движущий громами
Повелел между цветами
Цвезть нежнейшей из богинь,
Чтоб безмолвною красою
Звать к любви, когда весною
Темен лес и воздух синь,—

Ни Киприда и ни Геба,
Спрятав в сердце тайны неба
И с безмолвьем на челе,
В час блаженный расцветанья
Больше страстного признанья
Не поведали б земле.

1864(?)

ТОПОЛЬ

Сады молчат. Унылыми глазами
С унынием в душе гляжу вокруг,
Последний лист разметан под ногами.
Последний лучезарный день потух.

Лишь ты один над мертвыми степями
Таишь, мой тополь, смертный свой недуг
И, трепеща по-прежнему листьями,
О вешних днях лепечешь мне как друг.

Пускай мрачней, мрачнее дни за днями
И осени тлетворный веет дух;
С подъятыми ты к небесам ветвями
Стоишь один и помнишь теплый юг.

1859

* * *

Только встречу улыбку твою
Или взгляд уловлю твой отрадный,—
Не тебе песнь любви я пою,
А твоей красоте ненаглядной.

Про певца по зарям говорят,
Будто розу влюбленною трелью
Восхвалять неумолчно он рад
Над душистой ее колыбелью.

Но безмолвствует, пышно чиста,
Молодая владычица сада:
Только песне нужна красота,
Красоте же и песен не надо.

1873(?)

ПСЕВДОПОЭТУ

Молчи, поникни головою,
Как бы представ на страшный суд,
Когда случайно пред тобою
Любимца муз упомянут!

На рынок! Там кричит желудок,
Там для стоокого слепца
Ценней грошовый твой рассудок
Безумной прихоти певца.

Там сбыт малеванному хламу,
На этой затхлой площади, —
Но к музам, к чистому их храму,
Продажный раб, не подходи!

Влача по прихоти народа
В грязи низкопоклонный стих,
Ты слова гордого *свобода*
Ни разу сердцем не постиг.

Не возносился богомольно
Ты в ту свежую мглу,
Где беззаветно лишь привольно
Свободной песне да орлу.

1866

* * *

С какой я негою желанья
Одной звезды искал в ночи!
Как я любил ее мерцанье,
Ее алмазные лучи!

Хоть на заре, хотя мгновенно
Средь набежавших туч видна,
Она так явно, так нетленно
На небе теплилась одна.

Любовь, участие, забота
Моим очам дрожали в ней
В степи, с речного поворота,
С ночного зеркала морей.

Но столько думы молчаливой
Не шлет мне луч ее нигде,
Как у корней плакучей ивы,
В твоём саду, в твоём пруде.

<1863>

* * *

Я уезжаю. Замирает
В устах обычное «прости».
Куда судьба меня кидает?
Куда мне грусть мою нести?

Молчу. Ко мне всегда жестокой
Была ты много, много лет,
Но, может быть, в стране далекой
Я вдруг услышу твой привет.

В долине иногда, прощаясь,
Крутой минувши поворот,
Напрасно странник, озираясь,
Другого голосом зовет.

Но смерклось, — над стеною черной
Горят извивы облаков, —
И там, внизу, с тропы нагорной
Ему прощальный слышен зов.

Середина 50-х годов



* * *

Не избегай; я не молю
Ни слез, ни сердца тайной боли,
Своей тоске хочу я воли
И повторять тебе: «люблю».

Хочу нестись к тебе, лететь,
Как волны по равнине водной,
Поцеловать гранит холодный,
Поцеловать — и умереть!

1862(?)

* * *

В благословенный день, когда стремлюсь душою
В блаженный мир любви, добра и красоты,
Воспоминание выносит предо мною
Нерукотворные черты.

Пред тенью милою коленопреклоненный,
В слезах молитвенных я сердцем оживу
И вновь затрепещу, тобою просветленный, —
Но всё тебя не назову.

И тайной сладостной душа моя мятется,
Когда ж окончится земное бытиё,
Мне ангел кротости и грусти отзовется
На имя нежное твое.

<1857>

ЗЕВС

Шум и гам, — хохочут девы,
В медь колотят музыканты,
Под визгливые напевы
Скачут, пляшут корибанты.

В кипарисной роще Крита
Вновь заплакал мальчик Реи,
Потянул к себе сердито
Он сосцы у Амальтеи.

Юный бог уж ненавидит,
Эти крики местью дышат, —
Но земля его не видит,
Небеса его не слышат.

15 ноября 1859

К СИКСТИНСКОЙ МАДОННЕ

Вот сын ее, — он — тайна Иеговы —
Лелеем девы чистыми руками.
У ног ее земля под облаками,
На воздухе нетленные покровы.

И, преклонясь, с Варварою готовы
Молиться ей мы на коленях сами
Или, как Сикст, блаженными очами
Встречать того, кто рабства сверг оковы.

Как ангелов, младенцев окрыленных,
Узришь и нас, о дева, не смущенных:
Здесь угасает пред тобой тревога.

Такой тебе, Рафаэль, вестник бога,
Тебе и нам явил твой сон чудесный
Царицу жен — царицею небесной!

1864(?)

МУЗЕ

Пришла и села. Счастлив и тревожен,
Ласкательный твой повторяю стих;
И если дар мой пред тобой ничтожен,
То ревностью не ниже я других.

Заботливо храня твою свободу,
Непосвященных я к тебе не звал,
И рабскому их буйству я в угоду
Твоих речей не осквернял.

Всё та же ты, заветная святыня,
На облаке, незримая земле,
В венце из звезд, нетленная богиня,
С задумчивой улыбкой на челе.

<1882>

* * *

Не смейся, не дивися мне,
В недоуменьи детски грубом,
Что перед этим дряхлым дубом
Я вновь стою по старине.

Не много листьев на челе
Больного старца уцелели;
Но вновь с весною прилетели
И жмутся горлинки в дупле.

1884

* * *

День проснется — и речи людские
Закипят раздраженной волной,
И помчит, разливаясь, стихия
Все, что вызвано алчной нуждой.

И мои зажурчат песнопенья, —
Но в зыбучих струях ты найдешь
Разве ласковой думы волненья,
Разве сердца напрасную дрожь.

<1884>

* * *

— Ты был для нас всегда вон той скалою,
Взлетевшей к небесам, —
Под бурями, под ливнем и грозою
Невозмутимый сам.

Защищены от севера тобою,
Над зеркалом наяд
Росли мы здесь веселою семьею —
Цветущий вертоград.

И вдруг вчера — тебя я не узнала:
Ты был как божий гром...
Умолкла я, — я вся затрепетала
Перед твоим лицом.

— О да, скала молчит; но неужели
Ты думаешь: ничуть
Все бури ей, все ливни и метели
Не надрывают грудь?

Откуда же — ты помнишь — это было:
Вдруг землю потрясло,
И что-то в ночь весь сад пробороздило,
И следом всё легло?

И никому не рассказало море,
Что кануло ко дну, —
А то скала свое бывшее горе
Швырнула в глубину.

2 июня 1883

БАБОЧКА

Ты прав. Одним воздушным очертаньем
Я так мила.
Весь бархат мой с его живым миганьем —
Лишь два крыла.

Не спрашивай: откуда появилась?
Куда спешу?
Здесь на цветок я легкий опустилась
И вот — дышу.

Надолго ли, без цели, без усилъя,
Дышать хочу?
Вот-вот сейчас, сверкнув, раскину крылья
И улечу.

<1884>



С бородою седою верховный я жрец,
На тебя возложу я душистый венец,
И нетленную солью горящих речей
Я осыплю невинную роскошь кудрей.
Эту детскую грудь рассеку я потом
Вдохновенного слова звенящим мечом,
И раскроет потомку минувшего мгла,
Что на свете всех чище ты сердцем была.

<1884>

— Ты так любишь гулять;
Отчего ты опять
Робко жмешься?
Зори — нет их нежней,
И таких уж ночей
Не дождешься.

— Милый мой, мне невмочь,
Истомилась, всю ночь
Тосковала.
Я бежала к прудам,
А тебя я и там
Не сыскала.

Но уж дальше к пруду
Ни за что не пойду,
Хоть брани ты.
Там над самой водой
Странный, черный, кривой
Пень ракиты.

И не вижу я пня,
И хватает меня
Страх напрасный,—
Так и кажется мне,
Что стоит при луне
Тот ужасный!

1883

Говорили в древнем Риме,
Что в горах, в пещере темной,
Богоравная Сивилла
Вечно юная живет,
Что ей всё открыли боги,
Что в груди чужой сокрыто,
Что таит небесный свод.

Только избранным доступно
Хоть не самую богиню,
А священное жилище
Чародейки созерцать.
В ясном зеркале ты можешь,
Взор в глаза свои вперяя,
Ту богиню увидеть.

Неподвижна и безмолвна,
Для тебя единой зрима
На пороге черной двери —
На нее тогда смотри!
Но когда заслышишь песню,
Вдохновенную тобою, —
Эту дверь мне отпри.

3 апреля 1883

ВОЛЬНЫЙ СОКОЛ

Не вскормлён ты пищей нежной,
Не унесен к зиме в тепло,
И каждый час рукой прилежной
Твое не холено крыло.

Там, над скалой, вблизи лазури,
На умирающем дубу,
Ты с первых дней изведal бури
И с ураганами борьбу.

Дразнили молодую силу
И зной, и голод, и гроза,
И восходящему светилу
Глядел ты за море в глаза.

Зато, когда пора приспела,
С гнезда ты крылья распустил
И, взмахам их доверяясь смело,
Ширяясь, по небу поплыл.

<1884>

* * *

Не вижу ни красы души твоей нетленной,
Ни пышных локонов, ни ласковых очей,
Помимо я гляжу на жребий отдаленный
И слышу приговор безжалостных людей.

И только чувствую, что ты вот тут — со мною,
Со мной! — и молодость, и суетную честь,
И все, чем я дышал, — блаженною мечтою
Лечу к твоим ногам младенческим принесть.

<1884>

* * *

Ныне первый мы слышали гром,
Вот повеяло сразу теплом,
И пришло мне на память сейчас,
Как вчера ты измучила нас.
Целый день, холодна и бледна,
Ты сидела, безмолвно одна;
Вдруг ты встала, ко мне подошла
И сказала, что все поняла:
Что напрасно жалеть о былом,
Что нам тесно и тяжело вдвоем,
Что любви затерялась стезя,
Что так жить, что дышать так нельзя,
Что ты хочешь — решилась — и вдруг
Разразился весенний недуг,
И, забывши о грозных словах,
Ты растаяла в жарких слезах.

<1883>

МУЗА

Мы рождены для вдохновенья,
Для звуков сладких и молитв.

Пушкин

Ты хочешь проклинать, рыдая и стена,
Бичей подыскивать к закону.
Поэт, остановись! не призывай меня,—
Зови из бездны Тизифону.

Пленительные сны лелея наяву,
Своей божественною властью
Я к наслаждению высокому зову
И к человеческому счастью.

Когда, бесчинствами обиженный опять,
В груди заслышишь зов к рыданью,—
Я ради мук твоих не стану изменять
Свободы вечному призванью.

Страдать! — Страдают все — страдает темный зверь,
Без упованья, без сознанья,—
Но перед ним туда навек закрыта дверь,
Где радость теплится страданья.

Ожесточенному и черствому душой
Пусть эта радость незнакома.
Зачем же лиру бьешь ребяческой рукой,
Что не труба она погрома?

К чему противиться природе и судьбе? —
На землю сносят эти звуки
Не бурю страстную, не вызовы к борьбе,
А исцеление от муки.

8 мая 1887

* * *

Жду я, тревогой объят,
Жду тут на самом пути:
Этой тропой через сад
Ты обещалась прийти.

Плачась, комар пропоет,
Свалится плавно листок...
Слух, раскрываясь, растет,
Как полуночный цветок.

Словно струну оборвал
Жук, налетевши на ель;
Хрипло подругу позвал
Тут же у ног коростель.

Тихо под сенью лесной
Спят молодые кусты...
Ах, как пахнуло весной!..
Это наверное ты!

13 декабря 1886

* * *

Солнца луч промеж лип был и жгуч и высок,
Пред скамьей ты чертила блестящий песок,
Я мечтам золотым отдавался вполне,—
Ничего ты на все не ответила мне.

Я давно угадал, что мы сердцем родня,
Что ты счастье свое отдала за меня,
Я рвался, я твердил о не нашей вине,—
Ничего ты на все не ответила мне.

Я молил, повторял, что нельзя нам любить,
Что минувшие дни мы должны позабыть,
Что в грядущем цветут все права красоты,—
Мне и тут ничего не ответила ты.

С опочившей я глаз был не в силах отвести,—
Всю погасшую тайну хотел я прочесть.
И лица твоего мне простили ль черты? —
Ничего, ничего не ответила ты!

<1885>

* * *

Как беден наш язык! — Хочу и не могу.—
Не передать того ни другу, ни врагу,
Что буйствует в груди прозрачною волною.

Напрасно вечное томление сердец,
И клонит голову маститую мудрец
Пред этой ложью роковою.

Лишь у тебя, поэт, крылатый слова звук
Хватает на лету и закрепляет вдруг
И темный бред души, и трав неясный запах;
Так, для безбрежного покинув скудный дол,
Летит за облака Юпитера орел,
Сноп молнии неся мгновенный в верных лапах.

11 июня 1887

* * *

Ты помнишь, что́ было тогда,
Как всюду ручьи бушевали
И птиц косяками стада
На север, свистя, пролетали.

И видели мы средь ветвей
Еще не укрытых листьями,
Как, глазки закрыв, соловей
Блаженствовал в песне над нами.

К себе зазывала любовь
И блеском и страстью пахучей,
Не только весельем дубов,
Но счастьем и ивы плакучей.

Взгляни же вокруг ты теперь:
Все грустно молчит, умирая,
И настезь раскинута дверь
Из прежнего светлого рая.

И новых приветливых звезд,
И новой любовной денницы,
Трудами измучены гнезд,
Взалкали усталые птицы.

Не может ничто устоять
Пред этой тоской неизбежной,
И скоро пустынную гладь
Оденет покров белоснежный.

6 сентября 1885

* * *

Если радует утро тебя,
Если в пышную веришь примету,—
Хоть на время, на миг полюбя,
Подари эту розу поэту.

Хоть полюбишь кого, хоть снесешь
Не одну ты житейскую грóзу,—
Но в стихе умиленном найдешь
Эту вечно душистую розу.

10 января 1887

РЕБЕНКУ

Я слышу звон твоих речей,
Куда резвиться ни беги ты.
Я вижу детский блеск очей
И запывавшие ланиты.

Постой,— шалить не долгий срок:
Май остудить тебя сумеет,
И розы пурпурный шипок,
Вдруг раскрываясь, побледнеет.

18 апреля 1886

* * *

Хоть нельзя говорить, хоть и взор мой поник,—
У дыханья цветов есть понятный язык:
Если ночь унесла много грез, много слез,
Окружусь я тогда горькой сладостью роз!
Если тихо у нас и не веет грозой,
Я безмолвно о том намекну резедой;
Если нежно ко мне приласкалась мать,
Я с утра уже буду фиалкой дышать;
Если ж скажет отец «не грусти,— я готов»,—
С благовоньем войду апельсиновых цветов.

3 августа 1887

ГОРНАЯ ВЫСЬ

Превыше туч, покинув горы
И наступя на темный лес,
Ты за собою смертных взоры
Зовешь на синеву небес.

Снегов серебряных порфира
Не хочет праха прикрывать;
Твоя судьба — на гранях мира
Не снисходить, а возвышать.

Не тронет вздох тебя бессильный,
Не омрачит земли тоска;
У ног твоих, как дым кадильный,
Вияся, тают облака.

Июль 1886



* * *

Как богат я в безумных стихах!
Этот блеск мне отраден и нужен:
Все алмазы мои в небесах,
Все росинки под ними жемчужин.

Выходи, красота, не робей!
Звуки есть, дорогие есть краски:
Это все я, поэт-чародей,
Расточу за мгновение ласки.

Но когда ты приколешь цветок,
Шаловливо иль с думой лукавой,
И, как в дымке, твой кроткий зрачок
Загорится сердечной отравой,

И налет молодого стыда
Чуть ланиты овеет зарею,—
О, как беден, как жалок тогда,
Как беспомощен я пред тобою!

1 февраля 1887

* * *

Долго снились мне вопли рыданий твоих,—
То был голос обиды, бессилия плач;
Долго, долго мне снился тот радостный миг,
Как тебя умолил я — несчастный палач.

Проходили года, мы умели любить,
Расцветала улыбка, грустила печаль;
Проносились года,— и пришлось уходить:
Уносило меня в неизвестную даль.

Подала ты мне руку, спросила: «Идешь?»
Чуть в глазах я заметил две капельки слез;
Эти искры в глазах и холодную дрожь
Я в бессонные ночи навек перенес.

2 апреля 1886

* * *

Из дебрей туманы несмело
Родное закрыли село;
Но солнышком вешним согрело
И ветром их вдаль разнесло.

Знать, долго скитаться наскуча
Над ширью земель и морей,
На родину тянется туча,
Чтоб только поплакать над ней.

9 июня 1886

* * *

Есть ночи зимней блеск и сила,
Есть непорочная краса,
Когда под снегом опочила
Вся степь, и кровли, и леса.

Сбежали тени ночи летней,
Тревожный ропот их исчез,
Но тем всевластней, тем заметней
Огни безоблачных небес.

Как будто волею всезрящей
На этот миг ты посвящен
Глядеть в лицо природы спящей
И понимать всемирный сон.

<1885>

* * *

Через тесную улицу здесь, в высоте,
Отворяя порою окошко,
Я не раз, отдаваясь лукавой мечте,
Узнаю тебя, милая крошка.

Всё мне кажется, детски застенчивый взор
Загорается вдруг не напрасно,
И ко мне наклоненный твой пышный пробор
Я уж вижу не слишком ли ясно?

Вот и думаю: встретиться нам на земле
Далеко так, пожалуй, и низко,
А вот здесь-то, у крыш, в набегающей мгле,
Так привольно, так радостно-близко!

6 июня 1887

* * *

В вечер такой золотистый и ясный,
В этом дыхании весны всепобедной
Не поминай мне, о друг мой прекрасный,
Ты о любви нашей робкой и бедной.

Дышит земля всем своим ароматом,
Небу развёрстая, только вздыхает;
Самое небо с нетленным закатом
В тихом заливе себя повторяет.

Что же тут мы или счастье наше?
Как и помыслить о нем не стыдиться?
В блеске, какого нет шире и краше,
Нужно безумствовать — или смириться!

Январь 1886

* * *

Ты вся в огнях. Твоих зарниц
И я сверканьями украшен;
Под сенью ласковых ресниц
Огонь небесный мне не страшен.

Но я боюсь таких высот,
Где устоять я не умею.
Как сохранить мне образ тот,
Что придан мне душой твоею?

Боюсь — на бледный облик мой
Падет твой взор неблагоклонный,
И я очнусь перед тобой,
Угасший вдруг и опаленный.

3 августа 1886

* * *

Вечный хмель мне не отрада —
Не ему моя любовь,
Не тяну я винограда
Одурающую кровь.

Но порой, резво и пылко
Обновляя жизнь мою,
Для меня несет бутылка
Золотистую струю.

Рвутся нити, пробка рвется,
Напряженная давно,
И в стакан шумящий льется
Искрометное вино.

29 июля 1887

* * *

Сегодня день твой просветленья,
И на вершине красоты
Живую тайну вдохновенья
Всем существом вещаешь ты.

Мечты несбыточной подруга,
Царишь с поэтом ты вдвоем, —
А завтра, верно, мы друг друга
И не найдем и не поймем.

Так, невозможно-несомненно,
Огнем пронизан золотым,
С закатом солнечным мгновенно
Чертогов ярких тает дым.

19 июня 1887

* * *

Полуразрушенный, полужилец могилы,
О таинствах любви зачем ты нам поешь?
Зачем, куда тебя домчать не могут силы,
Как дерзкий юноша, один ты нас зовешь?

— Томлюся и пою. Ты слушаешь и млеешь;
В напевах старческих твой юный дух живет.
Так в хоре молодом: *Ах, слышишь, разумеешь!* —
Цыганка старая одна еще поет.

4 января 1888

* * *

Только что спрячется солнце,
Неба затеплив красу,
Тихо к тебе под оконце
Песню свою понесу.

Чистой и вольной душою,
Ясной и свежей, как ночь,
Смейся над песнью больною,
Прочь отгоняй ее, прочь!

Как бы за легким вниманьем
В вольное сердце дотоль
Вслед за живым состраданьем
Та же не вкралася боль!

14 января 1888

*QUASI UNA FANTASIA**

Сновиденье,
Пробужденье,
Таает мгла.
Как весною
Надо мною
Высь светла.

Неизбежно,
Страстно, нежно
Уповать,
Без усилий
С плеском крылий
Залетать

В мир стремлений,
Преклонений
И молитв;
Радость чуя,
Не хочу я
Ваших битв.

31 декабря 1889

РАКЕТА

Горел напрасно я душой,
Не озаряя ночи черной:
Я лишь вознесся пред тобой
Стезею шумной и проворной.

Лечу на смерть вослед мечте.
Знать, мой удел — лелеять грезы.
И там со вздохом в высоте
Рассыпать огненные слезы.

24 января 1888

* Вроде фантазии (ит.).

* * *

Упреком, жалостью внушенным,
Не растравляй души больной;
Позволь коленопреклоненным
Мне оставаться пред тобой!

Горя над суетной землею,
Ты милосердно разреши
Мне упиваться чистотою
И красотой твоей души.

Глядеть, каким прозрачным светом
Окружена ты на земле,
Как божий мир при свете этом
В голубоватой тонет мгле!

О, я блажен среди страданий!
Как рад, себя и мир забыв,
Я подступающих рыданий
Горячий сдерживать прилив!

31 января 1888

АЛМАЗ

Не украшать чело царицы,
Не резать твердое стекло,
Те разноцветные зарницы
Ты рассыпаешь так светло.

Нет! В переменах жизни тленной
Среди явлений пестрых — ты
Все лучезарный, неизменный
Хранитель вечной чистоты.

9 февраля 1888

* * *

Как трудно повторять живую красоту
Твоих воздушных очертаний;
Где силы у меня схватить их на лету
Средь непрестанных колебаний?

Когда из-под ресниц пушистых на меня
Блеснут глаза с просветом ласки,
Где кистью трепетной я наберу огня?
Где я возьму небесной краски?

В усердных поисках все кажется: вот-вот
Приемлет тайна лик знакомый,—
Но сердца бедного кончается полет
Одной бессильною истомой.

26 февраля 1888

ЗНОЙ

Что за зной! Даже тут, под ветвями,
Тень слаба и открыто кругом.
Как сошлись и какими судьбами
Мы одни на скамейке вдвоем?

Так молчать нам обоим неловко,
Что ни стань говорить — невпопад;
За тяжелой косою головка
Словно хочет склониться назад.

И как будто истомою жадной
Нас весна на припеке прожгла,
Только в той вон аллее прохладной
Средь полудня вечерняя мгла...

29 мая 1888

* * *

Теснее и ближе сюда!
Раскрой ненаглядное око!
Ты — в сердце с румянцем стыда,
Я — луч твой, летящий далеко.

На горы во мраке ночном,
На серую тучку заката,
Как кистью, я этим лучом
Наброшу румянца и злата.

Напрасно холодная мгла,
Чернея, все виснет над нами,—
Пускай и безбрежность сама
От нас загорится огнями.

4 сентября 1888

* * *

Роями поднялись крылатые мечты
В весне кругом себя искать душистой пищи,
Но на закате дня к себе, царица, ты
Их соберешь ко сну в таинственном жилище.

А завтра на заре вновь крылья зажужжат,
Чтобы к незримому, к безвестному стремиться:
Где за ночь расцвело, где первый аромат,—
Туда перенестись и в пышной неге скрыться.

17 февраля 1889

ОНА

Две незабудки, два сапфира —
Ее очей приветный взгляд,
И тайны горного эфира
В живой лазури их сквозят.

Ее кудрей руно златое
В таком свету, какой один,
Изображая неземное,
Сводил на землю Перуджин.

20 марта 1889

НА КАЧЕЛЯХ

И опять в полусвете ночном
Средь веревок, натянутых туго,
На доске этой шаткой вдвоем
Мы стоим и бросаем друг друга.

И чем ближе к вершине лесной,
Чем страшнее стоять и держаться,
Тем отрадней взлетать над землей
И одним к небесам приближаться.

Правда, это игра, и притом
Может выйти игра роковая,
Но и жизнью играть нам вдвоем —
Это счастье, моя дорогая!

26 марта 1890

К НЕЙ

Кто постигнет улыбку твою
И лазурных очей выражение,
Тот поймет и молитву мою,
И восторженных уст песнопенье.

День смолкает над жаркой землей,
И, нетленной пылая порфирой,
Вот он сам, Аполлон молодой,
Вдаль уходит с колчаном и лирой.

Пусть ты отблеск, пленяющий нас,
Пусть за ним ты несешься мечтою,
Но тебе — наш молитвенный час,
Что слетает к нам в душу с зарею.

21 апреля 1890

* * *

Была пора, и лед потока
Лежал под снежной пеленой,
Недосыгаемо для ока
Таился речки бег живой.

Пришла весна, ее дыхание
Над снежным пронеслось ковром,
И стали видны содроганья
Струи, бегущей подо льдом.

И близки дни, когда все блага
К нам низведет пора любви
И мне зарей раскроет влага
Объятая чистые свои.

1 апреля 1890

* * *

Давно ль на шутки вызывала
Она, дитя, меня сама?
И вот сурово замолчала,
Тепло участия пропало,
И на душе ее зима.

— Друг, не зови ее суровой.
Что снегом ты холодным счел —
Лишь пробужденье жизни новой,
Сплошной душистый цвет садовый,
Весенний вздох и счастье пчел.

22 апреля 1890

* * *

Людские так грубы слова,
Их даже нашептывать стыдно!
На цвет, проглянувший едва,
Смотреть при тебе мне завидно.

Вот роза раскрыла уста,—
В них дышит моленье немое,
Чтоб ты пребывала чиста,
Как сердце ее молодое.

Вот, нежа дыханье и взор,
От счастья роза увяла
И свой благовонный убор
К твоим же ногам разроняла.

Начало октября 1889

* * *

Из тонких линий идеала,
Из детских очерков чела
Ты ничего не потеряла,
Но все ты вдруг приобрела.

Твой взор открытей и бесстрашней,
Хотя душа твоя тиха;
Но в нем сияет рай вчерашний
И соучастница греха.

11 ноября 1890

* * *

Если бы в сердце тебя я не грел, не ласкал,
Ни за что б я тебе этих слов не сказал;
Я боялся б тебя возмутить, оскорбить
И последнюю искру в тебе погасить.

Или воли не хватит смотреть и страдать?
Я бы мог еще долго и долго молчать,—
Но, начав говорить о другом,— я солгу,
А глядеть на тебя я и лгать — не могу.

18 января 1891



* * *

Весь вешний день среди стремленья
Ты безотрадно провела
И след улыбки утомленья
В затишье ночи принесла.

Но, верить и любить готова,
Душа к стопам твоим летит,
И все мне кажется, что снова
Живее цвет твоих ланит.

Кто, сердцеведец, разгадает —
Что в этом кроется огне?
Былая скорбь, что угасает,
Или заря навстречу мне?

21 января 1891

* * *

Безобидней всех и проще
В общем хоре голосистом
Вольной птицей в вешней роще
Раздражал я воздух свистом.

Все замолкло пред зимою,
Нет и птиц на голой ветке,
Но, счастливец,— я тобою
В золотой задержан клетке.

Дай мне ручку, дорогая,—
К ней прильнуть трепещут крылья!
Пусть умру я, распевая,
От восторгов и усилья.

22 января 1891

* * *

Завтра — я не различаю;
Жизнь — запутанность и сложность!
Но сегодня, умоляю,
Не шепчи про осторожность!

Где владеть собой, коль глазки
Влагой светятся туманной,
В час, когда уведят ласки
В этот круг благоуханный?

Размышлять не время, видно,
Как в ушах и в сердце шумно;
Рассуждать сегодня — стыдно,
А безумствовать — разумно.

25 января 1891

* * *

Я слышу — и судьбе я покоряюсь грозной,
Давно я сам себе сказал: не прекословь;
Но перед жертвою покорною и слезной
Зачем же замолчать совсем должна любовь?

Пусть радость хоть на миг не слышит порицанья,
Пусть завтра — строгий чин, все тот же, как вчера, —
Но ныне страсть в глазах, и долгие лобзанья,
И пламенных надежд отважная игра!

27 февраля 1891

* * *

Роящимся мечтам лететь дав волю
К твоим стопам,
Тебя никак смущать я не дозволю
Любви словам.

Я знаю, мы из разных поколений
С тобой пришли,
Несходных слов и розных откровений
Мы принесли.

Перед тобой во храмине сердечной
Я затворюсь
И юности ласкающей и вечной
В ней помолюсь.

14 мая 1891

* * *

Я говорю, что я люблю с тобою встречи
За голос ласковый, за нежный цвет ланит,
За блеск твоих кудрей, спадающих на плечи,
За свет, что в глубине очей твоих горит.

О, это всё — цветы, букашки и камня,
Каких ребенок рад набрать со всех сторон
Любимой матери в те сладкие мгновенья,
Когда ей заглянуть в глаза так счастлив он.

29 мая 1891

* * *

Давно в любви отрады мало,
Без отзыва вздохи, без радости слезы;
Что было сладко — горько стало,
Осыпались розы, рассеялись грезы.

Оставь меня, смешай с толпою!
Но ты отвернулась, а сетуешь, видно,
И всё еще больна ты мною...
О, как же мне тяжело и как мне обидно!

24 июня 1891

МЕСЯЦ И РОЗА

Он

Встал я рано над горой,
Чтоб расцвет увидеть твой.
И гляжу с мольбой всю ночь.
Ты молчишь, не гонишь прочь,
Но навстречу мне твой куст
Не вскрывает алых уст.

Она

Не сравнится вздох ничей
С чистотой твоих лучей,
Но не им будить меня:
Жду лобзаний жарких дня,
Жду венчанного царя;
Для него таит заря
Благовонные красы
Под алмазами росы.

25 сентября 1891

* * *

Ель рукавом мне тропинку завесила.
Ветер. В лесу одному
Шумно, и жутко, и грустно, и весело,—
Я ничего не пойму.

Ветер, кругом все гудёт и колыхается,
Листья кружатся у ног.
Чу, там вдали неожиданно слышится
Тонко зывающий рог.

Сладостен зов мне глашатая медного!
Мертвые что мне листы!
Кажется, издали странника бедного
Нежно приветствуешь ты.

4 ноября 1891



ПОЧЕМУ?

Почему, как сидишь озаренной,
Над работой пробор наклоня,
Мне сдается, что круг благовонный
Все к тебе приближает меня?

Почему светлой речи значенья
Я с таким затрудненьем ищу?
Почему и простые реченья
Словно томную тайну шепчу?

Почему как горячее жало
Чуть заметно впивается в грудь?
Почему мне так воздуху мало,
Что хотел бы глубоко вздохнуть?

3 декабря 1891

* * *

Не отнеси к холодному бесстрастью,
Что на тебя безмолвно я гляжу;
Ступенями к томительному счастью
Не меньше я, чем счастьем, дорожу.

С собой самим мне сладко лицемерить,
Хоть я давно забыл о всем ином,
И верится, и не хочу я верить,
Что нет преград, что мы одни вдвоем.

Мой поцелуй, и пламенный и чистый,
Не вдруг спешит к устам или щеке;
Жужжанье пчел над яблонью душистой
Отрадней мне замолкнувших в цветке.

15 февраля 1892

* * *

Не могу я слышать этой птички,
Чтобы тотчас сердцем не вспорхнуть;
Не могу, наперекор привычке,
Как войдешь,—хоть молча не вздохнуть.

Ты не вспыхнешь, ты не побледнеешь,
Взоры полны тихого огня;
Больно видеть мне, как ты умеешь
Не видать и не слышать меня.

Я тебя невольно беспокою,
Торжество должна ты искупить:
На заре без туч нельзя такою
Молодой и лучезарной быть!

16 февраля 1892

* * *

Рассыпаясь смехом ребенка,
Явно в душу мою влюблены,
Пролетают прозрачно и звонко
Надо мною блаженные сны.

И, мгновенной охвачен истомой,
Снова молодость чую свою;
Узнаю я и голос знакомый,
И победный призыв узнаю.

И когда этой песне внимаю,
Окрыленный восторгом, не лгу,
Что я все без речей понимаю
И к чему призывает — могу!

13 марта 1892

* * *

Когда смущенный умолкаю,
Твоей суровостью томим,
Я все в душе не доверяю
Холодным колкостям твоим.

Я знаю, иногда в апреле
Зима неожиданно набежит
И дуновение метели
Колючим снегом закружит.

Но миг один — и солнцем вешним
Согреет юные поля,
И счастьем светлым и нездешним
Дохнет воскресшая земля.

26 марта 1892

* * *

Она ему — образ мгновенный,
Чарующий ликом своим,
Он — помысл ее сокровенный;
Да кто это знает, да кто это выскажет им?

И, словно велением рока,
Их юные крылья несут...
Так теплится счастье далеко,
Так холоден ближний, родимый приют!

Пред ним — сновидение рая,
Всевластный над ней серафим;
Сгорая их жизнь молодая...
Да кто это знает, да кто это выскажет им?

3 апреля 1892

Ночь лазурная смотрит на скошенный луг.
Запах роз под балконом и сена вокруг;
Но за то ль, что отрады не жду впереди,—
Благодарности нет в истомленной груди.

Все далекий, давнишний мне чудится сад,—
Там и звезды крупней, и сильнее аромат,
И ночных благовоний живая волна
Там доходит до сердца, истомы полна.

Точно в нежном дыхании травы и цветов
С ароматом знакомым доносится зов,
И как будто вот-вот кто-то милый опять
О восторге свиданья готов прошептать.

12 июня 1892



Все, что разрушено, но в бедном сердце живо...



* * *

Как майский голубоокий
Зефир — ты, мой друг, хороша,
Моя ж — что золова арфа,
Чутка и послушна душа!

И струн у той арфы немного,
Но вечно под чувством живым
Найдет она новые звуки
За новым дыханьем твоим.

<1842>

* * *

Сосна так темна, хоть и месяц
Глядит между длинных ветвей.
То клонит ко сну, то очнешься,
То мельница, то соловей.

То ветра немое лобзание,
То запах фиалки ночной,
То блеск замороженной дали
И вихря полночного вой.

И сладко дремать мне — и грустно,
Что сном я надежду гублю.
Мой ангел, мой ангел далекий,
Зачем я так сильно люблю?

<1842>

ВЕЧЕРНИЙ САД

Не бойся вечернего сада,
На дом оглянися назад, —
Смотри-ка: все окна фасада
Зарею вечерней горят.

Мне жаль и фонтана ночного,
Мне жаль и жуков заревых,
Мне жаль соловья заревого
И ночи цветов распускных.

Поверь мне: туман не коснется
Головки-малютки твоей,
Поверь, — ни одна не сомнется
Из этих упругих кудрей.

Поверь, что природа так гибко
Твоим покорится очам,
Поверь мне, что эта улыбка
Царица и дням и ночам.

Сопутники вечера — что ж вы?
Ответствуйте милой моей! —
Поверь мне, что узкой подошвы
Роса не коснется твоей.

<1842>



* * *

Я узнаю тебя и твой белый вуаль,
Где роняет цветы благовонный миндаль,
За решеткою сада, с лихого коня,
И в ночи при луне, и в сиянии дня;

И гитару твою далеко слышу я
Под журчанье фонтана и песнь соловья...
Днем и ночью гляжу сквозь решетку я вдаль —
Не мелькнет ли в саду белоснежный вуаль?

<1842>

* * *

Как на черте полночной дали
Тот огонек,
Под дымкой тайною печали
Я одинок.

Я не влеку могучей силой
Очей твоих,
Но приманю я взор твой милый
На краткий миг.

И точка трепетного света
Моих очей
Тебе печальная примета
Моих страстей.

<1842>

ЦЫГАНКЕ

Молода и черноока,
С бледной смуглостью ланит,
Прорицательница рока,
Предо мной дитя востока,
Улыбаяся, стоит.

Щеголяет хор суровый
Выраженьем страстных лиц;
Только деве чернобровой
Так пристал наряд пунцовый
И склонение ресниц.

Перестань, не пой, довольно!
С каждым звуком яд любви
Льется в душу своевольно
И горит мятежно-больно
В разволнованной крови.

Замолчи: не станет мочи
Мне прогрезить до утра
Про полуденные очи
Под навесом темной ночи
И восточного шатра.

<1844>

* * *

Рассказывал я много глупых снов,
На мой рассказ так грустно улыбались,
Многозначительно при звуке странных слов
Ее глаза в глаза мои вперялись.

И время шло. Я сердцем был готов
Поверить счастью. Скоро мы расстались,—
И я постиг у дальних берегов,
В чем наши чувства некогда встречались.

Так слышит узник бледный, присмирив,
Родной реки излучистый припев,
Пропетый вовсе чуждыми устами:

Он звука не проронит, хоть не ждет
Спасения,— но глубоко вздохнет,
Блеснув во мгле ожившими очами.

<1844>

* * *

Я говорил при расставаньи:
«В далеком и чужом краю
Я сохраню в воспоминаньи
Святую молодость твою».

Я отгадал душой небрежной
Мою судьбу — и предо мной
Твой образ юный, образ нежный,
С своей младенческой красой.

И не забыть мне лип старинных
В саду приветливом твоём,
Твоих ресниц, и взоров длинных,
И глаз, играющих огнем.

Август 1844

* * *

Я вдаль иду моей дорогой
И уведу с собою вдаль
С моей сердечною тревогой
Мою сердечную печаль.

Она-то доброй проводницей
Со мною об руку идет
И перелетной, вольной птицей
Мне песни новые поет.

Ведет ли путь мой горной цепью
Под ризой близких облаков,
Иль в дальний край широкой степью,
Иль под гостеприимный кров,—

Покорна сердца своеволью,
Везде, бродячая, вольна,
И запоеет за хлебом-солью,
Как на степи, со мной она.

Спасибо ж тем, под чьим приютом
Мне было радостней, теплей,
Где время пил я по минутам
Из урны жизненной моей,

Где новой силой, новым жаром
Опять затрепетала грудь,
Где музе-страннице с гусяром
Нетруден показался путь.

Апрель 1845

* * *

Как отрок зарею
Лукавые сны вспоминает,
Я звука душою
Ищу, что в душе обитает.

Хоть в сердце нет веры
В живое преданий наследство,
Люблю я химеры,
Где рдеет румяное детство.

Быть может, что сонный
Со сном золотым встрепется
Иль стих благовонный
Из уст разомкнутых полется.

<1847>

* * *

Эти думы, эти грезы —
Безначальное кольцо.
И текут ручьями слезы
На горячее лицо.

Сердце хочет, сердце просит,
Слезы льются в два ручья;
Далеко меня уносит,
А куда — не знаю я.

Не могу унять стремленье,
Я не в силах не желать:
Эти грезы — наслажденье!
Эти слезы — благодать!

<1847>

* * *

Поделись живыми снами,
Говори душе моей;
Что не выскажешь словами —
Звуком на душу навей.

<1847>

* * *

Я в моих тебя вижу все снах
С той же яркою искрой в глазах,
С тем же бледно-прозрачным лицом,
С тем же розовым белым венцом,

С той же властью приветливых слов,
С той же тучей младенческих снов;
И во сне так полно я живу,
Как, бывало, живал наяву.

7 сентября 1847

* * *

Снова слышу голос твой,
Слышу и бледнею;
Расставался, как с душой,
С красотой твоею!

Если б муку эту знал,
Чуял спозаранку,—
Не любил бы, не ласкал
Смуглую цыганку.

Нё лелеял бы потом
Этой думы томной
В чистом поле под шатром
Днем и ночью темной.

Что ж напрасно горячить
Кровь в усталых жилах?
Не сумела ты любить,
Я — забыть не в силах.

1840-е годы (?)

* * *

Следить твои шаги, молиться и любить —
Не прихоть у меня и не порыв случайный:
Мой друг, мое дитя, поверь, — тебя хранить
Я в сердце увлечен какой-то силой тайной.

Постигнув чудную гармонию твою —
И нежной слабости и силы сочетанье,
Я что-то грустное душой предузнаю,
И жалко мне тебя, прекрасное созданье!

Вот почему порой заглядываюсь я,
Когда над книгою иль пестрою канвою
Ты наклоняешься пугливой головою,
А черный локон твой сбегает как змея.

Прозрачность бледную обрезавши ланиты,
И стрелы черные ресниц твоих густых
Сияющего дня отливами покрыты,
И око светлое чернеет из-под них.

<1850>

* * *

Перекладывают тройки
И выносят чемоданы;
За столом два сослуживца,
На столе стоят стаканы.

— Знаю я, зачем так влагой
Презираешь ты шампанской.
Все в ушах твоих, мой милый,
Раздается хор цыганской.

Все мерещится Матрена,
Все мерещится плутовка.
Черным бархатом и маской
Скрыта белая головка.

За красавицей женою
Муж мерещится ревнивый.
«Я люблю, люблю, как прежде» —
Нежит слух самолюбивый.

— Нет, мой друг, не отгадал ты,
Извини, что я не с вами.
Мысли носятся далеко,
За горами, за долами.

Все мерещится у стенки
Фортепьян красивый ящик,
Все мерещится угрюмый
Про Суворова рассказчик.

За стаканом даже слышу
Душный воздух тесной кельи,
И о счастье молит голос
И в раздумьи и в весельи.

В степь глядит одно окошко,
До полуночи открыто,
Перед ним-то, для него-то
Все на свете позабыто.

Но давно прозябли кони.
Так пожмем друг другу руки,
Не сердись за нашу встречу
Да пиши подчас от скуки.

Начало 1850 (?)

ШАРМАНЩИК

К окну я в потемках приник —
Ну, право, нельзя неуместней:
Опять в переулке старик
С своей неотвязною песней!

Те звуки свистят и поют
Нескладно-тоскливо-неловки...
Встают предо мною, встают
За рамой две светлых головки.

Над ними поверхность стекла
При месяце ярко-кристальна.
Одна так резво-весела,
Другая так томно-печальна.

И — старая песня! — с тоской
Мы прошлое нежно лелеем,
И жаль мне и той и другой,
И рад я сердечно обеим.

Меж них в промежутке видна
Еще голова молодая, —
И все он хорош, как одна,
И все он грустит, как другая.

Он предан навеки одной
И грусти терзаем приманкой...
Уйдешь ли ты, гаер седой,
С твоей неотвязной шарманкой?..

<1854>

Люди нисколько ни в чем предо мной не виновны, я знаю.
Только я тут для себя утешенья большого не вижу.
День их торопит всечасно своею тяжелой заботой,
Ночь, как добрая мать, принимает в объятья на отдых.
Что им за дело, что кто-то весь день протомившись бездельем,
Ночью с нелепым раздумьем пробьется на ложе бессонном?
Пламя дрожит на светильне — и около мысли любимой
Зыблются робкие думы, и все переходят оттенки
Радужных красок. Трепещет душа, и трепещет рассудок.
Сердце — Икар неразумный — из мрака, как бабочка к свету,
К мысли заветной стремится. Вот, вот опаленные крылья,
Круг описавши во мраке, несутся в неверном полете
Пытку свою обновлять добровольную. Я же не знаю,
Что добровольным зовется и что неизбежным на свете...

<1854>

Ласточки пропали,
А вчера зарей
Все грачи летали
Да как сеть мелькали
Вон над той горой.

С вечера все спится,
На дворе темно.
Лист сухой валится,
Ночью ветер злится
Да стучит в окно.

Лучше б снег да вьюгу
Встретить грудью рад!
Словно как с испугу
Раскричавшись, к югу
Журавли летят.

Выйдешь — поневоле
Тяжело — хоть плачь!
Смотришь — через поле
Перекасти-поле.
Прыгает как мяч.

<1854>

Заревая выюга
Все позамела,
А ревнивый месяц
Смотрит вдоль села.

Подойти к окошку —
Долго ль до беды?
А проснутся завтра —
Разберут следы.

В огород — собаки
Изорвут, гляди.
«Приходи сегодня» —
И нельзя нейти!

По плетню простенком
Проберусь как раз, —
Ни свекровь, ни месяц
Не увидят нас!

Осень или зима 1855

НЕОТРАЗИМЫЙ ОБРАЗ

В уединении забудусь ли порою,
Ресницы ли мечта смежает мне, как сон, —
Ты, ты опять в дали стоишь передо мною,
Моих весенних дней сияньем окружен.

Все, что разрушено, но в бедном сердце живо,
Что бездной между нас зияющей легло,
Не в силах удержать души моей порыва,
И снова я с тобой — и у тебя светло.

Не для тебя кумир изменчивый и бренный
В сердечной слепоте из праха создаю;
Мне эта даль мила: в ней — призрак неизменный —
Опять чиста, светла я пред тобой стою.

Ни детских слез моих, ни мук души безгрешной,
Ни женской слабости винить я не могу,
К святыне их стремлюсь с тоскою безутешной
И в ужасе стыда твой образ берегу.

1856 (?)

СОНЕТ

Угрюм и празден часто я брожу,
Напрасно веру светлую лелею,—
На славный подвиг силы не имею,
Для песни сердца слов не нахожу.

Но за тобой ревниво я слежу,
Тебя понять и оценить умею;
Вот отчего я дружбой горд твоею
И близостью твоею дорожу.

Спасибо жизни! Пусть по воле рока
Истерзана, обижена глубоко,
Душа порою в сон погружена,—

Но лишь краса душевная коснется
Усталых глаз — бессмертная проснется
И звучно затрепещет, как струна.

<1857>

* * *

Весна и ночь покрыли дол,
Душа бежит во мрак бессонный,
И внятно слышен ей глагол
Стихийной жизни, отрешенной.

И неземное бытие
Свой разговор ведет с душою
И веет прямо на нее
Своею вечною струею.

Но вот заря! Бледнеет тень,
Туман волнуется и тает,—
И встретить очевидный день
Душа с восторгом вылетает.

1856 или 1857 (?)

* * *

Какая ночь! Как воздух чист,
Как серебристый дремлет лист,
Как тень черна прибрежных ив,
Как безмятежно спит залив,
Как не вздохнет нигде волна,
Как тишиною грудь полна!

Полночный свет, ты тот же день:
Белей лишь блеск, чернее тень,
Лишь тоньше запах сочных трав,
Лишь ум светлей, мирнее нрав,
Да вместо страсти хочет грудь
Вот этим воздухом вздохнуть.

1857(?)

* * *

Лесом мы шли по тропинке единственной
В поздний и сумрачный час.
Я посмотрел: запад с дрожью таинственной
Гас.

Что-то хотелось сказать на прощание,—
Сердца не понял никто;
Что же сказать про его обмирание?
Что?

Думы ли реют, тревожно-несвязные,
Плачет ли сердце в груди,—
Скоро повысыплют звезды алмазные,
Жди!

<1858>

НЕЛЬЗЯ

Заря. Сияет край востока,
Прорвался луч — и все горит,
И все, что видимо для ока,
Земного путника манит.

Но голубого неба своды
Покрыли бледностью лучи,
И звезд живые хороводы
К нам только выступят в ночи.

В движении, в блеске жизни дольной
Не сходит свыше благодать:
Нельзя в смятенности невольной
Красы небесной созерцать.

Нельзя с безбрежностью творенья
В чаду отыскивать родства,
И ночь и мрак уединенья —
Единый путь до божества.

<1858>

ПРЕВРАЩЕНИЯ

Давно, в поре ребяческой твоей,
Ты червячком мне пестреньким казалась
И ласково, из-за одних сладостей,
Вокруг родной ты ветки увивалась.

И вот теперь ты, куколка моя,
Живой души движения скрываешь
И, красоту застенчиво тая,
Взглянуть на свет украдкой замышляешь.

Постой, постой, порвется пелена,
На божий свет с улыбочкою проглянешь,
И, весела и днем упоена,
Ты яркою нам бабочкой предстанешь.

1859

* * *

Я целый день изнемогаю
В живом огне твоих лучей
И, утомленный, не дерзаю
К ним возводить моих очей;

Но без тебя, сознавши смутно
Всю безотрадность темноты,
Я жду зари ежеминутно
И все твержу: взойдешь ли ты?

1859

* * *

По ветви нижние леса
В зеленой потонули ржи.
Семьею новой в небеса
Ныряют резвые стрижи.

Сильней и слаще с каждым днем
Несется запах медовой
Вдоль нив, лоснящихся кругом
Светло-зеленою волной.

И негой истомленных птиц
Смолкают песни по кустам,
И всеобъемлющих зарниц
Мелькают лики по ночам.

1859

* * *

Как ярко полная луна
Посеребрила эту крышу!
Мы здесь под тенью полотна,
Твое дыхание я слышу.

У неостывшего гнезда
Ночная песнь гремит и тает.
О, погляди, как та звезда
Горит, горит и потухает.

Понятен блеск ее лучей
И полночь с песнью своею,
Но что горит в груди моей —
Тебе сказать я не умею.

Вся эта ночь у ног твоих
Воскреснет в звуках песнопенья,
Но тайну счастья в этот миг
Я унесу без выраженья.

1859(?)

* * *

Как эта ночь, ты радостно-светла,
Подобно ей, к мечтам ты призываешь
И, как луна, что там вдали взошла,
Все кроткое душе напоминаешь.

Она живет в минувшем, не скорбя,
И весело к грядущему стремится.
Взгляну ли вдаль, взгляну ли на тебя —
И в сердце свет какой-то загорится.

Конец 50-х гг.

* * *

Влачась в бездействии ленивом
Навстречу осени своей,
Нам с каждым молодым порывом,
Что день, встречаться веселей.

Так в летний зной, когда в долины
Съезжают бережно снопы
И в зрелых жатвах круговины
Глубоко врезали серпы,

Прорвешь случайно повилику
Нетерпеливою ногой —
И вдруг откроешь землянику,
Красней и слаще, чем весной.

Конец 50-х гг.

* * *

Ты прав: мы старимся. Зима недалека,
Нам кто-то праздновать мешает,
И кудри темные незримая рука
И серебрит и обрывает.

В пути приутомясь, покорней мы других
В лицо нам веющим невзгодам;
И не под силу нам безумцев молодых
Задорным править хороводом.

Так что ж! ужели нам, покуда мы живем,
Вздыхать, оборотясь к закату,
Как некогда, томясь любви живым огнем,
Любви певали мы утрату?

Нет, мы не отжили! Мы властны день любой
Чертою белою отметить,
И музы сирые еще на зов ночной
Нам поторопятся ответить.

К чему пытаться судьбу? Быть может, коротка
В руках у парки нитка наша!
Еще разымчива, душиста и сладка
Нам Гебы пенистая чаша.

Зажжет, как прежде, нам во глубине сердец
Ее огонь благие чувства,—
Так пей же из нее, любимый наш певец:
В ней есть искусство для искусства.

1860(?)

9 МАРТА 1863 ГОДА

Какой восторг! уж прилетели
Вы, благовестники цветов!
Я слышу в поднебесьи трели
Над белой скатертью снегов.

Повеет раем над цветами,
Воскресну я и запою,—
И сорок мучеников сами
Мне позавидуют в раю.

Март 1863

* * *

Я повторял: «Когда я буду
Богат, богат!
К твоим серьгам по изумруду —
Какой наряд!»

Тобой любуюсь ежедневно,
Я ждал, — но ты —
Всю зиму ты встречала гневно
Мои мечты.

И только этот вечер майский
Я так живу,
Как будто сон овеял райский
Нас наяву.

В моей руке — какое чудо! —
Твоя рука,
И на траве два изумруда —
Два светляка.

1864

ТУРГЕНЕВУ

Из мачт и паруса — как честно он служил
Искусному пловцу под ведром и грозой! —
Ты хижину себе воздушную сложил
Под очарованной скалою.

Тебя пригрел чужой денницы яркий луч,
И в откликах твоих мы слышим примиренье;
Где телом страждущий пьет животворный ключ,
Душе сыскал ты возрожденье.

Поэт! и я обрел, чего давно алкал,
Скрываясь от толпы бесчинной;
Среди родных полей и тень я отыскал
И уголок земли пустынной.

Привольно, широко, куда ни кинешь взор.
Здесь насажу я сад, здесь, здесь поставлю хату!
И, плектрон отложив, я взялся за топор
И за блестящую лопату.

Свершилось! Дом укрыл меня от непогод,
Луна и солнце в окна блещет,
И, зеленью шумя, деревьев хоровод
Ликует жизнью и трепещет.

Ни резкий крик глупцов, ни подлый их разгул
Сюда не досягнут. Я слышу лишь из саду
Лихого табуна сближающийся гул
Да крик козы, бегущей к стаду.

Здесь песни нежных муз душе моей слышной,
Их жадно слушает пустыня,
И верь! — хоть изредка из сумрака аллея
Ко мне придет моя богиня.

Вот здесь, не ведая ни бурь, ни грозных туч
Душой, привычною к утратам,
Желал бы умереть, как утром лунный луч
Или как солнечный — с закатом.

1864

* * *

Какой горячий пламень
Зарей в такую пору!
Кусты и острый камень
Сквозят по косогору.

Замолк и засыпает
Померкший пруд в овраге;
Лишь ласточка взрезает
Нить жемчуга на влаге.

Ушли за днем послушно
Последних туч волокна.
О, как под кровлей душно,
Хотя раскрыты окна!

О нет, такую пытку
Переносить не буду;
Я знаю, кто в калитку
Теперь подходит к пруду.

26 января 1867



Хотя по-прежнему зеваю,
Степной Тантал, —
Увы, я больше не *витаю*,
Где я витал!

У одичалой, непослушной
Мечты моей
Нет этой поступи воздушной
Царицы фей.

В лугах поэзии зарями
Из тайны слез
Не спеют росы жемчугами,
А бьет мороз.

И замирает вдохновенье
В могильной мгле,
Как корнеплодное растение
В сухой земле.

О, приезжай же светлым утром,
Когда наш сад
С востока убран перламутром,
Как грот наяд.

В тени убогого балкона,
Без звонких лир,
Во славу нимф и Аполлона
Устроим пир.

Тебе побегов тополь чинный
Даст для венца,
Когда остудим пеной винной
Мы тук тельца.

Найду начальный стих пэана
Я в честь твою;
Не хватит сил допить стакана —
Хоть разолью!

Январь или февраль 1869

* * *

Когда б в полете скоротечном
Того, что призывает жить,
Я мог, по выбору сердечном,
Любые дни остановить, —

Порой, когда томит щедротой
Нас сила непонятно чья,
На миг пленился б я заботой
Детей, прудящих бег ручья,

И поджидая и ревнуя,
В пору любви, в тиши ночной,
Я б под печатью поцелуя
Забыл заре воскликнуть: «Стой!»

Перед зеленым колыханьем
Безбрежных зреющих полей
Я б истомился ожиданьем
Тяжелых непосильных дней.

Я б ждал, покуда днем бесшумным
Замрет тоскливый труд и страх,
Когда вся рожь по тесным гумнам
Столпится в золотых скирдах.

1870 (?)

* * *

Это утро, радость эта,
Эта мощь и дня и света,
Этот синий свод,
Этот крик и вереницы,
Эти стаи, эти птицы,
Этот говор вод,

Эти ивы и березы,
Эти капли — эти слезы,
Этот пух — не лист,
Эти горы, эти доли,
Эти мошки, эти пчелы,
Этот зык и свист,

Эти зори без затмения,
Этот вздох ночной селенья,
Эта ночь без сна,
Эта мгла и жар постели,
Эта дробь и эти трели,
Это все — весна.

1881(?)



* * *

Целый мир от красоты,
От велика и до мала,
И напрасно ищешь ты
Отыскать ее начало.

Что такое день иль век
Перед тем, что бесконечно?
Хоть не вечен человек,
То, что вечно, — человечесно.

Между 1874 и 1886

* * *

О, не вверяйся ты шумному
Блеску толпы неразумному, —
Ты его миру безумному
Брось — и о нем не тужи.

Льни ты хотя б к преходящему,
Трепетной негой манящему,—
Лишь одному настоящему,
Им лишь одним дорожи.

Между 1874 и 1886

* * *

Чем доле я живу, чем больше пережил,
Чем повелительней стесняю сердца пыл,—
Тем для меня ясней, что не было от века
Слов, озаряющих светлее человека:
Всеобщий наш отец, который в небесах,
Да свято имя мы твое блюдем в сердцах,
Да прийди царствие твое, да будет воля
Твоя, как в небесах, так и в земной юдоли.
Пошли и ныне хлеб обычный от трудов,
Прости нам долг,—и мы прощаем должников,
И не введи ты нас, бессильных, в искушение,
И от лукавого избави самомненья.

Между 1874 и 1886

* * *

Чуждые огласки,
Слышу речи ласки,
Вижу эти глазки,
Чую сердца дрожь,—

Томных грез поруки,
Засыпают звуки...
Их немые муки
Только ты поймешь!

31 января 1887

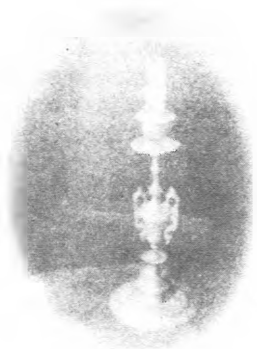
* * *

Погляди мне в глаза хоть на миг,
Не таись, будь душой откровенней:
Чем яснее безумство в твоих,
Тем блаженство мое несомненной.

Не дано мне витийство: не мне
Связных слов преднамеренный лепет! —
А больного безумца вдвойне
Выдают не реченья, а трепет.

Не стыжусь заиканий своих:
Что доступнее, то многоценней.
Погляди ж мне в глаза, хоть на миг,
Не таись, будь душой откровенней.

3 апреля 1890



* * *

Что молчишь? Иль не видишь — горю,
Все равно — отстрани хоть, привить ли.
Я тебе о любви говорю,
А вязанья считаешь ты петли.

Отчего же сомненье свое
Не гасить мне в неведении этом?
Отчего же молчанье твоё
Не наполнить мне радужным светом?

Может быть, я при нем рассмотрю,
В нем отрадного, робкого нет ли...
Хоть тебе о любви говорю,
А вязанья считаешь ты петли.

11 ноября 1890

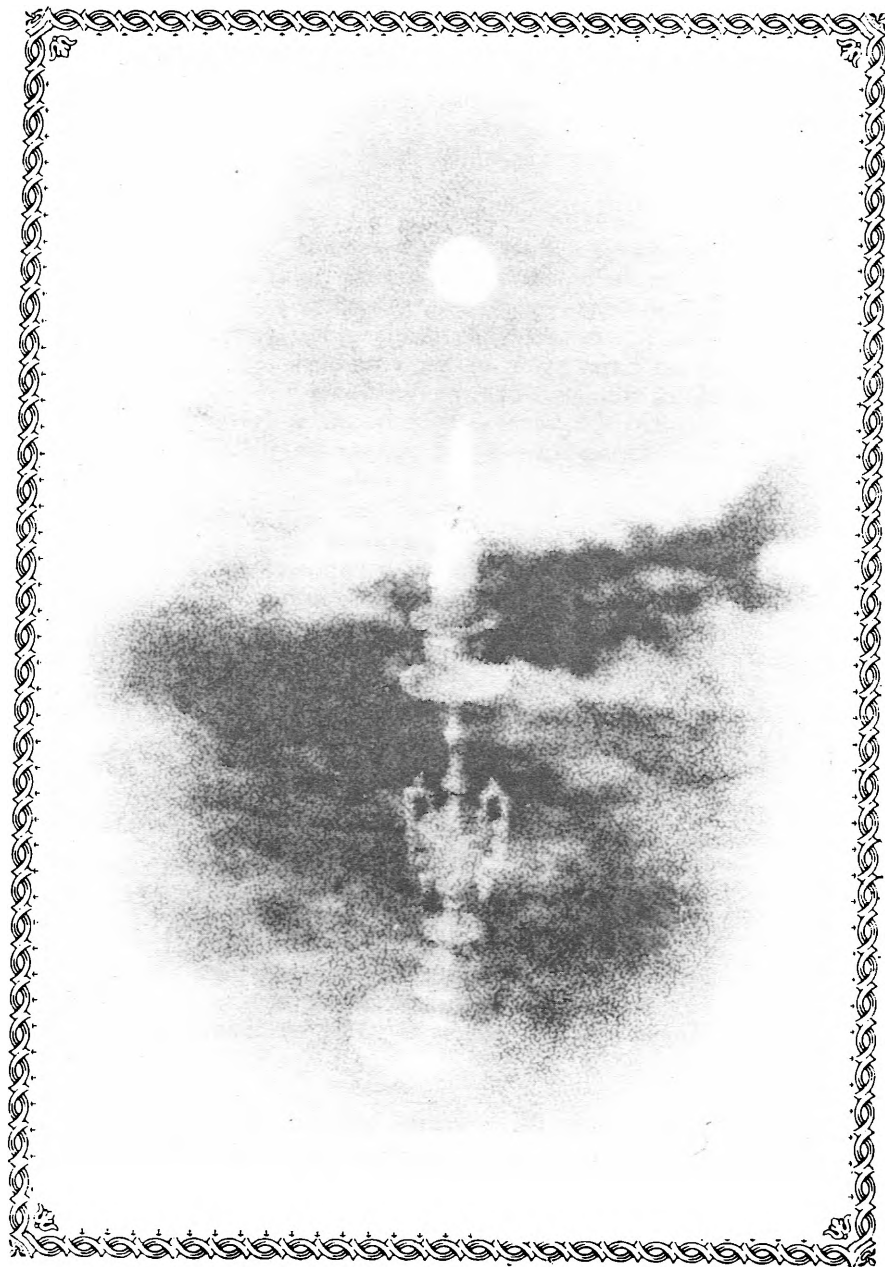
Тяжело в ночной тиши
Выносить тоску души
Пред безглазым домовым,
Темным призраком немым,
Как стихийная волна
Над душой одна вольна.

Но зато люблю я днем,
Как замолкнет все кругом,
Различать, раздумья полн,
Тихий плеск житейских волн.
Не меня гнетет волна,
Мысль свежа, душа вольна;
Каждый миг сказать хочу:
«Это я!» Но я молчу.

15 сентября 1892



*Пора, пора из теплого гнезда
На зов судьбы далекий подниматься!*



ТАЛИСМАН

1

Октавами и повесть, признаюсь!
И, полноте, ну что я за писатель?
У нас беда — и, право, я боюсь,
Так, ни за что, услышишь: подражатель!
А по размеру, я на вас сошлюсь,
И вы нередко судите, читатель.
Но что же делать? Видно, так и быть:
Бояться волка — в лес нельзя ходить.

2

Вы знаете, деревню я люблю
И зимний быт. Плохой я горожанин.
Я этой жизни душевной не терплю,
И повестью напому образ Танин,
Сугробами деревню завалю,
Как некогда январский «Москвитянин»...
Но, — виноват, я знаю, вам милей
Тверской бульвар неведомых полей!

3

Вас не займет отлогий косогор,
И ветхий храм с безмолвной колокольной,
И синий лес по скату белых гор;
Не станете вы внутренне довольней
Рассматривать старинный барский двор
И в тех местах молиться богомольней;
Но, верно, есть в них скрытая печаль:
Иначе что ж, — зачем же мне их жаль?

4

Там у меня ни близких, ни родни,
Но, зная, душе напомнили те горы
Места иные, где в былые дни
Звучали в замках рыцарские шпоры,

Блистали в окнах яркие огни
И дамские роскошные уборы
И где теперь — давно ли был я там? —
Ни зал, ни шпор, ни благородных дам.

5

Да, все пройдет своею чередой!
Давно ли он, романтиков образчик,
Про степь и глушь беседовал со мной?
Он был и славный малый и рассказчик;
Но вот вся жизнь его покрыта мглой,
Он сам давно улегся в долгий ящик.
Но помню я в его рассказах ночь:
Я вам рассказ тот передам точь-в-точь.

6

— Шестнадцать лет, я помню, было мне,
Близ той деревни жил и я когда-то.
Не думайте, что я герой вполне,
Что жизнь моя страданиями богата.
Пришла пора — и вздумалось родне
Почти ребенка превратить в солдата.
Казалось, вдаль стремился я душой,
Но я любил, то был обман пустой.

7

Кто юных лет волнения не знал
И первой страсти, пылкой, но послушной,
Во дни надежд о счастье не мечтал
С веселием улыбки, простодушной,
И кто к ногам судьбы не повергал
Кровавых жертв любви великодушной?
И все пройдет, — нельзя же век любить;
Но есть и то, чего нельзя забыть.

8

Пора, пора из теплого гнезда
На зов судьбы далекий подниматься!
Смеркался день, вечерняя звезда
Вдали зажглась; я начал одеваться.
До их села недалённая езда;
Перед отъездом должно распрощаться.
Готова тройка, порский снег взвился,
И колокольчик жалко залился.

«Пошел, пошел! всего верст двадцать пять;
 Да льдом поедем: там езда ровнее.
 Смотри, чтоб нам в село не опоздать,
 Хотя домой приедем и позднее.
 Ты коренной-то не давай скакать».
 Я нашей тройки не видал дружнее
 (И вам, я чай, случалось ездить льдом);
 Да вот и церковь, вот господский дом!

Не стану я описывать фасад
 Старинного их дома. Из гостиной
 В стекло балкона виден голый сад
 С беседкою и сонною куртиной.
 Признаться вам, ребяческий мой взгляд
 Тогда иною занят был картиной,
 И маменьке, хозяйке дома, чуть
 Я не забыл промолвить что-нибудь.

Зато она рассыпала слова...
 (За хлеб и соль ее хвалили миром.)
 Радужная соседка и вдова,
 Как водится, была за бригадиром;
 Ее сынок любимый (голова!)
 Жил в отпуску усатым кирасиром.
 Где он теперь, не знаю, право, я;
 Но что за дочери! — Чудная семья!

Их было две. Нам должно их назвать:
 Пожалуй, мы хоть старшую Варварой,
 Меньшую Александрой станем звать.
 Они прекрасны были. Чудной парой,
 Для всех заметно, любовалась мать;
 Хоть иногда своей красою старой
 Блистать хотела, что греха таить!
 Но женщине как это не простить?

Мы младшую оставим: что нам в ней?
 Она блондинка стройная, положим,
 Но этот взгляд и смысл ее речей —
 Все говорит, что и лицом пригожим
 И талией горда она своей,
 Что весело ей нравиться прихожим.
 Зато Варвара — томная луна,
 Как ты была прекрасна и скромна!

Ее не раз и прежде я видал,
 Когда случался близко у соседства
 Какой-нибудь необычайный бал
 По случаю крестин или наследства;
 Но в этот миг в душе припоминал
 Я образ, мне знакомый с малолетства, —
 И не ошибся: в городе одном
 Мы с ними жили, рядом был их дом.

Что ж можно лучше выдумать? — И мать
 Припомнила ту счастливую пору
 И прочее. Я должен был внимать
 Хозяйки доброй искреннему вздору.
 Сынок меня придумал занимать:
 Велел привести любимую мне свору, —
 И я хвалил за стать его борзых,
 А мне, признаться, было не до них.

Я и забыл: день святочный был то.
 Зажгли огни; мы с Варенькой сидели;
 Большое блюдо было налито,
 Дворовые над блюдом песни пели,
 И сердце ими было занято,
 С гаданьями предчувствия кипели.
 Я посмотрел на милое лицо...
 И за меня она дала кольцо.

С каким отрадным страхом я внимал
 Тех вещей песен роковому звуку!
 Но вот мое кольцо — я услышал
 В моем припеве близкую разлуку.
 Как будто я давно о том не знал!
 Но Варенька мне тихо сжала руку,
 И капли слез едва сдержать я мог;
 Но улетел неосторожный вздох.

Другой сосед приехал — он жених.
 Но стол готов в диванной с самоваром,
 И Варенька исчезла. В этот миг
 Сосед-жених мне был небесным даром:
 Им занялись. Я ускользнул от них.
 «Вы не в столовой?» — Обдало как варом
 Меня от этих слов... Но этот взор!..
 О, я вполне ей верил с этих пор!

Мы говорили бог знает о чём:
 Скучают ли они в своем имени,
 О сельском лете, о весне, потом
 О Шиллере, о музыке и пеньи.
 «Я вам спою...» Скажите, вам знаком
 Романс такой-то?» — В сладком упоении
 Едва-едва касался я земли..
 Но чай простыл, и самовар снесли.

В столовую я вышел... Боже мой,
 Какое счастье: заняты гаданьем!
 И я прошел нарочно пред толпой
 И тихо скрылся. Чудным обаяньем
 Меня влекло за двери. За стеной
 Дрожали струны сладостным бряцаньем...
 Нет, я не в силах больше, не могу —
 На тайный зов я к милой побегу.

Серебряная ночь гляделась в дом...
 Она без свеч сидела за роялью.
 Луна была так хороша лицом
 И осыпала пол граненой сталью;
 А звуки песни разлились кругом
 Какою-то мучительной печалью:
 Все вместе было чувства торжество,
 Но то была не жизнь, а волшебство.

И, сам не свой, я, наклоняясь, чуть
 Не покрывал кудрей ее лобзаньем,
 И жаждою моя горела грудь;
 Хотелось мне порывистым дыханьем
 Всю душу звуков сладостных вдохнуть —
 И выдохнуть с последним издыханьем!
 Дрожали звуки на ее устах,
 Дрожали слезы на ее глазах.

«Вы знаете, — сказала мне она, —
 Что я владею чудным талисманом?
 Хотите ли, я буду вам видна
 Всегда, везде, с луною, за туманом?»
 Несбыточным была душа полна,
 Я счастлив был ребяческим обманом.
 Что б ни было — я верил всей душой, —
 И для меня слилась она с луной.

Я был вдали, ее я позабыл,
 Иные страсти овладели мною;
 Я даже снова искренно любил, —
 Но каждый раз, когда ночной порою
 Засветится воздушный хор светил, —
 Я увлечен волшебницей луною.

.

<1842>

N é m é s i s. Muette encore! Elle n'est
pas des nôtres: elle appartient aux
autres puissances.

*Byron. Manfred**

1

Мне не спалось. Томителен и жгуч
Был темный воздух, словно в устьях печки.
Но все я думал: сколько хочешь мучь
Бессонница, а не зажгу я свечки.
Из ставень в стену падал лунный луч,
В резные прорываясь сердечки
И шевелясь, как будто ожило
На люстре все трехгранное стекло,

2

Вся зала. В зале мне пришлось с походу
Спать в качестве служащего лица.
Любя в домашних комнатах свободу,
Хозяин в них не допускал жилья
И, указав мне залу по отводу,
Просил ходить с парадного крыльца.
Я очень рад был этой благодати
И поместился на складной кровати.

3

Не много в Дерпте есть таких домов,
Где веет жизнью средневековою,
Как наш. И я, признаться, был готов
Своею даже хвастаться судьбою.
Не выношу я низких потолков,
А тут как купол своды надо мною,
Кольчуги, шлемы, ветхие портреты
И всякие отжившие предметы.

* Немезида. Все еще молчит. Она не наша: она принадлежит к другим
силам. *Байрон. Манфред (фр.).*

Но ко всему привыкнешь. Я привык
 К немного строгой, сумрачной картине.
 Хозяин мой, уживчивый старик,
 Жил вдалеке, на новой половине.
 Все в доме было тихо. Мой денщик
 В передней спал, забыв о господине.
 Я был один. Мне было душно, жарко,
 И стекла люстры разгорались ярко.

Пора была глухая. Все легли
 Давно на отдых. Улицы пустыли.
 Два-три студента под окном прошли
 И «Gaudeamus igitur»^{*} пропели,
 Потом опять все замерло вдали,
 Один лишь я томился на постели.
 Недвижный взор мой, словно очарован,
 К блестящим стеклам люстры был прикован.

На ратуше в одиннадцатый раз
 Дрогнула медь уклончиво и туго.
 Ночь стала так тиха, что каждый час
 Звучал как голос нового испуга.
 Гляжу на люстру. Свет ее не гас,
 А ярче стал средь радужного круга.
 Круг этот рос в глазах моих — и зала
 Вся пламенем лазурным засияла.

О ужас! В блеске трепетных лучей
 Всё желтые скелеты шевелятся,
 Без глаз, без щек, без носа, без ушей,
 И скалят зубы, и ко мне толпятся.

^{*} Так будем же радоваться (лат.).

«Прочь, прочь! Не нужно мне таких гостей!
Ни шагу ближе! Буду защищаться...
Я вот как вас!» Ударом полновесным
По призракам махнул я бестелесным.

8

Но вот иные лица. Что за взгляд!
В нем жизни блеск и неподвижность смерти.
Арапы, трубочисты — и наряд
Какой-то пестрый, дикий. Что за черти?
«У нас сегодня праздник, маскарад, —
Сказал один преловкий, — но, поверьте,
Мы вежливы, хотя и беспокоим.
Не спится вам, так мы здесь бал устроим.

9

Эй! живо там, проклятые! Позвать
Сюда оркестр, да вынести фортепьяны.
Светло и так достаточно». Я глядь
Вдоль стен под своды: пальмы да бананы!..
И виноград под ними наклонять
Стал злак ветвей. По всем углам фонтаны;
В них радуга и пляшет и смеется.
Таких балов вам видеть не придется.

10

Но я подумал: «Если не умру
До завтрашнего дня, что может статься,
То выкину им штуку поутру:
Пусть будут немцы надо мной смеяться,
Пусть их смеются, но не по нутру
Мне с господами этими встречаться,
И этот бал мне вовсе не потребен, —
Пусть батюшка здесь отпоет молебен».

11

Как завопили все: «За что же гнать
Вы нас хотите? Без того мы нищи!
Наш бедный клуб! Ужели притеснять
Нас станете вы в нашем же жилище?»

«Дом разве ваш?» — «Да, ночью. Днем мы спать
Уходим на старинное кладбище.
Приказывайте, — все, что вам угодно,
Мы в точности исполним благородно.

12

Хотите славы? — слава затрубит
Про Лосева поручика повсюду.
Здоровья? — врач наш так вас закалит,
Что плюйте и на зной и на простуду.
Богатства? — вечно кошелек набит
Ваш будет. Денег натаскаем груды.
Неси сундук!» Раскрыли — ярче солнца!
Все золотые, весом в три червонца.

13

«Что? мало, что ли? Эти вороха
Мы просим вас считать ничтожной платой». —
Смотрю — кой черт? Да что за чепуха?
А впрочем, что ж? Они народ богатый.
Взяло раздумье. Долго ль до греха!
Ведь соблазнят. Уж род такой проклятый.
Брать или не брать? Возьму, — чего я трушу?
Ведь не контракт, не продаю им душу.

14

Так, стало быть, все это забирать!
Но от кого я вдруг разбогатею?
О, что б сказала ты, кого назвать
При этих грешных помыслах не смею?
Ты, дней моих минувших благодать,
Тень, пред которой я благоговею,
Хотя бы ты мой разум озарила!
Но ты давно, безгрешная, почил.

15

«Вам нужно посоветоваться? Что ж,
И это можно. Мы на все артисты.
Нам к ней нельзя, наш брат туда не вхож;

Там страшно, — ведь и мы не атеисты;
Зато живых мы ставим ни во грош.
Вы, например, кажись, не больно чисты.
Мы вам покажем то, что видим сами,
Хоть с ужасом, духовными очами».

16

«Вон, вон отсюда!» — крикнул старший. Вдруг
Исчезли все, юркнув в одно мгновение,
И до меня донесся светлый звук,
Как утреннего жаворонка пенье,
Да шорох шелка. Ты ли это, друг?
Постой, прости невольное смущенье!
Все это сон, какой-то бред напрасный.
Так, так, я сплю и вижу сон прекрасный.

17

О нет, не сон и не обман пустой!
Ты воскресила сердца злую муку.
Как ты бледна, как лик печален твой!
И мне она, подняв тихонько руку,
«Утишь порыв души твоей больной», —
Сказала кротко. Сладостному звуку
Ее речей внимая с умилением,
Пред светлым весь я трепетал виденьем.

18

«Мой путь окончен. Ты еще живешь,
Еще любви в груди твоей так много,
Но если смело, честно ты пойдешь,
Еще светла перед тобой дорога.
Тоской о прошлом только ты убьешь
Те силы, что даны тебе от бога.
Бесплотный дух, к земному не ревнуй,
Не для себя уже тебя люблю я.

19

Ты помнишь ли на юге тень ветвей
И свет пруда, подобный блеску стали,
Беседку, стол, скамью в конце аллеи?..

Цветущих лип вершины трепетали,
Ты мне читал «Онегина». Смелей
Дышала грудь твоя, глаза блистали.
Полудитя, сестра моя влетела,
Как бабочка, и рядом с нами села.

20

«А счастье было, — говорил поэт, —
Возможно так и близко». Ты ответил
Ему едва заметным вздохом. Нет!
Нет, никогда твой взор так не был светел.
И по щеке у Вари свежий след
Слезы прошел. Но ты — ты не заметил...
Да! счастья было в этот миг так много,
Что страшно больше и просить у бога.

21

С какой тоской боролась жизнь моя
Со дня разлуки — от тебя не скрою.
Перед кончиной лишь узнала я,
Как нежно ты любим моей сестрою.
В неизвестной грусти, слезы затая,
Она томится робкою душою.
Но час настал. Ее ты скоро встретишь —
И в этот раз, поверь, уже заметишь.

22

А этого, — и нежный звук речей,
Я слышу, перешел в оттенок строгий, —
Хоть собственную душу пожалей
И грешного сокровища не трогай,
Уйди от них — и не забудь: смелей
Ступай вперед открытою дорогой.
Прощай, прощай!» И вокруг моей постели
Опять толпой запрыгали, запели.

23

Проворно каждый подбежит и мне
Трескучих звезд в лицо пригоршню бросит.
Как мелкий иней светятся оне,
Колеблются — и ветер их разносит.

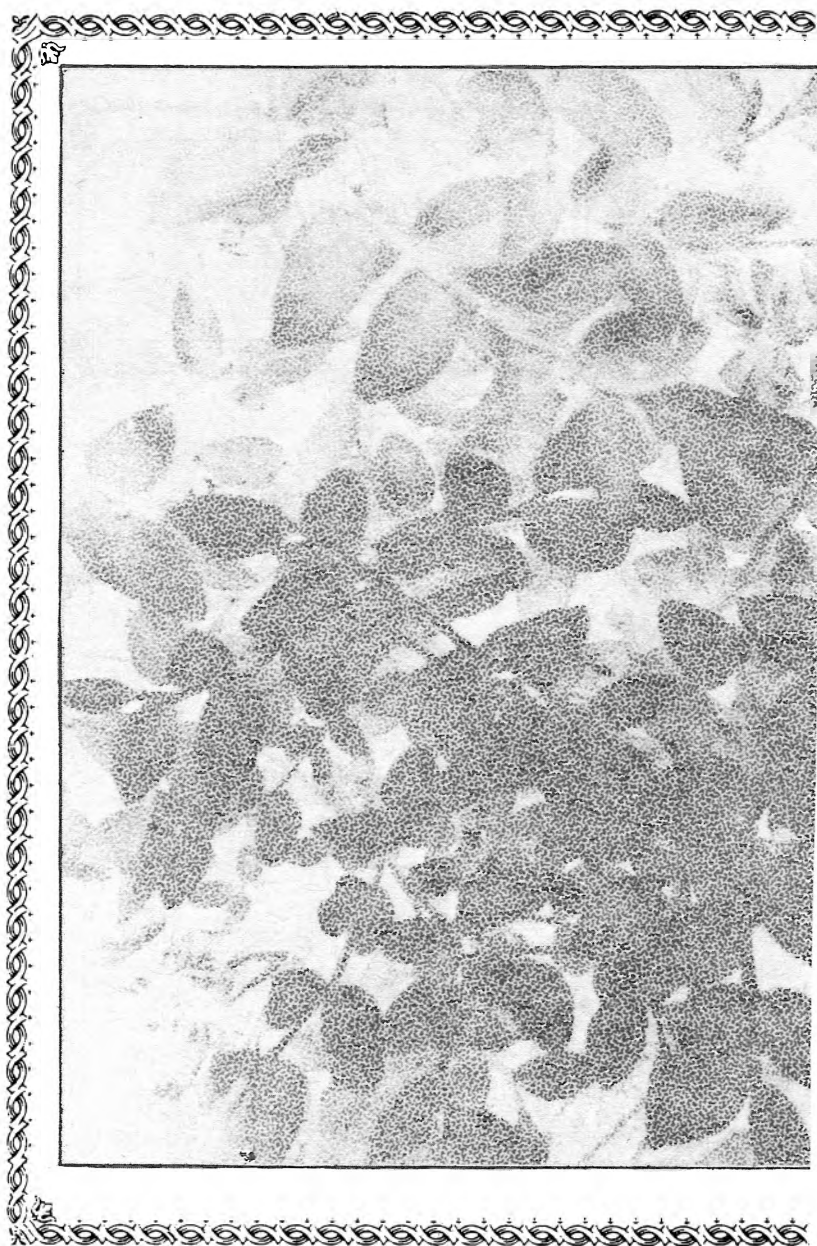
Но бросят горсть — и я опять в огне,
И нет конца, никто их не упросит.
Шумят, хохочут, едкой злобы полны,
И зашатались сами, словно волны.

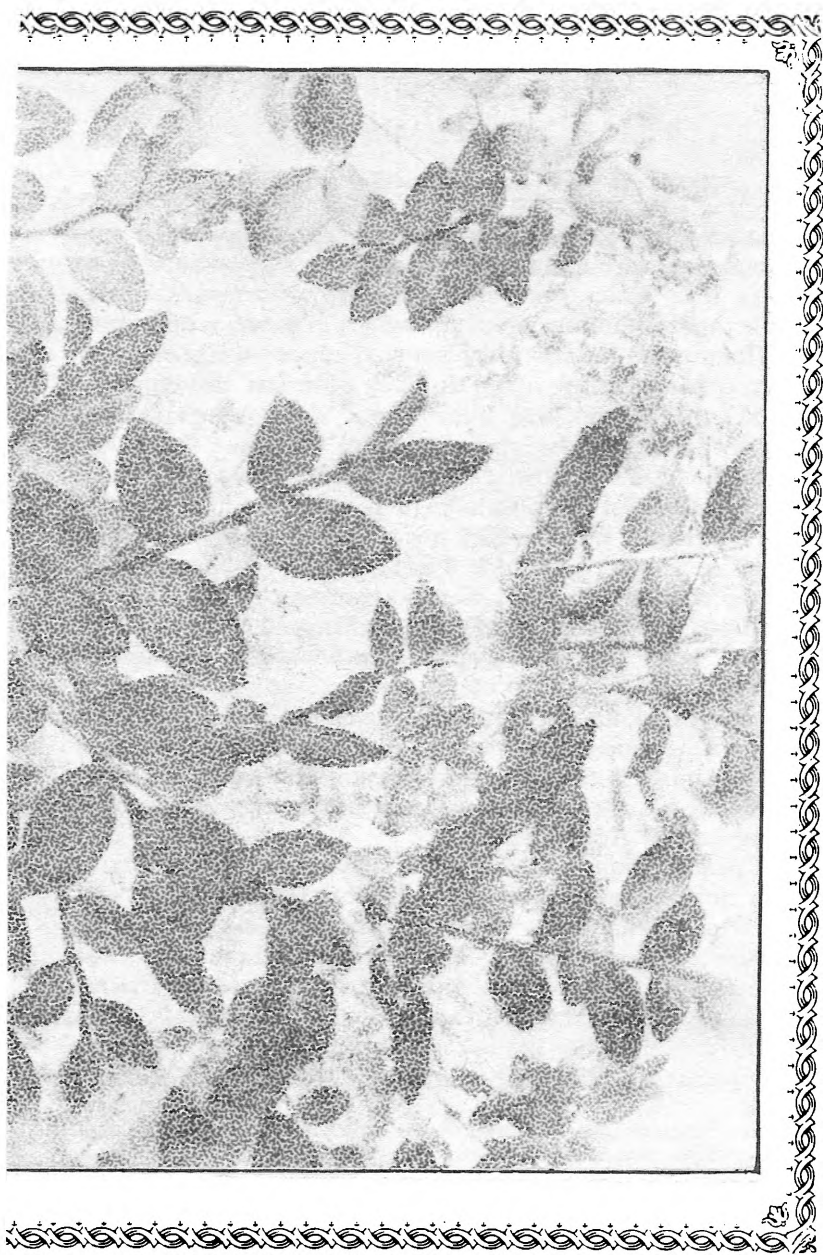
Вот приутихли. Но во мглу понес
Челнок меня, и стала мучить качка.
И вижу я: с любовью лижет нос
Мне белая какая-то собачка.
Уж тут не помню. Утро занялось,
И говорят, что у меня горячка
Была дней шесть. Оправившись помалу,
Я съехал — и чертям оставил залу.

<1856>



*Современники
о Фете*





Н. Н. СТРАХОВ

А. А. Фет. Биографический очерк

Афанасий Афанасьевич Фет родился 23 ноября 1820 года в Новоселках (прежде Козюлькино), деревне в семи верстах от Мценска на реке Зуше. Отец его, ротмистр в отставке, Афанасий Неофитович Шеншин, принадлежал к старому и обширному роду Шеншиных, различные члены которого владели половиною всего Мценского уезда, и был богатым помещиком, жившим в деревне, так что поэт вырос исключительно под влиянием тогдашнего помещичьего быта. Фамилия Фета произошла следующим образом. Афанасий Неофитович во время своего пребывания в Германии в 1819 г. женился в Дармштадте на г-же Шарлотте Фёт (Foeth), дочери обер-кригс-комиссара К. Беккера, носившей фамилию Фёт по своему первому мужу, с которым она развелась и от которого имела дочь*. Первым плодом брака А. Н. Шеншина был Афанасий Афанасьевич, который до 14 лет своего возраста и писался Шеншиным, но потом долго носил фамилию своей матери, так как обнаружилось, что лютеранское благословение на брак** не имело у нас законной силы, а православное венчание было совершено после его рождения. Из следовавших затем детей два брата и две сестры Шеншиных были постоянными членами семьи, в которой рос Афанасий Афанасьевич.

В его памяти сохранились с большою яркостью события и картины детства, проведенного в Новоселках. Главное влияние имели два лица: мать, язык которой, наравне с русским, стал родным языком ребенка, и дядя Петр Неофитович, воспитатель матери, по которому она звалась Елизаветой *Петровной*, чрезвычайно любивший своего старшего племянника, большой почитатель поэзии и истории. Случайно попалась мальчику тетрадка с переписанными поэмами «Кавказский

* Каролину Петровну Фёт, бывшую потом замужем за А. П. Матвеевым, ректором Киевского университета. (Здесь и далее подстрочные примечания Н. Н. Страхова. — *Ред.*)

** См. Мои воспоминания. 1848—1889 г. А. Фета, 2 части. Москва, 1890, ч. II, стр. 275.

Пленник» и «Бахчисарайский Фонтан»: он с величайшим наслаждением выучил наизусть эти поэмы и приводил ими в восторг своего дядю.

Особенное положение в семье, по которому он не мог носить фамилию своего отца, имело огромное значение в жизни Афанасия Афанасьевича. Ему приходилось выслужить себе дворянские права, в которых он не был утвержден отчасти по случайности, отчасти по своеобычности отца, запустившего это дело. Поэтому он постарался кончить курс в университете и потом принялся ревностно служить.

До 14 лет он жил и учился дома, в Новоселках. Затем он был отвезен в пансион Крюммера в городке Верро, в Лифляндии, где провел три года. В 1837 г. его перевезли в Москву и поместили в число молодых людей, живших у М. П. Погодина, нашего известного историка. Через полгода он поступил в университет, сперва на юридический факультет, но уже через несколько недель перепросился на филологический, на котором и кончил курс в 1844 году действительным студентом.

Московский университет находился в это время в самой блестящей своей поре. В числе профессоров были Шевырев, Грановский, Крюков, Крылов, Редкин; Шевырев стал почитателем и покровителем поэта. В числе товарищей были Аполлон Григорьев, Я. П. Полонский, К. Д. Кавелин, кн. В. А. Черкасский и др. Почти все студентское время Афанасий Афанасьевич прожил в семье Григорьевых. Аполлон Александрович от начала стал его горячим поклонником, собирал и подводил под особые отделы его стихотворения. Они уже тогда так высоко ценились, что ободренный похвалами поэт решился издать свои произведения отдельною книжкою: *Лирический Пантеон А. Ф. Москва, 1840*, не имевшей, однако, никакого успеха, хотя благосклонно встреченной журналами. В «Москвитянине» 1842 и следующих годов нередко помещались стихотворения Фета, и А. Д. Галахов с большою смелостью внес некоторые из них в свою «Хрестоматию» (1843 г., первое издание). Наибольшее влияние на поэта имел Гейне, которым тогда зачитывалась молодежь. Но наш поэт усвоил от Гейне только его чудесные художественные приемы и бессознательно вкладывал в них совершенно иное содержание: свежее, радостное чувство красоты.

Новая полоса жизни началась для Афанасия Афанасьевича с поступлением в военную службу. В 1845 году 21 апреля он был принят унтер-офицером в Кирасирский *Военного ордена* полк. Постепенно он был произведен в корнеты (14 марта

1846), в поручики (14 августа 1849) и штаб-ротмистры (6 декабря 1851). В 1853 году 2 мая он был прикомандирован к лейб-гвардии Уланскому его величества полку и 28 января 1854 года произведен в поручики сего полка. Во время Крымской войны, в 1854 г. (с 8 марта по 7 октября) и в 1855 г. (с 16 апреля по 15 ноября), он находился в составе войск, охранявших берега Эстляндии. В 1856 г. (23 июня) уволен в отпуск, сперва на 11 месяцев, а потом в бессрочный, и, наконец, 27 января 1858 года вышел в отставку штаб-ротмистром. Но дворянских прав ему не удалось достигнуть, так как чиновный ценз на эти права все повышался по мере того, как он подвигался по службе.

Время военной службы было второю яркою эпохою в жизни Афанасия Афанасьевича. Много трудов и волнений, много радостей, строгая дисциплина службы, множество разнообразных лиц, успехи в любви, в дружбе, в литературе, — всем была богата эта жизнь. И можно прямо сказать, что на Афанасии Афанасьевиче до конца были ясно видны два отпечатка: старого помещичьего быта, с его тонкой общительностью и изяществом жизни, и военной службы николаевских времен, с ее строгим пониманием власти и обязанности.

Эти годы были расцветом его поэтической деятельности. Уже в 1850 г. он нарочно приезжал в Москву, чтобы напечатать сборник своих произведений: *Стихотворения А. Фета, Москва, 1850*. Книжка была встречена в литературе похвалами, даже восторженными, но расходилась плохо. Зато журналы наперерыв печатали стихи Афанасия Афанасьевича, и это приносило ему доход, немаловажный для его тогдашних средств. Перейдя в гвардию, он воспользовался в Петербурге первым случаем, чтобы познакомиться с кружком «Современника», — Некрасовым, Панаевым, Дружининым, Лонгиновым, Анненковым, Гончаровым, М. А. Языковым и пр., и тут же встретил прежних своих знакомых, Тургенева и В. П. Боткина. Позднее он познакомился у Тургенева с Л. Н. Толстым, вернувшимся из Севастополя. Этот кружок высоко ставил нашего поэта; например, Тургенев тогда писал ему однажды: «Что вы мне пишете о Гейне? Вы выше Гейне, потому что шире и свободнее его»^{*} — оценка, в которой много справедливо. Во главе кружка стоял, конечно, Тургенев, и под его председательством кружок решил общими силами выбрать, очистить и красиво напечатать собрание стихотворений Афанасия

^{*} *Мои воспоминания*, I, стр. 104.

Афанасьевича. Это и была книга: *Стихотворения А. А. Фета, Спб., 1856.*

С оставлением военной службы совпадает вторая и самая большая поездка за границу* и женитьба. В Париже Афанасий Афанасьевич женился (16 авг. 1857) на Марье Петровне Боткиной, сестре своего давнишнего почитателя и приятеля, Василия Петровича Боткина. После женитьбы три года были проведены зимою в Москве, а летом в Новоселках, принадлежавших (по смерти Афанасия Неофитовича, 1855 г.) замужней сестре, Борисовой. Но оставаться без дела Афанасий Афанасьевич не мог, и для него наступила пора новых усилий. С согласия жены он решил серьезно посвятить себя сельскому хозяйству и в 1860 году купил за 20 тысяч (из приданных денег) *Степановку*, хутор с 200 десятинами земли, во Мценском уезде. Это было ровное голое место, где стоял небольшой дом, только что построенный и еще вовсе неотделанный, где не было ни речки, ни дерева, и росла лишь в стороне березовая рощица на трех десятинах. Тут Афанасий Афанасьевич энергически принялся хозяйничать и жил 17 лет, лишь зимою наезжая ненадолго в Москву. Он отделал дом и расширил его пристройки, развел цветники, насадил аллеи, выкопал пруды и колодцы и, главное, усердно повел хлебопашество.

К этому времени относится его служба мировым судьей в течение 10,5 лет (1867—1877)**, его статьи по вопросам о сельских порядках, очень редкое писание стихов, которые тогда, как он убедился, уже не могли составлять для него какой-нибудь «материальной опоры»***, и постепенное возрастание его имущества, достигшего под конец той величины, которую можно назвать богатством.

По высочайшему указу 26 дек. 1873 года была, наконец, утверждена за Афанасием Афанасьевичем отцовская фамилия Шеншина со всеми связанными с нею правами.

В 1877 году Афанасий Афанасьевич решил бросить Степановку и купил за 105 тысяч руб. Воробьевку (так называемую Ртищевскую Воробьевку, по фамилии давнишнего владельца) в Щигровском уезде Курской губернии, на реке Тускари, в десяти верстах к востоку от известной Коренной Пустыни. Де-

* В первый раз он ездил за границу по выходе из университета, именно в Дармштадт, за маленьким наследством, доставшимся его матери, и за своею сестрою Каролиной Петровной, переселявшейся в Россию.

** *Мои воспоминания*, II, с. 124.

*** Там же, I, 314, 440. «Оскудение этого источника было причиной бегства в Степановку». В начале поселения в Степановке были, однако, напечатаны Солдатенковым *Стихотворения А. А. Фета, 2 части, Москва, 1863.*

ревня Воробьевка стоит на левом, луговом берегу реки, а господская усадьба на правом берегу, очень высокою. Каменный дом окружен с востока каменными же службами, а с юга и запада огромным парком на 18-ти десятинах, состоящим большей частью из вековых дубов. Место так высоко, что из парка ясно видны церкви Коренной Пустыни. Множество соловьев, грачи и цапли, гнездящиеся в саду, цветники, разбитые по скату к реке, фонтан, устроенный в самом низу против балкона, — все это отразилось в стихах владельца, писанных в этот последний период его жизни.

Вообще, тут началась новая жизнь. Хозяйство, как на 850 десятинах, прилежавших к Воробьевке, так и в других имениях, велось управляющим, а сам владелец, можно сказать, вернулся к литературе. Кроме стихотворений, внушенных минутами вдохновения, началась непрерывная работа переводов. Были переводимы: Шопенгауэр («Мир как воля»), Гёте («Фауст»), Овидий, Вергилий, Катулл, Тибулл, Марциал. Во всех этих трудах Афанасий Афанасьевич подписывался Фетом, дорожа именем, которому он приобрел такую громкую известность, и как будто твердо желая установить различие между поэтом и человеком, — то различие, которое часто было темой его разговоров. Под этим именем, принадлежащим к самым драгоценным именам нашей литературы, выпускается и настоящая книга.

В Воробьевский период были издаваемы собрания стихотворений под заглавием *Вечерние Огни*, первая книга в 1883 году, второй выпуск в 1885, третий в 1888, четвертый в 1891.

В 1881 году был куплен в Москве, на Плющихе, небольшой дом, и с тех пор установился тот обычный порядок жизни, в котором она шла до конца. Зиму Афанасий Афанасьевич проводил в Москве, раннею весною, никак не позже 15-го апреля, переезжал в Воробьевку и оставался там до последних чисел сентября.

Эту последнюю эпоху жизни поэта можно назвать временем довольства, житейского покоя и почета, прочной славы и спокойной литературной деятельности. Под конец он задумал написать свои воспоминания и оставил нам две большие книги: *Мои воспоминания* (1848—1889), 2 тома, Москва, 1890, и *Ранние годы моей жизни*, Москва, 1893 г. (посмертное издание). Тут читатели найдут множество всякого рода подробностей этой деятельной и разнообразной жизни. Прибавим лишь не занесенные туда главные события.

К их числу нужно отнести сближение с великим князем Константином Константиновичем. Как ревностный почитатель таланта Афанасия Афанасьевича, великий князь прислал ему в первых числах декабря 1886 г. книгу своих стихотворений и письмо. Отсюда началась переписка, не прерывавшаяся до конца жизни. В 1887 г. старец поэт ездил в Петербург и лично представлялся великому князю. Эти отношения он высоко ценил, и они составляли большую радость его последних дней.

В 1889 году 28 и 29 января был с большим торжеством празднован в Москве пятидесятилетний литературный юбилей Фета. Вслед за тем, 26 февраля, государю угодно было пожаловать юбиляру звание камергера.

Уже лет тридцать страдал Афанасий Афанасьевич одышкой, постоянно усиливавшейся, несмотря на всякие предосторожности. Не раз встречаются и в стихах его жалобы на «трудное дыхание». Впоследствии, лет за десять до смерти, к этому присоединилось хроническое воспаление век. В 1892 году, по приезде в Москву, он заболел бронхитом; эта болезнь прошла, но общая слабость усилилась, и 21 ноября в полдень поэт скончался, не доживши двух дней до 72 лет. Хотя его многолетняя болезнь в последние годы была мучительно тяжела, он бодро переносил ее, жаловался очень мало и редко; в последний день он был на ногах, но, чувствуя приближение роковой минуты, уговорил жену выехать за какой-то покупкой и умер, присевши на стул в своей столовой.

Вообще, душевные качества Афанасия Афанасьевича представляли очень заметное и прекрасное своеобразие. Он обладал энергией и решительностью, ставил себе ясные цели и неуклонно к ним стремился. Ему всегда нужна была деятельность; он не любил бесцельных прогулок, не любил оставаться один или молча погружаться в книгу; когда же имел собеседников, был неистощим в речах, исполненных блеска и парадоксов. Переписка с друзьями и знакомыми составляла для него не тягость, как для большинства писателей, а наслаждение. Стихотворения его были не плодом обдумывания и труда, а прямыми дарами вдохновения. В них обыкновенно нет никаких вступлений, а прямо изливается чувство, возникшее в известную минуту, в известной обстановке. Что касается его характера, то близко знавшие его согласятся без всяких колебаний с Василием Петровичем Боткиным, который приписывает ему «чистое, доброе, наивное сердце»*.

* *Мои воспоминания*, II, с. 96.

Отпевание происходило 24 ноября в университетской церкви, и потом гроб был отвезен Марьей Петровной в село Клейменово, в двадцати пяти верстах от Орла, во Мценском уезде. Село это, родовое имение Шеншиных, досталось по смерти отца Василию Афанасьевичу Шеншину и находится во владении его дочери, Ольги Васильевны, в замужестве Галаховой. Там на кладбище старой церкви похоронены отец и мать Афанасия Афанасьевича и некоторые члены предыдущего поколения Шеншиных. Но сам он положен не здесь, а в склепе под новою церковью, построенною нынешнею владелицей.

Там же похоронили и Марью Петровну, скончавшуюся 21 марта нынешнего года. Детей у них не было.

18 апр. 1894 г.





Д. ФОН-ЭТТИНГЕН

Из письма П. Унгерн-Штернбергу

<...> К сожалению, я могу сообщить лишь очень немного, так как муж мой в годы 1836—1838 в пансионе Крюммера в близкие отношения с гораздо более старшим А. Шеншиным не вступал.

Однако он помнит его, благообразного, темноволосого, невысокого человека, «уютного» характером, и любимого доброго товарища.

К нему был приставлен дядька, который был вместе с тем и поваром...

...Поэта Фета младшие ученики в их товарище не угадывали. <...>

(Дерпт. 31 декабря 1913)

Я. П. ПОЛОНСКИЙ

Из мемуаров «Мои студенческие воспоминания»

<...> На экзаменах, в большой белой зале с белыми колоннами, в новом университетском здании, соседом моим по скамье был не кто иной, как Аполлон Александрович Григорьев. Тогда он был еще свежим, весьма благообразным юношей с профилем, напоминавшим профиль Шиллера, с голубыми глазами и с какою-то тонко розлитой по всему лицу его восторженностью или меланхолией. Я тотчас же с ним заговорил, и мы сошлись. Он признался мне, что пишет стихи; я признался, что пишу драму (совершенно мною позабытую) под заглавием «Вадим Новгородский, сын Марфы Посадницы». Григорьев жил за Москвой-рекой в переулке у Спаса в Наливках. Жил он у своих родителей, которые не раз приглашали меня к себе обедать. А Фет, студент того же университета, был их постоянным сожителем, и комната его в мезонине была рядом с комнатой молодого Григорьева¹. Афоня и Аполлоша были друзьями. Помню, что в то время Фет еще восхищался не толь-

ко Языковым, но и стихотворениями Бенедиктова, читал Гейне и Гете, так как немецкий язык был в совершенстве знаком ему (покойная мать его была немкой еврейского происхождения)². Я уже чуял в нем истинного поэта и не раз отдавал ему на суд свои студенческие стихотворения, и досадно мне вспомнить, что я отдавал их на суд не одному Фету, но и своим товарищам и всем, кого ни встречал, и при малейшем осуждении или невыгодном замечании рвал их.

<...> Мое стихотворение «Пришли и стали тени ночи» было написано мной в такое время, когда я был еще целомудрен, как Иосиф. Фантазия, подсказывая мне только то, что могло бы быть, подсказала мне и это стихотворение; оно было послано мною Белинскому и напечатано им в «Отечественных записках»; это было второе уже стихотворение в этом журнале: первое же было «Священный благовест торжественно звучит».

Быть может, вы спросите меня, что давали мне мои стихотворения? — Ровно ничего — ни одной копейки; мне даже и в голову не приходила мысль о гонораре; высшей наградой для меня было самоудовлетворение или похвала таких товарищей, как Фет и Григорьев. Помню, Григорьев не раз повторял мне какие-то два стиха мои:

Дунет ветер, черный локон
Ляжет по ветру. — Пора!

Но откуда это? Я беспрестанно терял и забывал стихи свои. Вот что еще я помню об Ап. Алекс. Григорьеве.

Он любил музыку, но дурно играл на рояле и так же, как и все мы, восхищался Мейербером. Адский вальс из «Роберта-Дьявола» в полном смысле слова потрясал Григорьева. Родители его охотно отпускали его в театр, куда он ездил в сопровождении Фета, но не к товарищам. Старушка, мать его, держала его как бы на привязи; он никуда не выезжал без ее соизволения. У меня бывал он редко и оставался у меня обыкновенно только до 9 часов вечера; на дворе или за воротами ожидали его пошевни, и никогда я не мог уговорить его остаться у меня дольше. «Нельзя», — говорил он, спешил прощаться и уезжал.

Что касается до его внутренней жизни, то в первые дни нашего знакомства он нередко приходил в отчаяние от стихов своих, записывал свои философские воззрения и давал мне их читать. Это была какая-то смесь метафизики и мистицизма. Перед праздниками ходил он в церковь к всенощной, и раз, когда он, вставши на колена, до самого пола преклонил свою голову, он услышал над самым ухом шепот Фета, который, пробравшись в церковь незаметно, встал рядом с ним на колена, также

опустил свою голову и стал издеваться над ним, как Мефистофель.

Григорьев глубоко верил в поэтический талант своего приятеля, завидовал ему и приходил в восторг от лирических его стихотворений. Но юный Фет, который бывало говорил мне: «К чему искать сюжета для стихов; сюжеты эти на каждом шагу, — брось на стул женское платье или погляди на двух ворон, которые уселись на заборе, вот тебе и сюжеты», — все же иногда выходил из своей роли и писал очень резкие куплетцы, подсказываемые злобой дня.

Из письма А. А. Фету

...мне вообразилось, что в твоих воспоминаниях, прежде всего, я увижу — домик у Спаса в Наливках, то гнездо, где <...> жили старик со старухой, где было милое детище Аполлона. Какой он был — Шиллер в то время, как он боялся папеньки и маменьки, как мальчишка, а может быть, и девчонка босоногая приносила наверх стаканы чаю, как мы читали друг другу наши стихи, и каким тогда был ты либералом, когда писал:

Православья где примеры,
Не у Спасских ли ворот?
Где во славу русской веры
Мужики крестят народ...

и проч. и проч.

Все это время (ты, Григорьев, Студитский, Соловьев, юный Ив. Аксаков и другие) кажется мне каким-то фантастическим, полным своеобразной жизни <...> чего-то нелепого и в то же время молодого и горячего. Помнишь, как ты нашел Григорьева в церкви у всенощной и, когда тот, став на колена, простерся ниц, ты тоже простерся рядом с ним и стал говорить ему с полу... что-то такое Мефистофельское, что у того и сердце сжалось и в голове замутилось... А романтическая... несомненно напускная любовь! А первые попытки философствовать, а естественный вкус, и восторги от *Роберта Дьявола* и восторженное лицо Григорьева, за его бряцающими фортепьяно... и проч. и проч.

(Ст. Райвола. 14 августа 1889)

Из рассказа «Листки из рукописи скитающегося софиста»

<...> Целый вечер мы говорили с Фетом... Он был расстроен до того, что все происшедшее казалось ему сном, хотя видел всю роковую неизбежность этого происшедшего.

— Черт тебя знает, что ты такое... Судьба, видимо, и явно хотела сделать из тебя что-то... Да недоделала, это я всегда подозревал, душа моя...

Мы говорили о прошедшем... Он был расстроен видимо...

Да — есть связи на жизнь и смерть. За минуту участия женственного этой мужески-благородной, этой гордой души, за несколько редких вечеров, когда мы оба бывали настроены одинаково, — я благодарю Провидение больше, в тысячу раз больше, чем за всю мою жизнь.

Ему хотелось скрыть от меня слезу — но я ее видел.

Мы квиты — мы равны. Я и он — мы можем смело и гордо сознаться сами в себе, что никогда родные братья не любили так друг друга. Если я спас его для жизни и искусства — он спас меня еще более, для великой веры в *душу человека*. <...>

Из повести «Человек будущего»

<...> Он остался один. Ему хотелось быть одному, чтобы предаться своему внутреннему миру. Этот вечер взволновал опять в его памяти былые образы; но не дивный образ женщины, которой обаяние околдовало всех других, не этот светлый образ носился перед ним, нет — он ему напоминал только образ человека, прошедшего яркую черту на странице жизни этой женщины, с жизнью которого так долго и так с ранней молодости сливалась его собственная жизнь. Ему все больше и больше обрисовывались благородные мужественные черты, высокое чистое чело, саркастическая, но по временам женски-нежно-обаятельная улыбка. Ему слышались речи, то полные ледяного холода и ядовитой пронзающей насмешки, речи, которые от странности казались многим бессмысленными, но которые так изучил он, которые для него полны были глубокого смысла, — то поэтически-беззаветные, исполненные чудесных воспоминаний. В памяти его оживали те вечера, редкие вечера, когда, окончивши работу художника, передавши ему только что распутившееся свежее создание, — уверенный гордо в своем признании поэта — этот человек сбрасывал с себя кору черствой холодности, являлся тем, чем был он в существе своей богатой природы, и из уст его лились слова, проникнутые чи-

стотою младенца и разумом мужа. То были долгие беседы об искусстве, любимом им более всего на свете, или простые, но чудно-поэтические рассказы о первых днях молодости, о снежных беспредельных полях, озаренных полною луною, о лучах этой луны, играющей на полу старой залы, и о темно-русой головке с голубыми очами, наклоненными к клавишам рояля. И припоминалась ему та полоса их общей жизни, когда они оба любили эту теперь женщину, тогда слабое воздушное дитя, страдавшее в когтях палачей, добродушно и бессознательно ее терзавших, и то, как плакал тогда по ней, как ребенок, как юноша, как сумасшедший, этот человек сильный и крепкий душою, — как она видалась с ним в такие же светлые зимние ночи на паперти ветхой церкви и как она зашаталась от его первого мужеского поцелуя. Виталину припомнилось все это, припомнилось, как он сам благородно и бескорыстно болел душою за эту женщину, как он пламенно веровал тогда и как готов был отдать жизнь свою за то, чтобы не страдала эта женщина, это бедное больное дитя. И потом как промелькнула эта полоса жизни, образ одного только человека уцелел из нее, и Арсений думал о том, какую тайную силу имел он над ним, как умел он в его вечно страдавшей душе поднять всех змей страдания и обнажить перед ним все тайные, все отвратительные пружины этих страданий, злобно посмеяться над ними — и потом одним словом примирить все и подать руку на восстание. Перед ним предстали опять длинные бессонные для обоих ночи, когда, не имея ничего нового сказать друг другу, они говорили, однако, и им весело было говорить друг с другом, ночи, когда тот засыпал наконец, а Арсений еще сидел перед ним, смотря на этот строгий и спокойный профиль, на эту поднятую грудь, на эти белые, как из мрамора изваянные, женские руки. Арсению было так понятно, так страшно понятно, что его личная жизнь не имела больше смысла с тех пор, как отделилась от жизни этого человека...

Из повести «Офелия»

<...> Я говорил тебе раз о Вольдемаре, с которым мы жили как с братом, я говорил тебе о влиянии на меня этого человека.

Вольдемар был старше меня, когда мы сошлись с ним впервые; он начал жить слишком рано внешнею жизнью, до того рано, что вовсе позабыл о существовании иной, внутренней жизни.

Другими словами, Вольдемар не верил в возможность лучшего, другого чего-нибудь, кроме того, что им было уже про-

жито, а всем прожитым был он пресыщен, все прожитое было ему гадко.

А между тем он был в полном цвете молодых сил, которые развились в нем свободно и широко.

Он был хорош, как муж, но на устах его мелькала иногда обаятельная, змеиная улыбка женщины. Минуты такой улыбки бывали редки, но они бывали. И то не были минуты мечтательности, ибо мечтательность есть ожидание лучшего. Нет! то был странный, непостижимый, противоречащий рассудку возврат первоначальных детских снов, розовых сияний, какими окружен божий мир для едва пробудившегося сознания. В нем была способность усыплять свои я и во время сна накидывать на него давно сброшенную оболочку.

В нем была способность обманывать себя, отрекаться от своего я, переноситься в предметы.

Он был художник, в полном смысле этого слова: в высокой степени присутствовала в нем способность творения...

Творения — но не рождения — творения из материалов грубых, правда, но внешних, а не изведения изнутри себя порождений собственных.

Он не знал мук рождения идеи.

С способностью творения в нем росло равнодушие.

Равнодушие — ко всему, кроме способности творить, — к божьему миру, как скоро предметы одного переставали отражаться в его творческой способности, к самому себе, как скоро он переставал быть художником.

Так сознал и так принял этот человек свое назначение в жизни... Страдания улеглись, затихли в нем, хотя, разумеется, не вдруг.

Этот человек должен был или убить себя, или сделаться таким, каким он сделался... Широкие потребности даны были ему судьбою, но, пущенные в ход слишком рано, они должны были или задушить его своим брожением, или заснуть, как засыпают волны, образуя ровную и гладкую поверхность, в которой отражается светло и ясно все окружающее.

Но я говорю тебе, что это сделалось не скоро. Я не видал человека, которого бы так душила тоска, за которого бы я более боялся самоубийства¹.

Я любил его с безотчетною, нежною, покорною преданностью женщины — и теперь даже этот один человек в целом свете, с которым мне не стыдно было бы предаваться ребяческим, женским ласкам. Я боялся за него, я проводил часто ночи у его постели: стараясь чем бы то ни было рассеять это страшное хаотическое брожение стихий его души. Чем бы то ни было — без ограничения. Это было смирение, простиравше-

еся до самоуничтожения, это было убаюкивание, простиравшееся до лжи...

Может быть, я сделал его тем, чем он стал теперь, ибо как за якорь спасения схватился я за художественное влечение его природы, не думая, что вместе с этим развивалось в нем равнодушие.

Я убеждал его жить не для себя, но для своего призвания, как будто бы призвание не бесплодно, когда оно живет на счет жизни, как будто бы нужны миру *слепки* с него!

Я был нянькою, любовницей, женщиной для этого человека, и он знал это: он терзал меня!

И когда, в замену своей преданности, моя мужская натура требовала такой же, он убеждал меня в небытии моей мужской природы, моих огненных стремлений, моих безумных потребностей...

Я был одинок... я был чужд всем, ибо знал, что все, кому бы я ни открыл себя, назвали бы меня безумцем.

Он не звал меня безумцем, он сделал лучше, он поселял во мне сомнение в моем безумии...

Он не говорил мне: «Ты сам не знаешь, чего хочешь!». Нет! он говорил: — «Ты ничего не хочешь, ты играешь комедию».

И между тем таким же смехом, такую же ирониею встречал он все мои попытки мириться с требованиями мира, с знанием мира, с деятельностью мира. Ему равно не хотелось, чтобы я подходил под общий уровень, потому что в таком случае я перестал бы понимать его.

Он смеялся цинически над моею жаждой веры, убеждая меня, что я слишком умен, чтобы верить во что-нибудь, — и положительно не верил существованию во мне способности заняться чем-нибудь определенным на свете. В последнем он был прав.

Он любил меня потому, что я был необходим для него; смеясь над моими страданиями, он переживал их, как переживает зеркало отражающиеся в нем предметы; он любил не меня, но мою способность к хандре, к страданию.

Есть люди, которые думают, что можно мыслить так и жить иначе, которые готовы слушать оправдание злодеяний, пожалуй, и которые первые бросят камень за малейшее уклонение от обыкновенного пути.

Он с спокойной совестью поддерживал во мне мое мышление; он в минуты злой досады анализировал мне самого меня и доказывал, что у меня нет привязанностей, что у меня нет сердца, нет личности...

...Но зачем же сердце просит доверенности, зачем стремится оно жадно разделить каждое святое, прекрасное впечатление?..

...Поговорим, мой милый,
О Шиллере, о славе, о любви! —

сказал мне нынче Вольдемар, с тою редкою обаятельною улыбкою, за которую я забываю все пытки, какими он меня мучит.

Я до зари просидел у его постели, слушая его рассказы о первых грезах его поэтического детства, читая его стихи, рассказывая ему свои верования... Да! Этот человек один из немногих избранных искусства — и у меня есть назначение около него...

Из повести «Другой из многих»

От Ивана Чабрина к ротмистру Зарницину в Тифлис

Спб. 184... окт. 5.

Да, ты прав, мой милый! Нет, может быть, двух других людей, которые бы, как мы с тобой, в двадцать пять лет сохранили столько свежести, столько девственности душевной. И для меня, как для тебя, иногда как будто не существует этих шести-семи прожитых лет: опять иногда представляется мне наш верх с его старыми обоями, с его изразцовою печкою, которая нам почему-то надоедала до крайности; оживает снова вся эта жизнь вавилонская — как ты ее звал во дни оны — чудная, славная жизнь, со всей ее убийственной скукой, с патриархальными обычаями внизу, с колокольчиком, который так нежно возвещал нам час обеда и чая... с нашею любовью, наконец, общею, как все для нас когда-то... Эх, мой милый, все мне кажется подчас, что жизнь как-то не полна для нас обоих без этих декораций...

А. И. ГРИГОРОВИЧ

Из книги «История 13-го Драгунского Военного Ордена... полка»

Фет зачислился 21-го апреля 1845 года юнкером в Кирасирский Военного Ордена полк, в котором в то время служил его ближайший сосед по имению корнет Иван Петрович Борисов. <...>

Жизнь потекла своей колеєю...

Офицеры поочередно устраивали у себя вечеринки, вино подавалось редко, пили чай и болтали.

Поручик А. А. Крюденер под аккомпанемент гитары напевал куплеты, пели и хоровые, так, например, песню про богатого и бедного мужика:

У богатого мужика на стене картина,
А у бедного в носу паутина...

Хор подпевал:

«Соваясь, Ничипоре, совайся...» и т. д. <...>

Фет был зачислен во второй взвод первого эскадрона, и взводный вахмистр занялся обучением его пешему строю, а эскадронный вахмистр верховой езде.

К 6-ти часам утра Афанасий Афанасьевич являлся во взвод на уборку, затем часа два продолжалось пешее учение, по окончании коего подводили лошадь. <...>

Вскоре по ознакомлении с офицерским составом полка А. А. Фет набросал стихами шуточную характеристику всех младших офицеров. К сожалению, сохранились не все куплеты:

В зверинец мой раскрыты двери,
Зверей подобных в мире нет,
Рассортированы все звери,
И каждому дан свой куплет.

Вот Крюднер, капитан хохлатый,
Он привезен из дальних стран,
Молодцеватый, грубоватый,
А вот при нем его Бриган.

Вот Кащенко — и Петр, и Павел,
Я в клетке их держу одной,
Зверьки ручные, честных правил
И по-домашнему с лентой.

Вот Пален; петухом ли шпанским,
Айстом ли его назвать?
Он поится одним шампанским;
Полегче, ног бы не сломать!

Вот Рап-кобель. Каким-то чудом
И Агапей при нем всегда.
Кто кобелем, а кто верблюдом
Заняться может, господа.

Кази усами разукрашен,
Турецкой силой одарен.
Он бороною только страшен,
И до клубнички падок он.

А вот Кудашев; он был князем
Вдали на южных островах;
Силач, он всех кидает наземь
И татуирован в ...

А вот Краевский; с пальмы южной,
Страны полуденной жилец,
Но как обманчив вид наружный;
Он только с виду молодец.

Вот Клопман; ящик с зеркалами,
В помадной банке корм стоит,
Что день, то щетка; он духами
От головы до ног облит.

Вот отделение мелкой птицы:
Борисов, чтобы не забыть;
Он к нам приехал из столицы
«Мое почтение» говорить.

А тут, лишь клетку повернёт,
Для крошки в ящике простор;
Та крошка Фонька Ревельоти,
Мала, но ноготок востер.

Вот Иваненко для закуски,
В бараньих завитках кругом;
Не знаю, шпанский или русский,
Но только знаю — с курдюком.

Полковые поэты не заставили себя ждать и пошли строить стихотворения про Фета. На ближайшей вечеринке у Кащенко ротмистр Гайли прочел стихотворение, в коем нос Афанасия Афанасьевича играл главную роль; сохранились лишь четыре строчки:

Стихи в себе он носом будит
И в рог трубит, и рыбу удит,
Ну, словом, наш Афонька Фет
Чрез нос и физик и поэт...

Совместными усилиями группы офицеров сочинено еще и такое посвящение:

Ах ты, Фет,
Не поэт,
А в мешке мякина,
Не пиши,
Не смейся
Нас, детина!

Чтоб писать,
Надо знать
Хоть немножко.
Ты же, шут,
Да и тут
Как Тимошка!

«Хотя стихи явились плодом шалости молодежи, — пишет А. С. Мусин-Пушкин, — но отчасти они были верны. Фет был невысокого роста, мешковат, целые часы просиживал над перекладами с латыни, но не печатал их; у офицеров сложилось мнение, что он «дубовый классик».

Нет пророка в своем отечестве! Дарование Фета в своем полку не получило должной оценки.

Можно отметить лишь корнета Эдмунда Андреевича фон-Клопман, окончившего одну из остзейских школ и знавшего древние языки. Он часто сопровождал Фету на охотах и, разыскивая в полях куропаток, декламировал стихи Горация.

Среди окрестных помещиков, однако, были почитатели таланта Афанасия Афанасьевича. В 1830—1837 гг. в Орденском полку служили три брата Золотницкие, и один из них, Николай Дмитриевич, вышедший в отставку в 1837 году, жил в своем имении, в Александрийском уезде, но сохранил с полком дружественные отношения и посещал Ново-Георгиевск.

В один из приездов он обратился к Фету с предложением побывать у его соседа по имению Алексея Федоровича Бржегского, жаждущего познакомиться с молодым поэтом. <...>

Ввиду окончания 6-месячного срока пребывания в звании юнкера и предстоящего производства, Фет был командирован осенью 1845 года в дивизионный штаб (Новую Прагу) в юнкерскую команду.

Так как Афанасий Афанасьевич был записан на службу вольноопределяющимся «действительным студентом из иностранцев», то ему было предложено до производства в офицеры принять присягу на русское подданство в ближайшем комендантском управлении, то есть в Киеве. Фет в феврале 1846 года прибыл для этой цели в Киев. Месяц спустя по возвращении Афанасия Афанасьевича состоялся приказ о производстве его в корнеты (14-го марта 1846 года) и одновременно было предложено прикомандироваться к штабу корпуса. <...>

В делах московского отделения общего архива главного штаба сохранились «конduitные списки» офицеров полка; июньская аттестация 1848 года Афанасия Афанасьевича была следующая:

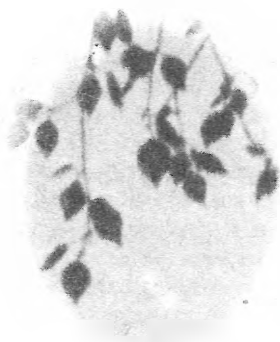
Усерден ли к службе? — Усерден.

Каких способностей ума? — Хороших.

Имеет знание в науках? — Математических, словесных, богословии, логике, истории, географии, статистике, физике.

Знает языки? — Французский, немецкий, латинский, греческий и чешский.

В аттестации за 1849 год следующие изменения: «По службе весьма усерден», «Способностей ума весьма хороших», «Нравственности весьма хорошей». Как-то в начале декабря 1849 года в разговоре с командиром полка Фет высказывал томившее его желание съездить в Москву для издания особой книжкой стихотворений, напечатанных в течение последних лет в разных журналах... Командированный приказом по полку в Москву «для закупки глянцовых кож», поручик Фет вернулся в Ново-Георгиевск 3-го января 1850*. Результатом этой поездки явилась изданная в Москве в начале 1850 года книга «Стихотворения А. Фета».



* За время службы в полку Фет воспользовался официальным отпуском 27-го сентября 1847 года на 28 дней, для поездки в Киев, Орел и Москву. Рапортовался больным: в мае 1851 года — тифозной горячкой и в январе 1852 года — «сильным ревматизмом в ногах и руках». (Прим. автора.)

А. В. ДРУЖИНИН

Из дневника

1853 г.

Понедельник, 7 декабря. Обедал, как водится у Панаева, где нашел несколько новых лиц: поэта Фета (верно, ип Рго-фета Мейерберова¹ — сказал Языков), коренастого армейского кирасира, говорящего довольно высоким слогом...

Четверг, 18 декабря. Обедал у Панаева, en petit comite* (что очень приятно), с Фетом, истасканным Михайловым и новым цензором Бекетовым, человеком очень милым, не имеющим ничего цензорского и свирепого. <...> После обеда явился Тургенев, которого я еще видел перед обедом, с Лонгиновым. Читали очень милую вещь Фета «Днепр в половодье» и другую, «Гораций и Лидия»². Но что за нелепый детина сам Фет! Что за допотопные понятия из старых журналов, что за восторги по поводу Санда, Гюго и Бенедиктова, что за охота говорить и говорить ерунду! В один из прошлых разов он объявил, что готов, командуя брандером, поджечь всю Англию и с радостью погибнуть! «Из чего ты орешь!» — хотел я сказать ему на это.

1854 г.

4 января, понедельник. <...> у Панаева, где собрались: Краснокутский, Сократ, Аполлинарий Яковлевич, Фет, Гаевский и московский или, скорее, костромской литератор Потехин, юноша довольно красивый, но очень неловкий. <...> После обеда пришли Языков и Тургенев, а Потехин стал читать комедию Иванова «Терпи, казак». <...> Вслед за тем Фет прочел свою вещь «Пчелы», какую-то грезу в майский день при виде пчел, вползающих в цветы. Никогда сладострастное влияние весны не было передано лучше, стихотворение всех нас обворожило. Затем Тургенев прочел многие мои неизвестные вещи Фета.

* в тесном кругу (*фр.*)

Воскресенье, 17 января. Часа в три явились Григорович, Фет, Каменский и брат с Олинькой. <...> Фет был весьма мил, читал свои стихи и начало «Подражания Данту», где, между прочим, рифмует *codex* и *rodex*^{*}, — мысль весьма счастливая. Каменский был очарован «Пчелами» и «Голубем»³. Фет очень сносен в дамском обществе, он не конфузится, говорит довольно много и не требует, чтоб его занимали.

1856 г.

Воскресенье, 29 января. Обедали у Некрасова с вернувшимся баши-бузуком Толстым, Тургеневым, Гончаровым и Григоровичем. После обеда читали предполагаемое собрание очищенных творений Фета⁴. Впечатление осталось отличное. Il y a là de la grande poésie^{**}.

Из писем А. Н. Толстому

Мне сказывал Григорович, что будто бы Фет мечтает о новом журнале и, что хуже, думает дать на него свои деньги. Защитите его от такой беды (если слух справедлив) и объясните ему, что в теперешнее время журнал может удался лишь в таком случае, если в основание его пойдет или очень много денег, или очень много живых сил.

(Петербург. 15 мая 1858)

Фета, когда увидите, поблагодарите за стихи, я их получил в исправности. Так как в марте идет его «Юлий Кесарь»¹, то я их пушу в апреле. В краткий свой приезд сюда Фет несколько раз был истинно велик, и его проект о выколониции глаз всем итальянцам до сих пор вспоминается нами не без умиления. В его «Кесаре» есть превосходные места, но весь перевод не разойдется в публике очень сильно: в языке большая напряженность, неисправимая потому, что он сам увлекается напряженностью и в Шекспире любит *необыкновенные загогулины*, по его собственному выражению.

(Петербург. 10 февраля 1859)

^{*} кодекс... зад (*лат.*).

^{**} Тут есть от высокой поэзии (*фр.*).

Бедный наш мудрец Фет сделал fiasco своим «Ю. Цезарем», над переводом смеются и вытверживают из него тирады, на смех.

(Петербург. 29 марта 1859)

Был недавно Фет со своим *Гафизом*², из которого стихотворений десять превосходны, но остальное ерунда самая бессмысленная. Сам Фет прелестен, но стоит на опасной дороге, скаредность его одолела, он уверяет всех, что умирает с голоду и должен писать для денег. Раз вбивши себе это в голову, он не слушает никаких увещаний, сбывает по темным редакциям самые бракованные из своих стихотворений, и есть надежда, что «Трубадур» и «Рододендрон» будут напечатаны. Тургенев тут не виноват, и он и я, мы отговаривали Фета от Гафиза, брали его за сношения с «Русским словом», но он сказал: «Если бы портной Кундель издавал журнал, под названием [...] и давал мне деньги за мои стихи, я, при моей бедности, стал бы работать для Кунделя». Вечера два он был велик, но все это может кончиться тем, что он повредится в рассудке.

(Петербург. 31 декабря 1859)

Д. В. ГРИГОРОВИЧ

Из «Литературных воспоминаний»

Редакция «Отечественных записок» имела совсем другой характер. Между сотрудниками не существовало товарищеской связи; многие из них не были даже между собой знакомы. Сюда нельзя было приходить, когда вздумается, собираться и проводить время в разных праздных беседах; сотрудники являлись каждый отдельно, только по делу и в известные часы. Вечера, имевшие целью сближение сотрудников, начались у А. А. Краевского несколько позже. На эти вечера — для их оживления, вероятно, — приглашались дамы, принадлежавшие к артистическому кругу и большею частью все одни и те же.

...Женское общество имело всегда свойство привлекать меня; я познакомился с дамами Краевского и, прежде чем пройти к нему в кабинет, всегда к ним подсаживался.

Раз сидим мы, входная дверь растворяется и пропускает величественную фигуру кирасира; шагнув вперед, он торопливо со мною поздоровался, брякнул шпорами, сделал поклон дамам и, выгнув молодецки спину, быстро направился в кабинет.

— Кто это? — спросила меня хорошенькая моя соседка г-жа Л.

— Это Фет.

— Кто такой Фет?

— Известный наш поэт.

— В каком роде? — продолжала расспрашивать любознательная дама.

— Как бы вам объяснить? В самом тонком неуловимо-поэтическом роде...

— Это как Вальтер-Скотт?

— Да, приблизительно, — отвечал я, поглядывая на двух других дам, которые едва удерживались от смеха.

А. Я. ПАНАЕВА

Из «Воспоминаний»

Фет уже был известен своими стихотворениями в литературе с 40-х годов; но я познакомилась с ним только в начале 50-х годов. Он приехал в Петербург на продолжительное время в отпуск из полка, и я виделась с ним каждый день. Фет находился в вдохновенном настроении и почти каждое утро являлся с новым стихотворением, которое читал Некрасову, мне и всем литераторам, кто просил его прочесть.

Тургенев находил, что Фет так же плодовит, как клопы, и что, должно быть, по голове его проскакал целый эскадрон, от чего и происходит такая бессмыслица в некоторых его стихотворениях. Но Фет вполне был уверен, что Тургенев приходит в восторг от его стихов, и с гордостью рассказывал, как после чтения Тургенев обнимал его и говорил, что это лучшее из написанного им.

Фет задумал издать полное собрание своих стихов и дал Тургеневу и Некрасову *carte blanche* выкинуть те стихотворения из старого издания, которые они найдут плохими.

У Некрасова с Тургеневым по этому поводу происходили частые споры. Некрасов находил ненужным выбрасывать некоторые стихотворения, а Тургенев настаивал. Очень хорошо помню, как Тургенев горячо доказывал Некрасову, что в одной строфе стихотворения «не знаю сам, что буду петь, — но только песня зреет!» Фет изболочил свои телячьи мозги.

У меня сохранился экземпляр стихотворений Фета с пометками и вопросительными знаками, сделанными рукой Тургенева.

П. М. КОВАЛЕВСКИЙ

Из воспоминаний «Встречи на жизненном пути»

Это было в Риме в половине пятидесятых годов. На Монте-Пинчио, залитом декабрьским солнцем, прогуливалось двое русских. Один был среднего роста, худощав, с жидкою остроконечною темною бородкою на болезненно-желтом лице, с карими, не без лукавства, глазами. На ходу он подавался несколько вперед, особенно подавалась сухая шея, а голова откидывалась назад и чуть-чуть покачивалась. Другой гораздо выше, плотный, с крупным носом на толстом лице, крошечными светлыми глазками, с такими же усиками, держался прямо и выступал твердою военною поступью. На нем было серое офицерское пальто (первой реформы нового царствования), с клапанами позади, только без металлических пуговиц. Первый был мне знаком по Петербургу, второго я в первый раз видел.

Они поравнялись с моею скамьею.

— Да это Ковалевский! — проговорил сиплым голосом знакомый.

— Здравствуйте, Николай Алексеевич.

— Здравствуйте, отец! Вот где встретились! Хорошо у вас тут!.. А его знаете?

И Некрасов указал на неизвестного.

— Не имею удовольствия...

— Ну, так имейте: это Фет, Афанасий Афанасьевич, а по-нашему Фетушка. Любите и жалуйте.

Кого угодно, только не автора изящнейших и воздушных стихов, ожидал я увидеть в таком воплощении!..

С этих пор началось мое знакомство с Фетом и закрепилось с Некрасовым...

...Его спутник «Фетушка» приехал не лечиться, даже не мог заболеть в невозможной темной и холодной квартире, какую он один способен был нанять в совершенно темном и холодном, как погреб, переулке, но сохранил привезенное с собою вождеденное здоровье. На Пинчио он выходил только перед закатом солнца, да и то потому, что там гремела военная музыка. Восход солнца Фет наблюдал из своей спальни.

— Вижу, — рассказывал он, — солнце всходит. Протираю глаза, — а это оно в оконную щель... да так-таки, как следует, вот как на риге всходит... Котята тоже в щели лазают, ей-богу.

Разумеется, холод в такой спальне был страшный.

— Вот толковали,— тепло, а у нас не в пример теплее,— вывел заключение Фет.

По вечерам сходились у Некрасова или у меня.

— И отчего это у вас тепло? — удивлялся назябшийся дома Фет. У меня холод просто гиперборейский.

— Оттого, что у нас солнце греет целый день, а у вас только всходит и вдобавок в щели... У нас ни котят, ни солнечных восходов нет, оттого, что нет щелей...

— Ну, уж будто бы и оттого? — не доверял он. — Я вот с утра до вечера жарю чугунок, и то не теплеет, только голова трещит. Нет, у вас лучше...

Но благодушный поэт писал и под этот угар прелестные стихи, большею частью сам того не подозревая.

— А нуте-ка, Фетушка, похвастайте, что вы сочинили сегодня, — обращался к нему за вечерним чаем Некрасов.

И Фет вынимал из бокового кармана свою записную книжечку.

— Должно быть, ерунда! — опасался он.

— Прочитайте, скажем, коли ерунда, не утаим.

Оказывалось удивительное по гармонии и изяществу лирическое стихотворение. Мы хвалили, Фет удивлялся, — он ждал, что обругаем.

Другой раз он доволен, — оказывается — ерунда.

— Вот подите же, угадуйте! — недоумевает он.

Точно ли Фет всегда не знал, что будет петь, как выразился в одном из своих стихотворений («Я пришел к тебе с приветом»), или притворялся, чтобы вызвать смех, которым обыкновенно сопровождалось его присутствие в близком кругу; но только он выдерживал это исправно.

Спокойное наивное выражение его лица в таких случаях дополняло комизм того, что он говорил. А говорил он вещи уморительные: например, передавал подвиги кавалеристов по морской части во время блокады английским флотом наших берегов. Служил он тогда в уланах. Вот получает он приказ: собрать эскадрон, — топить суда в Ревеле.

— Собрал я эскадрон. Привел к морю. Людей спешил и велю по команде утопить суда.

— А как их топить? — рассказывал Фет. — Ни я, никто не знает.

— Велите, вашескорodie, по бортам окошки рубить над водой, — посоветовал вахмистр.

— Рубить, — скомандовал я. — Стали рубить. Рубят, а судно не тонет.

— Раскачать надо, — вода набежит, беспреренно потопит, — советует опять вахмистр.

— Раскачивай, ребята! И весь эскадрон принялся качать судно, все не тонет. Что тут делать? А немцы, шельмы, стоят на берегу и смеются.

— Взять сюда немца! Привести! — командовал я. — Привели. — Как топить судно следует? — спрашиваю.

— Да не так, как вы топите! Вы людей-то, пожалуй, потопите, а судно нет, — ломается немец.

— Фухтелей ему, — командую: — говори, немец!

— Провертите в дне дыру, разом потонет, только убежать успевайте, — испугался, научил, спасибо, немец.

— И точно, как только провертели, так судно и пошло на наших глазах ко дну, — насилу мои уланы удрать успели...

Или повествование о необычайной образованности артиллеристов.

В Елизаветграде знакомая целому ряду поколений офицеров жидовка содержит трактир у самого въезда. Никто из военных его не минует. Даже корпусной командир, и тот непременно порасспросит у еврейки: Что новенького? Какие проходили команды и что делали офицеры? Вот еврейка и примется рассказывать.

— Проходили, ваше превосходительство! Много проходило, — и офицеров много было... На днях были артиллеристы. Ах, какие милые, какие образованные молодые люди. Такие милые, такие образованные, что и сказать нельзя.

— Что же они такое особенное делали? — любопытствует генерал.

— Ах, ваше превосходительство! Они тут *всэ* делали: и ели — много ели! И пили — ах, как только они много пили, просто *предистия!!!* Потом *тарэльки*, *румки*, *путильки* — *всэ* разбили — *за всэ заплатили!!* Ах, какие милые, какие образованные молодые люди!!.

А. А. ГРИГОРЬЕВ

Из письма А. А. Фету

Друг и брат Афанасий! Благодарю тебя и за письма, и главное за ту привязанность, которая в них видна, хотя за этикие вещи не благодарят. Все, что ты говорил тут о служении черни и проч. — это дело, да только это всё стрелы, летящие мимо. Об этом или надобен толк долгий, или вовсе не нужно никакого до времени. Дело покамест не в том, — дело в том, что ты меня понимаешь и я тебя понимаю, и что ни годы, ни мыканье

по разным направлениям, ни жизнь, положительно-мечтательная у тебя, метеорски-мечтательная у меня, не истребили душевного единства между нами. Рад твоей *Маниловке*, рад твоим стихам, которые прилетают ко мне —

Как май ароматный
В дыханьи весны,
Как гость благодатный
С родной стороны...

как гласит цыганская песня; и, пожалуйста, не верь ты в отношении к своим стихам никому, кроме Боткина и меня, разве только подвергай их иногда математическому анализу Эдельсона, — это для их здравого смысла, и кроме того, у него есть особенное яркое чутье, или чутье на яркое, но только на яркое, редко на тонкое и музыкально-неуловимое. Вообще верь только критикам в этом деле, а не поэтам, т. е. ни Тургеневу, ни Толстому, ни даже Островскому, по той простой причине, что они всегда смотрят сквозь свою призму. Наилучшее доказательство — несчастное издание второе, Тургеневское¹. Толстой, вглядываясь в его натуру сквозь его произведения, — поставил себе задачею даже с некоторым насилием знать музыкально-неуловимое в жизни, нравственном мире, искусстве. В этом пока его сила, в этом его и слабость. <...> Стихи свежи, благоуханны и, по-моему, даже ясны.

Рад за Ивана Петровича². Но не разучился бы он понимать *Венгерку*, которую так тяжело и хорошо понимал он силою глубокого и долгого душевного страдания? А впрочем, нет! От долгого горя есть всегда приличный осадок.

(Италия. 4 января 1858)

И. С. ТУРГЕНЕВ

Из писем А. А. Фету

Вы преисправный и прелюбезный корреспондент, милейший мой Афанасий Афанасьевич, и Ваши письма доставляют мне всегда живейшее удовольствие; во-первых, я вижу из них, что Вы расположены ко мне — и это меня очень радует; а во-вторых — от них веет таким спокойным светлым счастьем, что «вчуже пронимает аппетит»; — и это меня еще больше радует. Дай бог Вам продолжать так же, как Вы начали! Если бы я был поэт — я бы сравнил Ваше счастье с цветком — но с каким? Держу пари, что не отгадаете — с цветком ржи. Вспомни-

те цветущий колос на склоне холма, в сияющий летний день — и Вы останетесь довольны моим сравнением.

Вы говорите, что часто мечтаете о нашем общем житье в деревне в нынешнем году... Я мечтаю о нем даже здесь, среди величавых развалин, в длинных мраморных залах Ватикана. Недаром же судьба поселила нас всех — Вас, Толстого, меня в таком недалёком расстоянии друг от друга!

Если боги нам не позавидуют — мы проведем прелестное лето.

(Рим. 28 декабря 1857)

Часто думаю я о России, о русских друзьях, о Вас, о наших прошлогодних поездках — о наших спорах. Что-то Вы поделываете? Чай, поглощаете землянику возами — с каким-то религиозно-почтительным расширением ноздрей при безмолвно-медлительном вкладывании нагруженной верхом ложки в галчатообразно раскрытый рот. А Муза? А Шекспир? А охота?

(Виши. 18 июня 1859)

Много Вы мне говорите любезностей в Вашем письме; желал бы я, чтобы все мои читатели были так снисходительны, как Вы — и умели читать между строчками недосказанное — и недодуманное мною. Посмотрю, понравится ли Вам мой новый труд: это было бы большим для меня ручательством за его дельность. Я с Вами часто спорю и не соглашаюсь — но питаю большое уважение к Вашему художническому вкусу.

(Бельфонтен. 22 июля 1859)

Я до некоторой степени даже обязан отвечать — ибо Вы находитесь в хандре, по милости рефлексии, которую, по Вашим словам, я *на Вас накликал*. Вот тебе и раз! Во-первых, сколько мне помнится, Вы уже до знакомства со мною были заражены этой, как Вы говорите, эпидемией — а во-вторых, в наших спорах я всегда восставал против Ваших прямолинейно-математических отвлеченностей — и даже удивлялся тому, как они могут ужиться с Вашей поэтической натурой. Но дело не в том. Мне хочется рассеять одно Ваше заблуждение. Вы называете себя отставным офицером, поэтом, человеком... — и приписываете Ваше *увядание*, Вашу хандру отсутствию правильной деятельности... Э! душа моя! все не то... Молодость

прошла — а старость еще не пришла — вот отчего приходится узлом к гүзну. Я сам переживаю эту трудную сумеречную эпоху...

(Куртавнель. 16 июля 1860)

Я очень рад за Вас, что Вы действительно сделали добрую покупку — и успокоились и получили новое поле деятельности¹. Жаль, что от Спасского немного далеко — но с подставными лошадьми в скорости доехать можно — а местечко для охоты доброе. Наперед Вам предсказываю, что Вы меня будете часто видеть у себя гостем.

(Париж. Куртавнель. Август 1860)

С истинным нетерпением жду того счастливого мгновения, когда будущей весной, при соловьиных песнях — сворочу с Курской дороги на Ваш хутор. Тогда мы в последний раз тряхнем стариной и хватим из кубка молодости — и из другого кубка с Редерером² — но это последнее не в последний раз. <...>

Рекомендую и Вам <...> не пренебрегать беседой с Музами; впрочем, Вам теперь не до того; но успокоившись и вырывши пруд, воспользуйтесь последними днями осени и попробуйте настроить струны Вашей лиры — да пришлите ко мне.

(Париж. 3 октября 1860)

Ваши письма меня не только радуют — они меня оживляют: от них веет русской осенью, вспаханной, уже холодноватой землей, только что посаженными кустами, овином, дымком, хлебом; мне чудится стук сапогов старосты в передней, честный запах его сермяги — мне беспрестанно представляется Вы: вижу Вас, как Вы вскакиваете и бородой вперед бегаеете туда и сюда, выступая Вашим коротким кавалерийским шагом... Пари держу, что у Вас на голове все тот же засаленный уланский блин! А взлет вальдшнепа в почти уже голый осинової рощице... <...>

Получаете ли Вы «Искусства» Писемского и К^о? Как же Вас там нет, о жрец чистого искусства? Или Вы, не шутя, считаете себя в отставке? Знаете ли что? Попробуйте перечесть Проперция (Катулла также или Тибулла) — не найдете ли над чем потрудиться, не спеша? Одну элегию в неделю — «ничего, можно».

(Париж. Ноябрь 1860)

Я с Вами спорю на каждом шагу — но в Ваш эстетический смысл, в Ваш вкус верю твердо... <...> ...валяйте на бумагу все, что у Вас будет на душе. Выйдет очень хорошо — да я же привык понимать Вас, как бы иногда темно и чудно ни выражался Ваш язык <...>

Я не могу себе иначе представить Вас теперь, как стоящим по колени в воде в какой-нибудь *траншее*, облеченным в халат, с загорелым носом, и отдающим сиплым голосом приказы работникам. Желаю Вам всяческих успехов и донебесной пшеницы.

(Париж. 19 марта 1862)

Я очень рад, что Вы снова возвращаетесь в свое степное гнездо: а то Вы в Москве либо хандрите, либо слишком прилежно посещаете нашего старинного друга... г. Редерера.

<...> Дайте также продолжение Ваших милейших деревенских записок: в них правда — а нам правда больше всего нужна — везде и во всем.

(Париж. 26 января 1863)

Так, любезный Афанасий Афанасьевич, не пришлось нам увидеть друг друга! <...> А уж как хотелось мне видеть Вас — поспорить с Вами, с хрипом, криком, визгом и удушием — как следует — и с постоянным чувством дружбы и симпатии к спорящему субъекту!

(Москва. 31 марта 1867)

...с назначением в судьи поздравляю и Вас и наш край¹. И это поздравление мое серьезно. В Вас еще столько немецкой крови, что Вы, наверное, будете руководствоваться в Вашей деятельности ясным и честным здравым смыслом и положительной законностью — а *dunkle Drang** с свербеньем у пупка оставите для домашнего обиходу.

(Баден-Баден. 26 июля 1867)

Из письма С. Т. Аксакову

...у меня на днях был Фет — с которым я прежде не был знаком. Он мне читал прекрасные переводы из Горация —

* Неясное влечение (*нем.*).

иные оды необыкновенно удались — напрасно только он употребляет не только устарелые слова, каковы: перси и т. д. — но даже небывалые слова вроде: завой (завиток), ухание (запах) и т. д. Я всячески старался ему доказать, что «ухание» так же дико для слуха — как, напр., получение (от *благополучие*). Собственные его стихотворения не стоят его первых вещей — его неопределенный, но душистый талант немного выдохся. Попадаются, однако, прелестные стихи — напр.: эти два, оканчивающие грациозное описание летней тихой ночи:

И сыплет ночь своей бездонной урной
К нам мириады звезд.

Сам он мне кажется милым малым. Немного тяжеловат и смахивает на малоросса — ну и немецкая кровь отозвалась уважением к разным систематическим взглядам на жизнь и т. п. — но все-таки он мне весьма понравился. Он едет в Новгород — его перевели в какой-то уланский гвардейский полк.

(Спасское. 5 июня 1853)

Из писем А. Н. Толстому

Фет теперь в Риме... Да, батюшка, был он в Париже; но более несчастного, потерянного существа Вы вообразить себе не можете. Он скучал так, что хоть кричать, никого не видал, кроме своего слуги француза. Приехал было ко мне (то есть к m-г Виардо) в деревню — и оставил (это между нами) впечатление неприятное. Офицер *endimaché** с кольцами на пальцах и анненской лентой в петлице, рассказывает ломаным французским языком тупейшие анекдоты — юмор исчез совершенно, глаза круглые, рот круглый, бессмысленное изумление на лице — хоть брось! В моей комнате я с ним спорил до того, что стон стоял во всем доме от диких звуков славянской речи; словом, нехорошо было. Впрочем, он написал несколько грациозных стихотворений и подробные путевые записки, где много детского, — но также много умных и дельных слов, — какая-то трогательно-простодушная искренность впечатлений. Он — точно, душка, как Вы его называете.

(Париж. 16 ноября 1856)

Я нахожусь пока в деревне, у г-на Виардо, на днях еду в Париж для того, чтобы быть шафером на свадьбе Фета — недели через три или четыре (никак не более) — возвращаюсь

* Разряженный (*фр.*).

в Россию. Фет сияет счастьем — дай бог ему продолжать так, как начал, — и мне кажется, что у него есть *шансы* — его невеста, кажется, добра и, по крайней мере, не будет его мучить.

(Куртавнель. 26 августа 1857)

Из письма Н. А. Некрасову

Свадьба Фета совершается 2 сентября — и я обещал быть у него шафером. Он ужасно весел, болтлив и счастлив. Дай бог ему счастья! Он добрый, он его заслуживает.

(Куртавнель. 12 августа 1857)

Из письма А. В. Дружинину

Фет живет отсюда в 15 верстах, и я часто вижусь с этим милейшим смертным. — Он перевел *Антония и Клеопатру* и *Юлия Цезаря* — отлично — хотя попадались стихи безумные и уродливые, в роде следующих — (правда, сочиненных мною в виде пародии, но далеко не достигающих красоты оригинала):

Брыкни коль мог, большого пожелав,
Стать им; коль нет — и в меньшем без препон. —

Все эти чудовищные стихи мы постарались выкурить; труд был немалый — однако, кажется, он увенчался успехом.

(Спасское. 25 августа 1858)

Из письма П. В. Анненкову

Я видел Фета и даже был у него. Он приобрел себе за фаблезную сумму в 70 верстах отсюда 200 десятин голый, безлесной, безводной земли с небольшим домом, который виднеется кругом на 5 верст и возле которого он вырыл пруд, который ушел, и посадил березки, которые не принялись... Не знаю, как он выдержит эту жизнь (точно в пирог себя запек) и, главное, как его жена не сойдет с ума от тоски. Малый он, по-прежнему, превосходный, милый, забавный — и, по-своему, весьма умный.

(Спасское. 7 июня 1861)

Из писем Я. П. Полонскому

Я видел Фета в самый день моего приезда сюда — 9 мая — и теперь скоро опять увижу его: вместе с Толстым (Львом) мы отправляемся в его деревню (за 60 верст отсюда) — которая поглощает всего его с ног до головы. Он теперь сделался агрономом — хозяином до *отчаянности*, отпустил бороду до чресл — с какими-то волосяными вихрами *за и под* ушами — о литературе слышать не хочет и журналы ругает с энтузиазмом. Я, однако, сообщу ему твое письмо и твои стихи; он любит тебя от души. Нос его, в котором ты принимаешь такое участие, напоминает мне иные стихи Державинских од: «сизобагранный и янтарный» и т. д.

(Спасское. 21 мая 1861)

Мы ездили вместе с Фетом — и надо слышать, как он рассказывает нашу плачевную Одиссею! — Теперь он возвратился восвояси, т. е. в тот маленький клочок земли, которую он купил посреди *голой* степи, где вместо природы существует одно пространство (чудный выбор для певца природы!), но где хлеб родится хорошо и где у него довольно уютный дом, над которым он возится, как иступленный. Он вообще стал рьяным хозяином. Музу прогнал взащею — а впрочем такой же любезный и забавный, как всегда. Я у него буду на днях по поводу именин его жены. <...>

Хорошие стихи в теперешнее сухое время — как благотворная влага: надоели свистуны, критиканы, обличители, зубоскалы — черт бы их всех побрал! Надо послушать Фета об них!

(Спасское. 14 июля 1861)

Из писем И. П. Борису

Я получаю изредка письма от этого милого смертного; он в них плачет подобно Иеремии... а все-таки я убежден, что дела его идут недурно. Главная ошибка его была — покупка Степановки; но он с тех пор умел ее поправить.

(Париж. 11 декабря 1861)

Я получил письма от Боткина и Фета... Неужели наш милый Афанасьюшка лишится своей мельницы? Или судьба его мало колотила? Я ему написал на днях.

Вы теперь, чай, травите волков — а мы здесь стреляем по диким козам и по фазанам. Иногда поневоле вздохнешь о дупелях или о краснобровом тетереве, вылетающем из куста при неистовом восторге Фета...

(Баден-Баден, 22 сентября 1864)

С первыми красными днями я направляюсь в Новоселки и Степановку. Поклонитесь от меня владельцу сей последней и скажите ему, что я жажду увидеть его изсизе-бурый нос, услышать его очаровательно мычащую речь.

(Баден-Баден. 16 марта 1865)

Из письма П. Виардо

Фет здесь; он очень растолстел, облысел; бородачи у него стала огромнейшая. Чтоб посмешить меня, он надел на себя судейский мундир — действительно, в нем он очень забавен.

(Новоселки. 13 июня 1868)

И. П. БОРИСОВ

Из писем И. С. Тургеневу

<...> Вы и представить себе не можете, милейший Иван Сергеевич, как мы грустно провели лето. Как будто все возможные условия, составляющие в жизни хорошее и отрадное, унеслись из виду от Новоселок. Вас, Толстого не было. Фет чумел и нас всех доводил до отчаяния отчаянными покушениями купить землю во что бы то ни стало, какую ни попало, где бы ни было. Николай Николаевич, Ваш дядя, принимал живейшее участие и написал целый трактат, чтобы *не покупать* у Ржевского. Марья Петровна проливала слезы ручьями. Я, истощив все убеждения, дошел до озлобления и начинал отчаиваться, что человек вот-вот изгадит себе всю свою независимую и обеспеченную жизнь, но случай помог, и слава богу, что попало это имение, хотя далеко от нас, но с ним он справится и над ним отдохнет от мучительной праздной жизни. Едва уладилась эта покупка, как мы получили весть почти неожиданную от жены, что она здорова. В конце августа я с маленьким перебрался сю-

да, и будем здесь зимовать,—Фет побыл с нами несколько дней и возвратился в *Степановку*, где предается с неутомимой деятельностью всем хозяйским истязаниям и благодарит судьбу, что спасла его от *Ржевского*. Переписка у нас ведется почти ежедневная, и он описывает свою жизнь так ярко, что как будто видим всю его обычную суету. Тут все кувыркается — и стройка, и охота на вальдшнепов, и копанье прудов, и *балы*, на которые он врывается и отплясывает с прежнею уланскою удалью, и вольнонаемные работники — народ хитростный, забирающий вперед денежки, и Ах! нету мебели. Но рояль из Сердобинки¹ перевезена уже в Степановку, и Марья Петровна теперь верно разыгрывает сонаты Бетховена — и домик их принимает уютный, жилой вид среди этой степи, которую мы проезжали вместе по пути в Поныры. Поселились мы не в Сердобинке — там теперь грустно и пусто, слишком далеко от доктора и зимой холодно, и Феты будут в Москве всего два месяца.
<...>

(Москва. 8 октября 1860)

<...> Мы живем здесь самую уединенную жизнью — здоровье жены поправилось, но прочно ли? Знает один бог. Ждем в первых числах декабря Фетов, и ждем нетерпеливо — переписка с ним не заменяет вполне его приезда. Его вальдшнеповый полет неизобразим тем более, что иногда он, когда бывает в хандре, тянет и дупелем. Так и хочется влепить в него заряд. <...>

(Москва. 26 ноября 1860)

<...> Ждали, ждали мы приезда Фета, надеясь, что он оживит нашу жизнь, но вот они приехали. Не суетился, и дня два было хорошо, придет вечер — и мы мирно мурлыкали о фермерстве, пчелах и всяких благополучиях, ожидаемых в будущем. Теперь же всё кончено — хандра проснулась, и Фетушка бедный плачет, зачем они здесь (причина: Марья Петровна, всё для нее). В несколько дней он так благотельно подействовал и на мою жену, что и она спешит из Москвы. Слава богу! авось мы в феврале будем в Новоселках. Без всякого дела и занятий здесь не то что скучно, а тяжело дышать.
<...>

(Москва. 19 декабря 1860)

<...> Афанасий Афанасиевич решительно ничего не пишет и стонет по Степановке. Недавно видел его у Боткиных таким *Гафизом*, каким в жизнь мою не видывал его, да и он сам не помнит, чтобы ему так когда-либо приходилось вдохновляться, даже синий нос его побелел, а голос до сих пор не поднимается, и Марья Петровна его не спасла, вот она старость-то, на которую Вы как-то так мило намекнули. <...>

(Москва. 17 января 1861)

<...> Ваших в Спасском я еще не наведывал, но непременно проберусь к ним. Всё поджидал Фета, но об нем ни слуху, ни духу. С самого возвращения из Москвы ему удалось раз только заглянуть к нам из Степановки, и то на два дни, и исчез опять в своей степи. Вот на деле-то и видно, что 55 верст дистанция огромного размера, да и дороги нет в продолжение 11 месяцев, если не казнить по ухабам, зажорам, просовам, прососам, промоинам и прочим каторжным удовольствиям. К Вам переправили от него уже два письма, стало быть об нем Вы знаете. К маю месяцу он надеется управиться, и дом будет готов, и Марья Петровна будет уже хозяйничать в Степановке. Авось-то Ваш приезд будет и его почаще выманивать к нам. <...>

(Новоселки. 27 февраля 1861)

<...> Вчера из Спасского возвратился садовник Фета, везет воз молодых кленков, ясенков и вечного деревца из Чаплыгина — вот и степь порастет со временем. Я Фету дал совет называть свой лесок Чаплыгин. <...> Феты помышляют уже об Москве, чтоб по снежку в путь. Он уж не так сильно бранит Москву — знать и в деревне скучно. Жена навещала их и нашла, что Степановка всё хорошеет. Марья Петровна делается отличною хозяйкой, всё у них идет хорошо и ладно. Он неумоимо сооружает себе поместье Степановку — это его мысли, и это-то поддает всё новые и новые силы. По его письмам можно слышать, что там за шум и говор рабочий, и стройка, и молотба, и копанье, а всё еще ему мало. — Недавно в наших

местах был Ник. В. Калачев, у него смежно с Фатьяновкой имение и остается десятин 300 превосходной земли; крестьян уже отделил *уставной грамотой полюбовно*. Это была *первая* порешенная Николаем Никитичем. И это-то имение, в котором есть хороший дом, Калачев продает по 55 р. за десятину — почти в половину, что дали за Степановку, но главное от Новоселок 6 верст, а от Вас верст 20. Не досадно ли теперь на нетерпеливого Фета, всё его суета и что хуже, всё это наделала *статья* «Современника»². С того дня, как прочел — он бросился из литературы в фермерство, — это истина верная. <...>

(Новоселки. 12 октября 1861)

<...> Не могу, хотел было воздержаться, но нельзя Вам заранее не поведать о восхитительной статье Фета: «Жизнь Степановки, или Лирическое хозяйство»³. Ничего не выдуманно, все истинная правда. Но всё это передано неподражаемо, фетовски. Боюсь, однако, что злодеи пожалуй скажут, что автор не бросается уже с 14 этажа, но летит еще выше, выше⁴. Я был в восторге, слушая его. Вы же из его писем уже знаете, в каком оно духе. Скоро весь плач Иеремии прольется на страницы «Русского вестника». Катков уже взял.

Из Москвы мы получили еще только одно письмо, и оно обещает многое впереди. Он уже отыскивает моральные ресурсы для себя и бросается куда? К Энгельгардт. Поэтому представьте же себе, что такое для него Москва. Сестры Энгельгардт⁵ обдают его свирепой ерундой и он вешает нос... Для начала недурно. Не знаю, милейший Иван Сергеевич, испытываете ли Вы то наслаждение, какое вот я двадцать лет от нашего натурального лирика. И чем плач его слышится сильнее, тем лучше для него. Без этого нет ему и жизни. Окружите его всевозможными удовольствиями и со всех сторон безмятежным покоем — и он тотчас умрет и морально и физически. Посибаритничать он может только минуту где-нибудь в Спасском или на охоте где-нибудь в лесу, но не долго — нужно или в эскадрон или в Степановку. Нынешним летом познакомился я с одним молодым человеком механиком — устраивал нам молотилку, скромный, тихий, неглупый и малограмотный, но с жаром о всяком столпотворении. В ноябре привозит он тетрадку: *Стихотворения Розанова* — и открывается, что он поэт, — представил его к Афанасию Афанасьевичу — было чтение и строгий разбор, кончившийся хохотом там, где поэт Розанов плачет. Но все-таки Афоня нашел в нем *исхру*. Разгорится ли и будет ли что? Неизвестно. Но родился он на Зуше, в таких местах,

где по Аполлону Григорьеву — только и рождаться русским поэта́м. <...>

(Новоселки. 25 декабря 1861)

Здравствуйте, добрейший, милый Иван Сергеевич.

Фет уже возвратился и сиплым голосом рассказывает про Москву и всякие свои в ней похождения. На пути он дня три прогостил у Вас в Спасском и едва несколько деньков у нас в Новоселках. В Степановку! в Степановку! Но на счастье наше нужно было ему заняться окончанием своей статьи в «Русском вестнике», и статью кончил и нас уладил. Вот удовольствие жить за 60 верст — почти не видимся. Он еще покруглел, брюшко поприбавилось, ножки потолстели, но халат всё тот же. <...>

(Новоселки. 22 февраля 1862)

<...> Необходимость по делам подняла меня из дому в Орел, и потому-то в ужаснейшую бурю по ухабам, зажорам, раскатам, колчаям, просовам и проч. пр. прилагательным существующих наших дорог пробрался я на Степановку в самую Фетовку. Дорогою пробовал считать версты — не возможно, мука была убийственная. Спрашивал себя, что по доброй воле поехал ли бы я снова по этому пути за все деньжища Фета? — *Нет*, даже и за весь его капитал не поехал бы. Но зато в Степановке, при виде всей внутренности их домика — хлопочущей Марьи Петровны и самого Громовержца, озабоченного новыми сооружениями, у меня зыграло сердце. Отогрелся и обсушился, словом, свои дела и печали — как с гуся вода. С умилением слушал, что всё у них с приезда шло отлично, благоденствие и мирная тишина. Вдруг кучер новый, привезенный из Москвы, подрался с кем-то, и сумбур начался, и пошла катавасия. Тут-то я и прибыл — пособить нечем. Рассказал им про свои мелочные несчастья и этим много успокоил страждущего, и он повеселел, и долго мы просидели ночью и чего-чего не перетолковали. Читал он мне два стихотворения новых — «Ранняя Весна», посланное Вам, и «К Тютчеву»⁶. Оба мне понравились — напоминают молодого Фета и Весну, просыпающуюся под снегом. <...>

(Новоселки. 14 марта 1862)

<...> А Фет третьего дня прислал такое письмо, с такими ожесточениями, с такой фетовщиною, что мгновенно меня окислил. Надо ему убираться из Москвы и поскорей, а не то пропадет, и я думаю, что коварный друг по сердцу милый Редерер одолевает старого улана. Но *авось* с Нового года он перестанет, хоть ради того, что откуп кончился. <...>

(Новоселки. 11 января 1863)

Милый и дражайший Иван Сергеевич, недели с три всё порывался к Вам и вот откуда повествую. На первых днях масленицы нежданно сам увидел ранним утром, как из-за березника подвигалась почтовая повозка тройкой, и, рассматривая барахтанье тонувших в снегу пристяжных, по высунувшейся борде узнал Фета. Но когда занес руки объять его, то испугался — передо мною стояла тень прежнего — восковое, прозрачное, бескровное тело — мутный взгляд. Тяжело и грустно мне стало, и целый день, что он пробыл на перепутье, мы провели в каком-то раздумье нерадостном. И Марья Петровна приуныла. Московские его повести он, верно, сам Вам поведал. Третьего дня я был у него в Степановке и слава богу нашел его почти молодцом, и ноги стали с подходцем, голос ожил, и нос зарумянился — и письмо Ваше получил, а Вы знаете ли, как он Вас любит! а Вы его долго помучили. Прочел он мне несколько глав своих записок — мало сказать, что они интересны, — в них фетовщина прелестная. Особенно хороша глава о литераторах. Вы так и видите, к кому он подбирается и какому вору бую готовит камень, ну вероятно и они поклюют его поля, в этой статье или в Солдатенковском издании его сочинений⁷. Хотя он строго себя цензоровал, но «Бурю на море» опять печатает. <...>

(Орел. Гостиница Самсона, № 2. 19 февраля 1863)

<...> Так я уверен, что Вы насладитесь этими «Казаками», что не буду больше и говорить. Это дивная повесть. Фет ее еще не прочел. Он сего дня с Петром Афанасьевичем⁸ уехал от нас в Степановку, пробыли два дни, и как я его ни искушал, но поехал читать домой — оттого и не писал от нас к Вам, напишет из Степановки. Хоть лихорадка снова его трясла, но уже становится опять фермером, как следует. Вы не можете и предста-

вить себе эти два дни, как мы их проводили. Давно не видал я Фетушку таким милым и до слез уморительным. Представления его были самые разнообразные, но мы видели действительно тех людей, кого он только вызывал. Само собою Вы тут же были с нами как бы зрителем, и он непрерывно обращался к Вам с вопросами и сам же за Вас отвечал. <...> А как он нам спел новые цыганские романсы, безголосым горлом всё передал, что в них только есть, наслаждения цыганской страстной неги, и даже эта заноза, где ей быть, кольнет. <...>

(Новоселки. 10 марта 1863)

<...> Степановка процветает. Степановцы — счастливы. Михайла всякий день довершает таким обедом, что Василий Петр. говорит, что если б гр. Левашов знал только, что *это так*, то всякий бы день обедал в Степановке. Фетушка, хотя и хвор всё еще, но чувствует себя гораздо благополучнейшим фермером, чем прежде, и хоть сено в нынешнем году дождями попорчено, зато было сильное утешение в землянике — ее в Степановке был такой урожай, что достало бы на всех тетеревей Калужской губ. Обирали мы ее сами, всей семьей и превеликие подносы уносили к Марьюшке на хранение — чтобы мало-помалу исполинскими порциями поутру рано, ввечеру поздно, *до* и *по*, и во всякое время поглощать благодетельницу. <...>

(Новоселки. 10 июля 1863)

<...> я почти всё лето прожил в уединенных Новоселках, во всё лето Фета видел два, три раза, забираясь в Степановку. Они сами в нашу сторону забирались только на встречу и проводы Василия Петровича Боткина, который всё лето прожил у них в Степановке и остался вполне довольным и всем и вся. Сбирались было они все к Вам за границу, да дела фермерские и другие соображения удержали Фета — который действительно много хлопочет и трудится, и пишет, и плачется на бедность свою, а владения его между тем расширяются и капитал мало-помалу пухнет вместе с его брюшком. Про жизнь Степановки писать Вам нечего, верно Вы, вспоминая их, не раз рисовали себе картины из этой жизни, и всё это верно выходило. Михайла действительно мастер, и его обеды много придают

приятного в сельской жизни, и воздух легче, и вода вкусней, и даже польские дела не возмущают желчи, и домашние события маленькие, мелкие, как, например, топтание полей, пьянство рабочих или падение жеребенка в колодезь,— всё это гораздо переносится легче, когда желудок в удовольствии. Я потому больше говорю с Вами о Степановке, что мне тяжело и подумать о Новоселках. Несчастная болезнь жены отгоняет меня как-то совсем от людей и от участия и сожалений, и только отвожу душу на Фете. <...>

(Новоселки. 14 сентября 1863)

<...> Вы и представить себе не можете, до какой степени изменился воздух в общей жизни,— старому Фету — прежнему, не фермеру, идохнуть бы теперь нечем было, не то что петь «на суку извилистом и чудном».

<...> Цинизм действительной жизни тяжел уже всем, а фантазии Чернышевского в «Что делать» действительно могли довести Фета до ярости палача Бурнаила.— Возвращаясь из отъезда, я не застал уже их в Степановке и ночью верхом проехал мимо их домика. Там и огонька не мелькнуло — только *Мужик*, его цепная собака, со своими потомками, верно причуяв чужих, неистово заливались и завывали разными голосами.— От него я уже получил одно письмо из Москвы. Они поселились в доме Боткиных у Василия Петровича. Что ему! Он может жить поживать и добра наживать припеваючи. Написал он прекрасную статью — ответ «Современнику», а разбора Чернышевского кажется так и не будет. Статьи Фета «Из деревни» всех очень интересуют, а иных приводят в ярость даже. <...>

(Новоселки. 28 октября 1863)

<...> Возвращение Фета меня не то чтобы только обрадовало, но оживило. Явился он ночью — слышу прежде собачью тревогу — маленький Пузик и овчарка Полкан с Лохматкой далеко их встретили. Вдруг слышу — осторожное постукивание в дверь — как не угадать нежной его ручки. Возвратился он, враг-то Ваш, молодцом, не таким, как в прошлом году. И за Вас радуюсь, что и Вы, по его словам, не изменились. Пробыли они недолго — не дал порядком отдохнуть и Марье Петровне, спешил в Степановку на новые подвиги фермера. Вы знаете, с какой любовью и как! враг Ваш умеет Вас представить.— Вот и я как будто побывал с Вами и на погребении Дружинина.—

В этом рассказе самое замечательное то, что Фет *затылком* увидел своего друга Некрасова и как тот шмыгал змееподобно. Ну и как Вы на него посмотрели. <...>

(Новоселки. 11 февраля 1864)

<...> Я никого не вижу, месяца полтора не был за Зушей, а Фета не видал со Святой недели...

<...> Степановку нашел в разрушении — все было переломано и новые сооружения покрыты были опилками, чурками и стружками. В одной комнате Марья Петровна, и Фет, и рояль, и ящики с главнейшими сокровищами. За стенами же этой комнаты холод, а на дворе мороз и вьют витры, но всё это не мешает хриплым и сиплым голосом Фету знакомить меня с романсом «На холмах Грузии». Меня это пронизывает бесконечно насквозь! Дух захватывает оттого, что *шумит Арагва* *по-до мною*. <...>

(Новоселки. 22 июня 1864)

<...> Про Фета Вы верно знаете всё — как он с Боткиным прожил всё лето в благополучии. Потом они вместе отправились в Петербург, и вернулся он благополучно. Мельница его не дает ему покою, как бывало не давал покою Некрасов. Процесс всё еще тянется и протянулся от Ливен до Петербурга. В настоящее время, забрав Марью Петровну, уехал на Тим, чтобы там расстрелять всех вальдшнепов — и верно проклинает свою судьбу, если только не замерз. Можете себе представить, что в ночь поднялась буря, метель и утром мы проснулись уже в зимних пределах — всё побелело, метель продолжается. <...>

(Глазуново. 23 сентября 1864)

<...> С тех пор как Фет переселился в Степановку, мы всё реже и реже с ним видимся, а теперь вот, как у них владения протянулись еще дальше на юг, то совсем они для нас пропали и бывают проездом в Москву да из Москвы. Каждое свидание оставляет во мне тяжелое по нем чувство — он всё более и более болеет мнимой *бедностью*, и по мере увеличения его материальных богатств — увеличивается его беспокойство, чем жить? Толковать об этом уже нечего, всё только раздражает

его. Будь Вы поближе, то уверен, не дали бы ему питаться подобной пищею и он был бы молодцом. Зато, когда приходится минуты веселые, он так мил, добр, что еще более жалеешь, что Степановка унесла его в гремящую даль. <...>

(Новоселки. 1 октября 1864)

<...> Словечка перемолвить не с кем. Только Петя⁹ выручал. Вдруг прогремели сани тройкой, и вот я ожил. — Фет Вам уже написал свое послание... <...> Фет везет в своей книжке довольно-таки векселей на получение от Каткова, и этот год ему урожайный. С годами он безвозвратно только теряет волосы, брюшко же всё более и более округляется, как и мысль его лирических колдований. Только Вас недостает ему, а то бы я назвал его счастливейшим из смертных. Всё, что ему нужно, всё есть. Степановка процветает, мельницу освободил. Захотелось в Москву, Петербург — едет. Захотелось рвать кишки себе — стоит только подумать о родине. Много, много у нас с ним бывает споров, но вот в чем согласны. Отчего это как-то лучше, когда сидишь дома и никого не видишь и не слышишь, и отчего это в последнее время к кому ни взойдешь в дом — читаешь на стенах: «Мани, факел, фарес»¹⁰. Разрушение ли или возрождение? Но только жизнь всех востормошилась.

<...> В литературе нового ничего нет. Есть в «Русском вестнике» Константиновича коротенькие рассказы: «Бурбон», «Капитан Бодров» и еще два. Хороши и очень. Из военного быта и так верны правде, как бывало Фет передает свои воспоминания, которые наконец и он начал записывать и везет Вам прочесть. <...>

(Новоселки. 6 декабря 1864)

Недавно писал я Вам, добрейший Иван Сергеевич, вместе с Фетом, которого бури задержали недельки три в нашей тихой пристани — но он давно уже на всех парусах умчался в Москву и там празднует да изредка подает оттуда нерадостные вести нам о своих делах. <...> Свои «Стихотворения» изд. Солдатенкова Фет нашел хранящимися во всей целости у честнейшего Кетчера. <...>

(Новоселки. 10 января 1865)

<...> Жду Фетушку к 15 февраля. Проездом, верно, пробудет у Вас денек, не более. Вы еще не видали его, когда он спешит в Степановку после Москвы. Тут только и слышу от него: «Ты сам знаешь, можно ли мне куда отъехать?» и... и... и... тысячами сыпятся разные хозяйские заботы. Матки должны жеребиться, навоз не вывозят, — лес, доски, камни, а корм, корм!! А тут еще статью Каткову кончить и уже, наверное, ломать и строить, и пруд копать. Я его ужасно люблю в эти минуты хаоса. Тут же и рассказы, что там и как, и почти все рассказы без начала, и конец им — широкий взмах рукой в воздухе. Голос — хриплый-сиплый, кашель, переходящий в непрерывный эх-хе-хе-хе, эти ХЕ всё. На это время я, как бы ни был сам болен, чувствую себя совершенно здоровым.

Так вот теперь к чему я готовлюсь. Доставайте скорее 1-ю книжку «Русского вестника», в ней («1805 г.») Л. Толстого, я еще не читал и не получал. Там есть и И. С. Тургенев¹¹, стихотворение Фета превосходное. <...>

(Новоселки. 8 февраля 1865)

<...> Толстой много изменился к лучшему — в семействе он счастлив до небесных высей, и ему тяжело покидать их на минуты. Жена его прелестнейшая женщина по формам, добра, проста, естественно хороша, и любит его, и здорова, и весела как птица в хорошую погоду. Хотя Фету и не нравится то, что у нее уже двое детей и она сама кормит. Но Афоня, кажется, окончательно сбит с человеческой почвы: Толстым, засухой, степановским хозяйством, смертью журналов и отъездом Боткина. Обыкновенно, пока Наполеоны идут на Россию, — то у нас дело кипит, а как нет их, то ничего не поделаешь... А жить хочется и хочется непременно по-своему, ну поневоле и делаешь из мух — слонов. Он до того привык исчислять будущие бедствия, что решительно не может остановиться на хорошей минуте настоящего. <...>

(Новоселки. 25 июля 1865)

<...> Во 1-х, только сегодня утром, чуть не со свечами уехал от нас Афанасий Фет Афанасьевич. Несколько деньков были вместе — передал ему Ваше письмо, и он, верно, из Степановки пошлет Вам свои ведомости. Приезжал он с Марьей Петровной, намереваясь пробраться в Спасское, но, разузнав про дороги в Спасское, — убоялись.

27 октября во Мценске были выборы *гласных* из землевладельцев, вот мы туда с Фетушкой и отправились, и желал бы Вам написать голосом Садовского в Кречинском «Была игра!!»¹² и то этого недостаточно. С 11 часов утра до 9 вечера не пили, не ели, а шумели, баллотировали, перебаллотировали до 3 раз некоторых и выбрали-таки 18 гласных и 3 кандидатов.

<...> Мы с Фетом нечаянно не попали в гласные, и он уже призадумывается, не служить ли ему в думе; я же на этот счет спокоен и с тем только баллотировался гласным, что нигде служить не буду. Дядя Ваш приезжал посмотреть, и я его рассмотрел — ну что это за молодецкое поколение стариков, он свеж, бодр, — а Фет! посмотрели бы вы на него около 5-го часу, ну что это такое: глаза закатываются, нос как будто свесился в бороду, а борода задралась на две стороны, подойду к нему — он сонно смеется. Я чувствовал усталость до глухоты, шум в ушах, голод до отвращения даже к обеду, предложеному Николаем Никитичем: тут же, в какой-то конуре (дело наше происходило в воксале) гляжу — А. Ф. уже одолевает кус кулебяки, полуаршинный кусочек. Часов в 9 было всё кончено, т. е. выбрано 18 гласных и 3 кандидата, и нас распустили. Тут надо было в грязи, впотьмах отыскивать дорогу на постоянный двор Богатырева, где мы надеялись найти местечко переночевать.

<...> Несмотря на убийственное утомление — одной дороги до Мценска — и всего, всего, — воздух номера нашего спиртуозно кислый, грязь, клопы и блохи, на которых нет на Руси мора, и Фет со свистами в груди и кашлями во всю ночь не дали мне заснуть. <...>

(Новоселки. 29 октября 1865)

<...> Уже недели три «Дуют витры, дуют буйны, аж стены трясутся». Искося поглядываю на окна, отыскивая незаледевшей щелочки — посмотреть, что там делается. И днем и ночью гул и вблизи, и где-то вдали. Морозов сильных еще не было, градусов 15, не более, но вихри душат и засыпают уже не снегом, а сырым песком с пылью. Все поля ободраны, черные. Не то что 15 верст к добродетельной помещице, теперь не решились бы Вы и выглянуть. Вот когда настоящее убежище в халате, и, верно, Фет все эти дни лежит и блаженствует, не умываясь и не раздеваясь...

Несколько дней я имел отрадное безумие ждать Фетушку по его обещанию. Готовили любимые его блюда, пирожки непременно к супу; но успели уже покончить целого тельца и не-

сколько жирных индеек, а их нет, да и быть не могли — кого теперь нелегкая выгонит из дому? Раз, однако, я встрепенулся, заслышав: кто-то вошел, и вижу Дьякова, покрытого сибирской пылью. Едет в Орел закупать на елку. Здоровяк, хохочет, растопили жарко камин — чай и целый день до глубокой ночи не говорили, а бормотали — говорил он, что они получили уже романсы М-те Виардо, но теперь не идут на лад. Надо Фета туда свезть — помнит, как он спел один из них. Да еще искалечил-то свой — «Я принес к тебе две розы»... Но зато «На холмах Грузии» он хрипит божественно. От Дьякова узнал, что Толстой кончил свой «1805 г.», но печатать не хочет, пока еще *не докончит* несколько томов, т. е. этому делу его не будет конца. Здоровье его плохо, боится чахотки. А бедная Марья Николаевна всё в хандре. До сих пор болезнь эту я не могу представить себе страшною иначе, как хандра Фета. Боже! как он невыносим. Еще когда проявляет злобу с яростью, можно сносить, но когда перейдет в едва живые звуки умирающего — не советую Вам оставаться с ним под одной кровлей, и если он в Степановке — спасайтесь в Баден. От одного воспоминания прихожу в содрогание. <...>

(Новоселки. 6 декабря 1865)

<...> Вы, добрейший Иван Сергеевич, Вашими добрыми строчками меня всякий раз унесете из моего хмарного состояния в ту звенящую даль, которую когда-то видел Фет¹³, ночи там нет, и благовонный миндаль, и всё хорошо.

С неделю уже как я как-то ночью слышу стукотню над головой моей, по лестнице, — встаю и вижу в передней самого Афанасия Афанасиевича, в руке держит подушку за угол, только что вытащенную Марьюшкой из повозки. Подпоясанная, без перехвата впрочем, шуба скрывала еще все драгоценности и только одна борода вырвалась наружу, но вот и сизый нос, и сонные глаза, и улыбка, единственная, настоящая, Фетовская. На этот раз, слава богу, Москва его не разрушила, ничего, даже Петя спросил его: «Что это у тебя, дядя, на животике», до того этот животик лез из халата. Но все-таки доктора и *Пикулин* велели пить воды. С Катковым помирился и в ноябр. кн. «Вестника» есть уже стихотворение¹⁴. Но одно пошлет Вам, только что написанное — «Тютчеву» — каких давно уже не бывало¹⁵. Нечего тут Вам рассказывать, он сам же Вам, верно, уже и написал свои разные новости. Только день пробыли они и скорей, скорей в Степановку. <...>

(Новоселки. 28 января 1866)

В. П. БОТКИН

Из письма М. П. Боткиной

Бедный Фет, кажется, в ужасном беспокойстве. Я уже писал к тебе <...>, что я со своей стороны нахожу Фета во всех отношениях прекраснейшим и рассудительным человеком и смею надеяться, что ты несчастлива с ним не будешь. Дай бог, чтобы все это привелось к концу.

(Диепп. 29 июля 1857)

Из писем М. П. и А. А. Фетам

Вот уже другой раз, как я пишу к тебе об одном и том же предмете, т. е. о предполагаемой тобою покупке земли. Говорю по совести и откровенно: соображения твои и твой план жизни я считаю здравым и основательным. Что касается до самой земли, ее качества, цены, тут я ничего сказать не могу, как и вообще о финансовой стороне вопроса, ибо я этого дела не разумею, и в этом ты лучший судья. Но покупку земли и занятие хозяйством я считаю самым основательным делом. Это уже и в том отношении хорошо, что даст тебе постоянное занятие. Не понимаю, почему ты, Маша, так отрицательно смотришь на это? Что так пугает тебя в этом? Даже в случае потери тут большой потери быть не может, и я для успокоения тебя гарантирую тебе эту потерю. Да потом пора же, наконец, пожить на своей земле, в своем гнезде. Я не могу понять, в чем состоит прелесть жизни в Москве. Но и в таком случае ты все-таки можешь зимой два месяца провести в Москве. Словом, я за жительство в деревне, в своем углу, у себя дома. А выше еще этого — это деятельность, которая займет Фета и даст ему ту душевную оседлость, которую ты, Маша, не довольно ценишь в муже, ибо литература теперь для него не представляет того, что представляла прежде, при ее созерцательном направлении. Я еще и прежде, когда ты предполагал купить землю у Тургенева, был того же мнения, как теперь. А кстати, есть ли река на земле Р-аго? Жаль, если нет ее. Дело в том, что покупка земли не есть какое-нибудь рискованное предприятие, в котором можно все потерять. Ценность земли в России упадать не может. Что до свободного труда, то, пожалуй, при непривычке русского мужика к нему, — дело вначале и может идти не совсем хорошо; но ведь я этого не знаю; это надо судить

на месте, переговора с мужиками; — может быть, и тут опасения окажутся напрасными. А ты, Фет, я думаю, можешь быть хорошим хозяином при твоём практическом смысле. С богом за дело!

(Лондон. 31 июля 1860)

Письмо ваше от 12 сентября я получил и по прочтении его пришел в великое удовольствие. Теперь вы *дома*, у себя. Мне жаль только одного, что ты, милый друг Маша, смотришь на все это как-то грустно и мнительно. Сказав в моем прежнем к вам письме, что я *готов отвечать за убыток*, я сказал не пустую фразу на ветер и теперь снова повторяю мои слова, и в этом отношении ты можешь положиться на меня. Но, кроме денежной уверенности, тут есть величайшая моральная польза: польза эта состоит в постоянной деятельности и труде для Фета. Если бы даже не оказалось предполагаемого им дохода, то есть если б он оказался менее рублей на двести (я не думаю, чтобы разница против его расчета была большею), — то я гарантирую тебе эту сумму заранее. Я понимаю твою осторожность и даже мнительность, но скажу также, что никогда еще употребление денег не было на более дельный и полезный предмет, как в этом приобретении земли и занятии хозяйством. Я убежден, что ты полюбишь этот хутор, полюбишь за то, что в нем будет сделано вами. Одно уже краткое описание начатых и предполагаемых работ произвело на меня отраднейшее впечатление: в этой борьбе с природой и с практикой есть что-то освежающее душу.

(Париж. 10 октября 1860)

Между тем, я получил твое письмо, дорогой мой Фет, наполненное воплями, ужасами, грозящими несчастьями, мучительными ожиданиями и проч. и проч. <...> ...я всегда вооружаюсь значительной долей скептицизма, когда приступаю к чтению твоих писем. Я не думаю, чтобы поэтическое воображение было в большом ладу с практической деятельностью. Но несмотря на все это, я не могу передать тебе, как меня радует твое фермерство. Не говоря уже о том, что это есть единственное практическое понятие, которое может ужиться с поэтической душою. Всякая другая практическая деятельность противна ей до нестерпимости. Спешу сказать, что я заранее одобряю постройку каменных конюшен, ибо хорошие лошади есть основа хозяйства.

(Пасси. 12 августа 1861)

...тебе, Фет, деятельное занятие необходимо, следовательно, отвлечь тебя от Степановки — значит отдать тебя на съедение ненасытной и мертвящей скуке.

(Баден-Баден. 8 октября 1862)

Милый мой Фет, — как искренно жалею о твоём несчастном случае. Авань он не будет иметь для тебя серьёзных последствий. Чтобы чем-нибудь порадовать тебя, скажу, что М-те Виардо положила на музыку 2 твои стихотворения: «Шепот, робкое дыханье» — «Тихая звездная ночь». Музыка прелестна и, по моему мнению, совершенно переносит в ту сферу чувства, в каком написались эти стихотворения. В этом случае музыка есть великий помощник поэзии; простым чтением не передашь и десятой доли того, что содержится в ином стихотворении. <...> Она хочет также положить на музыку «Я пришёл к тебе с приветом». Уверю вас, что слышать эти стихотворения в пении М-те Виардо есть наслаждение особого, высшего рода.

(Риволи. 12 декабря 1862)

Получил ваше письмо из Степановки, за которое чувствительно благодарствую и радуюсь, что вы нашли все в порядке. Теперь Степановка, вероятно, приняла вид настоящей, деловой и хозяйственной фермы. Воображаю, как это должно радовать твоё сердце! И потом как отрадно после городского скитания чувствовать себя в своём гнезде и придти в сознание самого себя. Ведь истинное развлечение находишь ты только в самом себе, в ресурсах собственной души.

(Париж. 16 марта 1863)

Мне пришла в голову следующая мысль: при некотором развитии для человека одного непосредственного процесса жизни, — у него беспрестанно гвоздем сидит вопрос: для чего жить? Вот это-то и есть грехопадение человека, которым он отделился от бессознательной природы. И чем более человек утратил эту бессознательность, тем более преследует его это: «для чего?» — и поэтому мы непрерывно создаём себе разные цели и предприятия. Но как скоро прекращается эта непрерывность, — наступает то, что называется пустотой головы, или то, что назвал ты атонией, что одно и то же. Чем старше человек,

тем чаще должна посещать его эта атония, потому что ему труднее уже надуть себя призраками. Вот к какому заключению я пришел, разбирая свою «атонию». Не иметь желаний — вот где корень.

(Петербург. 3 марта 1866)

Что тебе сказать по поводу твоих меланхолических соображений по поводу мельницы? Когда года два назад я советовал тебе продать ее, — в то время она представлялась тебе в блестящих перспективах; теперь, как видно, — напротив, ибо она требует огромной реставрации. Вообще ты так же легко поддаешься розовому освещению, как и мрачному; но замечательно, что, находясь в том или другом настроении, ты делаешься неприступен спокойному и рассудительному обсуждению. То случилось и с мельницей, в которой ты видел одно только золотое дно.

(Петербург. 24 октября 1866)

Сию минуту получил твое письмо и немедленно отвечаю. Да будет благословенно твое доброе намерение, и я не сомневаюсь, что ему постарается помочь всякий, кто еще не утратил человеческое сознание². Вести твои о голоде привели меня в содрогание: здесь вовсе не имеют понятия о таком положении.

(Петербург. 9 февраля 1868)

Сейчас получил ваше письмо и читал его с признательностью и веселием. Прежде всего, я бываю рад тому, что у вас все обстоит благополучно, а теперь к этому присоединяется и уверенность, что мужики вашего участка голодать уже не будут. Вот что значит добрая воля и добрая решимость человека! Я никак не надеялся, что ты в одной Москве соберешь такую сумму. Как весело должно биться теперь твое сердце! <...>

Искренно радуется и успокаивает меня то обстоятельство, что твоя судебская практика идет удовлетворительно и не тяготит тебя. В здравомыслии своем я никогда не сомневался, но признаюсь, боялся опрометчивости и излишней нервозности. Но, как ты пишешь, у вас по большей части дела все однородные и, следовательно, примениться к ним нетрудно.

(Петербург. 26 марта 1868)

Анна Павловна Кедрова давала литературный вечер. Круг ее знакомых был довольно ограничен, и так как одни избранные удостоились приглашения, то званых оказалось всего человек десять. Им было объявлено, что Денисов, новый писатель, прочтет повесть с *направлением*. Анна Павловна произносила это слово с значительным на него ударением и прибавляла небрежно: «Ну, и Фет кой-что прочтет».

Не мешает сказать, что Анна Павловна очень хлопотала о том, чтобы позвать Фета на свой вечер. До сорока с лишком лет она на него смотрела, как на авторитет, на том основании, что он получает, как она слышала, по 25 целковых за стихотворение. «Стало быть, талант! — рассуждала она. — Я бы на его месте целый день писала стихи».

Но ее литературные мнения изменились с тех пор, как она познакомилась с Денисовым. Он ее опутал своими теориями искусства, и она заговорила о Фете с высоты величия.

Анна Павловна провела молодость в провинции и на двадцать седьмом году вышла замуж за человека уже не молодого. Александр Семенович Кедров воспитывался в кругу людей порядочных и получил хорошее, по тогдашнему времени, образование. На службе он не нажился, женившись, взялся за управление чужим имением и честно и неутомимо исправлял свою должность. Супружество ему не удалось. Между ним и Анной Павловной не было общей черты. Сначала он было попробовал искоренить в ней недостатки и смешные стороны, бросавшиеся в глаза; но убедившись, что она неисправима, махнул рукой и занялся исключительно воспитанием единственного сына и упрочением за ним какого-нибудь состояния. Постоянные занятия Александра Семеновича и разъезды по делам предоставляли его жене полную свободу, которою она и пользовалась. Александр Семенович видел в ней *простую и болтливую бабу*, исполняющую, впрочем, по возможности семейные обязанности. В выбор ее знакомых он давно не вмешивался, а сам ограничивался тесным кружком двух-трех старинных приятелей. Что касается до Анны Павловны, она далеко не была разборчива, и порядочный человек мог разве случайно попасть в ее гостиную. Там красовались молодые и средних лет мужчины из разряда вывешиваемых на черную доску

в клубы; приобретатели, нажившие неизвестными путями состояние; и татарского происхождения, нигде не принятые княжны, и дама с загадочными приемами и ужимками, одетая по праздникам в платье палевого цвета, изукрашенное блондой и стеклярусом. Обыкновенно Александр Семенович убегал от *вечеров* своей жены, а ее друзей не знал и в лицо, если же когда случайно встречался с ними в передней, то спрашивал: «Анна Павловна, что это за фигура?», но редко выслушивал ответ.

Ему нередко случалось оговаривать резко жену, когда она хвастала, лгала и вообще завиралась. Но с этими выходками Анна Павловна помирилась, добившись главного — свободы и до известной степени доверенности мужа. Домашним хозяйством занималась она, и в угоду Александру Семеновичу соблюдала в расходах строгий порядок.

Ее литературный вечер устроился совершенно случайно. На одном дворе с нею отдавался в наймы флигель, который наняла недавно Марья Михайловна Бельская с младшей сестрой. Ее аристократическое имя прельстило Анну Павловну, и она решилась всеми правдами и неправдами навязаться к соседкам. Сладить дело было нелегко. Они жили чрезвычайно скромно и избегали новых знакомств; но на одном дворе можно встретиться *неожиданно*, а там и завязать разговор. Анна Павловна воспользовалась возможностью подобной неожиданности, подкараулила из окна обеих сестер, выбежала к ним навстречу под предлогом прогулки, поклонилась им, высказала свои надежды насчет их расположения к ней, и на другой же день явилась к ним с утренним визитом. Она их застала за чтением стихотворений Фета и заговорила было о нем свысока, но могла скоро убедиться, что ни Бельская, ни ее сестра не разделяли понятий Денисова об искусстве. Чтобы восстановить себя в их мнении, она предложила им познакомить их с Фетом.

— Он приятель моего мужа, — сказала она, — мы его позове-
м на вечер, и я надеюсь, что вы осчастливите меня своим посещением.

Как ни хотелось Марье Михайловне видеть Фета, она замедлила ответом. Анна Павловна с первого взгляда показалась ей антипатична. Но ее молодая сестра Женя сказала вдруг небдуманно:

— Конечно... мы будем очень рады видеть Фета, в особенности Маша.

Таким образом, было принято предложение, и Анна Павловна начала хлопотать всеми силами об устройстве вечера, которому она желала придать чисто литературный характер. По ее настоятельной просьбе Александр Семенович написал

пригласительную записку к Фету. Денисов охотно согласился прочесть повесть; а m-г Lagm , француз, дающему уроки по часам, было поручено прочесть стихотворение Виктора Гюго.

В этот знаменательный день Анна Павловна надела шн он Venoiton и платье с модным лифом, выдававшим пышную обветшалость ее плеч. Смолоду она была хороша собой и сохранила правильный профиль; но чрезмерная полнота и погрубевший цвет лица обличали ее сорок лет. Черные выющиеся волосы и большие глаза навывкате придавали ее физиономии жесткое и вместе с тем вакхическое выражение. Натянув с трудом ботинки, слишком тесные для плотной ноги, она обрызгала платок одеколоном и вышла в гостиную, где прогуливался, заложив руки назад, Александр Семенович. Он ждал Фета.

— Бельская обещала прийти в восемь часов, а теперь уже половина девятого, — заметила Анна Павловна, взглянув мимоходом на столовые часы. — Я пошлю узнать об ее здоровье.

— Опоздала, так к ней и приступать! — возразил Александр Семенович. — Если ей нездоровится, так она сама об этом даст знать.

— Ты знаешь ли, что Бельская доводится двоюродною племянницей князю Платону Сергеевичу Галынскому? — спросила, помолчав, Анна Павловна.

— А нам-то с тобой какое дело? — отозвался Александр Семенович.

Александр Семенович был серьезный, раздражительный, чопорный старичок. С первого взгляда он не внушал симпатии. Его лицо рано сморщилось и было болезненно и бледно, глаза опухли. Он одевался с аккуратностью и опрятностью, доходившей до щепетильности, и в его приемах отражался навык порядочного общества.

— А! Денисов! — сказала Анна Павловна, протягивая руку подслеповатому и худощавому молодому человеку с жиденькою бородкой и физиономией, выражавшей полное довольство. Он был доволен собой и всем миром, потому что был доволен своей повестью.

— А! вот и m-г Гальянов! Здравствуйте, милый мой Федор Иванович.

Эти последние слова Анна Павловна сказала почти небрежно, но успела обменяться с Гальяновым выразительным взглядом.

— Здравствуйте, Гальянов, — сказал в свою очередь Александр Семенович, протягивая ему руку, и холодно поклонился Денисову.

— Вы знаете, что Фет кое-что прочтет сегодня, — сказала Анна Павловна. — Марья Михайловна Бельская и ее сестра Женья желали его видеть, ну, я его и пригласила на чашку чая.

— О чем он будет читать? о природе и о любви? — спросил Денисов, рассмеялся.

Александр Семенович поморщился. Гальянов это заметил; он успел заслужить хорошее расположение хозяина дома и старался подлаживаться к его понятиям.

— О чем же писать в стихах? — спросил он: — не о молотилках же.

— А почему и не о молотилках? — спросила Анна Павловна.

— Пушкин о молотилках не писал... — начал было Александр Семенович.

— ...Пушкин? *Fi donc!** — перебила Анна Павловна. — Я ведь знавала Пушкина, когда была еще ребенком, но помню, что пустейший был человек...

— Ты знавала Пушкина? — спросил Александр Семенович. — Вот восемнадцать лет как мы женаты, а я еще и не слышал о твоём знакомстве с Пушкиным.

Анна Павловна несколько смутилась; на этот раз Гальянов подоспел ей на выручку.

— А вы его знавали? — спросил он у Александра Семеновича, чтоб отвлечь его внимание от жены.

Федору Ивановичу Гальянову минуло тридцать два года. Он был редко красивый мужчина, хотя его красота не отличалась классической правильностью. Но начиная с золотистых волос, которые вились с самого корня и падали на воротник, все черты его лица, вся его фигура остановила бы на себе внимание художника. Мягкость очертаний и в особенности необыкновенная роскошь волос придавали ему вид старинного портрета. Казалось, что он случайно надел платье современного покроя. Говоря с кем-нибудь, в особенности с женщиной, он ей глядел в глаза и вкрадчиво, казалось, всею душой ей улыбался, и эта улыбка располагала в его пользу. Но тонкого наблюдателя неприятно бы озадачил его смех. Смех — это одно из выражений душевных ощущений, которое не успеешь ни обдумать, ни изменить.

Звук колокольчика раздался в передней, и Анна Павловна, почуяв ожидаемых соседок, сказала шепотом Гальянову:

— Theodore, прошу тебя, будь любезен с Бельской и с ее сестрой. Я хочу, чтоб им было весело у меня.

* Фи! (*fi!*)

— Здравствуйте, Марья Михайловна, здравствуйте, *mademoiselle Eugénie*,— сказала она, приседая и протягивая руку худенькой и приземистой женщине, одетой в черное платье, и молодой девушке в розовом наряде; она казалась на двадцать лет, по крайней мере, моложе своей сестры.

Гости начали съезжаться и были представлены обоим се-страм; они озирались с удивлением и с тем неприятным чувством, которое испытывают люди, случайно занесенные в совершенно чуждый им кружок. Марья Михайловна смотрела холодно, неприступно, учтиво и заговорила ласково с одним Александром Семеновичем; но Анна Павловна впуталась в их разговор.

— Не угодно ли вам чаю?— спросила она, усаживаясь на диван против самовара.— Не понимаю, что это Фет не едет! А вы любите поэзию, Марья Михайловна?.. Вы сами смóтрите олицетворенной поэзией. Во всей вашей особе нельзя не заметить признаков страстной природы.

— Как на дворе холодно!— отозвалась Марья Михайловна, укутываясь шалью.

— А я сейчас говорила Денисову,— продолжала Анна Павловна,— что страсть есть нормальное состояние человека. Как вы об этом думаете?

— Я уже слишком стара, чтобы судить о страстях,— отвечала Марья Михайловна.

Анна Павловна, получив вторую осечку, решила, что Бельская не сразу выскажется, и что с ней надо говорить обдуманно.

— Я сама рассуждаю, как наблюдатель,— сказала она,— что до меня касается, я люблю и никогда никого не любила, кроме моего Александра Семеновича. *Mademoiselle Eugénie*, не угодно ли вам чаю?

— Мне кажется, что ваша сестра должна строго судить о влюбленных, Евгения Михайловна,— сказал Гальянов, подавая ей чашку.— А вашего мнения я не смею спросить.

Женя посмотрела на него своими большими черными глазами и спросила:

— О чем вы желаете узнать мое мнение?

— Да... о том, строго ли вы судите о любви?— отвечал Гальянов, несколько озадаченный ее серьезностью.

— Нет! совсем не строго.

Женя это сказала очень серьезно и слегка покраснела.

«Как она мила! прелесть!»— подумал Гальянов.

— Ага! вот и Фет!— воскликнула Анна Павловна, кивая головой сорокапятилетнему полному, плотному, среднего роста человеку. Черная борода обрамляла его продолговатое ли-

цо, но волосы поредели на лбу. Он казался до крайности рассеян и не узнал бы даже хозяйки дома, если б она ему не протянула руки.

Все в нем было оригинально, самобытно, и склад речи, и физиономия. Его представили почетным гостям, называя их по именам. Он не удержал из них в памяти ни одного и обрадовался, как избавителю, Александру Семеновичу, взявшему его за руку с вопросом:

— Что так поздно?

— Я самый несчастный человек! — отвечал Фет, устраиваясь с ним в углу подальше от гостей, к немалой досаде хозяйки дома. — Поверьте, что когда я в Москве, я са-мый не-счаст-ный человек! — повторил он отчаянным голосом, в котором высказывалась вся бездна его московских бедствий. — Целый день всюду бросишься, а дела не сделаешь ни на грош и не попадешь никуда. В восьмом часу собрался к вам. Хорошо. Оказывается, что я должен заехать в магазин, оттуда к черту на рога, а оттуда к Мелектрисе Кирбитьевне, да там еще разные кувырканья, да *chassé de côté**, да то, да другое, да третье. Наконец-то бог помог развязаться с Кирбитьевными да с кувырканьями; сажусь в сани. Куда ехать? Забыл! Говорю кучеру: делать нечего, вези меня домой. Так уж почти у своих ворот вспомнил, что обещал быть сегодня у вас.

Александр Семенович смеялся.

— Ну, что поделявают в вашей стороне? — спросил он у Фета, который только что приехал из деревни. — Молотилку справили?

— Справил... ну, батюшка, привел меня господь бог познакомиться с двумя хозяевами. Вот уж молодцы, я вам скажу! Я просто в и-зу-мле-ние пришел.

Фет растянул слово изумление и даже улыбнулся от удовольствия. Он принялся рассказывать с мелочными, но до крайности интересными для помещика подробностями, о своем знакомстве с двумя знаменитыми агрономами Орловской губернии. Слова: *молотилка*, *сушилка*, *рига* долетали до ушей удивленных гостей; но Фет, не обращая на них внимания, весь ушел в свой рассказ, вполне оцененный деловым Александром Семеновичем.

Ждали конца их разговора, чтобы начать чтение. Веселая физиономия Денисова выражала некоторое нетерпение. Он поглядывал искоса на Фета.

* Всякая ерунда (*фр.*).

— Подождите, мы в него пустим бомбой,— шепнул он своей соседке, шестнадцатилетней девушке, которая писала статью о пролетариате.

— Скоро ли начнется чтение? — спросил кто-то.

— А вот что мы сделаем,— предложила Анна Павловна.— Я попрошу м-г Larmé прочесть стихотворение Виктора Гюго.

Приняли чайный прибор; м-г Larmé выступил с книжкой в руках и устроился на диване, поправляя свои светло-белокурые волосы. У него был востренький нос, тонкие губы и бледное сухое лицо, попорченное оспой.

— Le cheval!* — произнес он громко и окинул глазами все общество.

Александр Семенович и Фет замолкли.

М-г Larmé начал:

C'était le grand cheval de gloire
Né de la mer comme Astarté,
A qui l'aurore donne à boire
Dans les urnes de sa clarté**.

И тридцать шесть строф в этом роде он прочел явственно, с чисто парижским выговором.

Кончив, он закрыл книгу и сказал:

— Comme c'est soutenu!***

— Сила есть,— заметила Анна Павловна,— я люблю силу.

Не то насмешливая, не то задумчивая улыбка пробегала по губам Фета во время чтения. Он стал прислушиваться к завязавшемуся между гостями литературному разговору. Все высказали свое мнение, и девушка, пишущая статью о пролетариате, и дама в изношенном платье палевого цвета, и Денисов, уважающий Виктора Гюго, как писателя *практического*. Зато Пушкина он презирал и говорил часто, желая заклеить какое-нибудь литературное произведение: «Даже Пушкин не написал бы такой дряни».

Фет слушал молча эту болтовню, но его корбило, бросало в жар; его глубоко поэтическое чутье было оскорблено, возмущено. К тому же мало ли что его бесило целый день! И шатанье по городу, и московские дамы, и кринолины, и Анна Павловна, и забытые имена, над которыми он ломал себе голову при каждой встрече на улице с знакомым лицом. Литератур-

* Конь (*фр.*).

** То был могучий конь славы,
Родившийся, как Астарта, из моря,
Которого заря поит

Из своих светлых урн (*фр.*).
*** Как это выдержано! (*фр.*)

ное прение было последним разразившимся над ним ударом, и он, не стесняясь, выразил по-своему свой гнев, когда хозяйка дома обратилась к нему с вопросом:

— А вы, м-г Фет, еще не сказали вашего мнения о стихотворении Виктора Гюго?

— Мое мнение?..— отвечал он, задыхаясь и как будто приискивая слова, хотя они так и роились на его губах.— Я позволю себя приковать к позорному столбу, вздернуть на колокольню Ивана Великого, и чтоб я повис и издох на колокольне,— если кто-нибудь растолкует мне эту чепуху! Горевать должен всякий порядочный человек, что великий талант унизился до шутовского кувыркания! А что касается до Пушкина, пусть я буду негодяй, каторжник, самый несчастный человек, если те, которые его хулят, понимают искусство больше, нежели я китайский язык!

— Позвольте, м-г Фет,— возразила Анна Павловна, взглянув с беспокойством на Денисова,— согласитесь, что Пушкин был поэт субъективный, тогда как наши современные литераторы пишут с *направлением*.

— А?.. с *направлением*?..— повторил Фет,— с мочальным-то хвостом? Ну, вот я вам скажу, как мне мил этот мочальный хвост, и какая бездна лежит между Пушкиным и вашими литераторами с *направлением*: если бы можно было их всех собрать, да истолочь, да выжать, так и тогда в них не оказалось бы миллионной доли той поэзии, которая была у Пушкина в одном мизинце!

Марье Михайловне давно хотелось видеть этого человека, имя которого было для нее неразрывно связано с ее воспоминаниями молодости. Он принадлежал к тому поколению, которое, добываясь свободы чувства и народной свободы, бредило западною наукой, но заговорило русским языком в русской гостиной. Фет живо напомнил Марье Михайловне то время, когда она прислушивалась к его стиху, выработанному на пушкинской наковальне и изустно повторяемому ее братьями студентами, товарищами молодого поэта.

— Вы не подозреваете, что мы были когда-то товарищами?— сказала она ему и назвала своих братьев.

Фет добродушно улыбнулся, вспомнил о былом, о товарищах, и, открыв книжку, исписанную его рукой, прочел:

Старая песня с былым обаяньем
Счастья и юной любви...

— Прочтите еще что-нибудь,— сказала Женья.

Фет взглянул на нее и подумал: «Не про нее писана *старая песня*» — и заключил чтение стихотворением, переведенным им накануне с французского из альбома одной из его приятельниц.

После бала

Толпа теснилась, рука твоя дрожала,
Сдвигая складками бегущий с плеч атлас,—
«Я помню, завтра...» ты невнятно прошептала,
Потом ты вспыхнула и скрылась из глаз.

А он?.. С усилием сложил он накрест руки,
Стараясь подавить восторг в груди своей,
И часа позднего пророческие звуки
Смешались с топотом помчавшихся коней.

Казались без конца тебе часы ночные,
Ты не смежила вежд горячих на покой,
И сиафы резвые, и феи молодые
Все «завтра» до зари шептали над тобой.

Наконец пришла очередь Денисова. С сияющим и несколько торжественным лицом он стал усаживаться к столу.

— Эпиграф,— начал он,— из современной идиллии: *Деревенские вести*:

В Шатове свекру сноха *
Вилами бок просадила...

Автор указывал на язвы народа, освобожденного от помещичьего ига. Общество становилось ответчиком за распри баб между собой, за семейные ссоры, за пьянство мужиков. Рассказ прерывался поучительным воззванием к молодым писателям, которым он доказывал необходимость практического направления искусства. Фет вертелся на стуле, оглядывался во все стороны, отыскивая глазами свою шляпу, не отыскал, решил уехать без шляпы и вышел на цыпочках. К счастью, Александр Семенович догнал его в передней и упросил не уезжать с открытой головой. Шляпа отыскалась.

— И хорошо, что в пору убрался! — сказал Кедров. — Я сам от вранья подальше; уйду к себе. Прощайте!

<1868>

А. Н. ТОЛСТОЙ

Из дневников

1856 г.

4 февраля (Петербург). Обедал в шахматном клубе. Фет очень мил.

* Некрасов. (Прим. С. В. Энгельгардт. — *Сост.*)

12 мая (Петербург). Обедал у Некрасова. Фет — душка и славный талант. Мне было весело.

1857 г.

20 октября (Москва). Пришел Фет, добродушный.

21 октября (Москва). Утро решил о квартире, ходил, обедал у Фета. И он самолюбив и беден. С ним у Аксаковых.

11 ноября (Москва). Фет обедал. Прочел *Антония и Клеопатру* и разговором разжег меня к искусству. Надо начать драмой в кабаке.

13 ноября (Москва). У Фета вечер очень приятно.

3 декабря (Москва). Обедал у Фета. Все что-то не то. *Антоний и Клеопатра*. Перевод дурен.

1858 г.

25 января (Москва). К Фету. Завидно и радостно смотреть на его семейное счастье. Вечер музыкальный прелесть! Вебер прелесть. Тютчева, Свербеева, Щербатова, Чичерина, Алсуфьева, Ребиндер, я во всех был влюблен.

3 февраля (Москва). С Фетом желчно спорил, дома поздно.

27 марта (Москва). Разбудили Островский и Горбунов. Островский несносен. Чичерин, Фет. Спор о Христе.

9 апреля (Москва — Ясная Поляна). Выехали чем свет, весна... В ночь приехали в Ясную.

10 апреля (Ясная Поляна). Милые Феты, проводил их, занялся хозяйством.

4 сентября (Ясная Поляна). Ездил к Николеньке и Тургеневу. <...> Фет милашка.

Из писем В. П. Боткину

Стихотворение Фета прелестно. Не прочтя вашего замечания о неловких 2-х стихах, я сделал то же. Досадно. Зато: «И в воздухе за песнью соловьиной разносится тревога и любовь!» Прелестно! И откуда у этого добродушного толстого офицера берется такая непонятная лирическая дерзость, свойство великих поэтов.

(Цюрих. 9/21 июля 1857)

Милый Фет был болен и теперь еще не совсем поправился. Какой он капризный и злой, когда болен, и какая славная женщина ваша сестра Марья Петровна.

(Москва. 4 января 1858)

Напишите вообще о себе, о вашем здоровье я знаю от Фета, который перестав быть поэтом, не перестал быть отличным человеком и огромно умным. Приедешь в Москву, думаешь, отстал — Катков, Лонгинов, Чичерин вам все расскажут новое; а они знают одни новости и тупы так же, как и год и два тому назад, многие тупеют, а Фет сидит, пашет и живет и загнет такую штуку, что прелесть.

(Москва. 26 января 1862)

Из письма А. В. Дружинину

Фет уехал в Москву, и, бедный, у него большое горе — сестра очень больна. Да-с, Фет *gagne à être sonni**, чем больше я его знаю, тем больше люблю и уважаю.

(Ясная Поляна. 9 октября 1859)

Из письма С. А. Толстой

Встал в 10 и получил письмо, что Фет тут и сейчас едет. Я поехал к Борису и от него пишу. Фет болен и мрачен. Не хочет к нам заехать. <...> Фет сидит и чешет каламбуры такие, что *страсть*, и развлекает. <...>

У Борисова пропасть слив, и Фет говорит, что здесь живут и *счастливы, ища сливы*.

(Новоселки. 10 или 11 августа 1864)

Из писем А. А. Фету

Когда я увижу Вас, драгоценный дядюшка, — так мне брюхом иногда хочется подразнить Вас, вызвать на *закурдялены* и

* Выигрывает при более близком знакомстве (*фр.*).

посмотреть, как Вы, отмочив пулю, открыв челюсти и подбрав язык под зубы, улыбаетесь и думаете: «Вот, на-ка, выкуси!»

(Ясная Поляна. 15 февраля 1860)

Ваше письмо ужасно обрадовало меня, любезный друг Афанасий Афанасьевич. Нашему полку прибудет, и прибудет отличный солдат. Я уверен, что Вы будете отличный хозяин.

(Ясная Поляна. 23 февраля 1860)

Писатель Вы, писатель и есть, и дай бог Вам и нам. Но что Вы, сверх того, хотите найти место и на нем копать, как муравей, эта мысль не только должна была прийти Вам, но Вы и должны осуществить ее лучше, чем я. Должны Вы это сделать потому, что Вы и хороший и здраво смотрящий на жизнь человек.

(Ясная Поляна. 20 июня 1860)

Главное, оттого я и не пишу, что не умею писать просто; а непросто — неприятно. Чем ближе люди между собою (а Вы по душе мне один из самых близких), тем неприятнее писать, тем чувствительней несоответственность тона письма — тону действительных отношений. <...>

Как Вы приняли нынешнюю весну? Прелестную, какой я не помню. Верно, написали весну. Пришлите.

Как началась весна, так я тысячу раз в различных ее фазах читал Ваши старые к неизвестным друзьям о весне письма. И «кругами обвело», и «верба пушистая», и «незримые усилия» несколько раз прочли мне, который не помнит стихов.

(Ясная Поляна. 10—20 мая 1866)

Я Вам не пишу по 4 месяца и рискую, что Вы проедете в Москву, не заехав ко мне, а все-таки Вы человек, которого, не говоря о другом, по уму я ценю выше всех моих знакомых и который в личном общении дает мне тот другой хлеб, которым, кроме *единого*, будет сыт человек. <...> Что Вы делаете? Не по земству, не по хозяйству — это все дела несвободные человека. Это Вы и мы делаем так же стихийно и несвободно, как муравьи копают кочку, и в этом роде дел нет ни хорошего, ни дурного; а что Вы делаете мыслью, самой пружиной своей

Фетовой, которая только одна и была, и есть, и будет на свете? Жива ли эта пружина? Просится ли наружу? Как выражается? И не разучилась ли выражаться? Это главное.

(Ясная Поляна. 7 ноября 1866)

Ежели бы я Вам писал, милый друг Афанасий Афанасьевич, всякий раз, как я о Вас думаю, то Вы бы получали от меня по два письма в день. А всего не выскажешь и, кроме того, — то лень, а то слишком занят, как теперь. <...>

О «Дыме» я Вам писать хотел давно и, разумеется, то самое, что Вы мне пишете. От этого-то мы и любим друг друга, что одинаково думаем *умом сердца*, как Вы называете. (Еще за это письмо Вам спасибо большое. *Ум ума* и *ум сердца* — это мне многое объяснило.) <...> Я от Вас всё жду, как от 20-летнего поэта, и не верю, чтобы Вы кончили. Я свежее и сильнее Вас не знаю человека.

(Ясная Поляна. 28 июня 1867)

А. Н. ТОЛСТОЙ

Из писем А. А. Фету

Я получил Ваше письмо, любезный друг Афанасий Афанасьич, возвращаясь потный с работы с топором и застужом, следовательно, за 1000 верст от всего искусственного, и в особенности от нашего дела. Развернув письмо, я — первое — прочел стихотворение, и у меня защипало в носу: я пришел к жене и хотел прочесть; но не мог от слез умиления. Стихотворение одно из тех редких, в которых ни слова прибавить, убавить или изменить нельзя; оно живое *само* и прелестно¹. Оно так хорошо, что, мне кажется, это не случайное стихотворение, а что это первая струя давно задержанного потока.

(Ясная Поляна. 11 мая 1870)

Как мне грустно было узнать, что Вы были в Москве, и еще хуже, что, когда я на днях в другой раз приехал в Москву, я узнал, что Вы накануне уехали. Как же было не написать мне словечко о своем положении? Я могу не переписываться по годам с своими друзьями, но когда друг в беде, то ужасно совестно и больно не знать. Напишите, как Вы теперь? Не зарабатывайтесь своим судейством. Вы мне это проповедываете, а Вам едва ли не нужнее, я уж лет 7 не помню Вас, хоть на денек, спокойным и свободным.

(Ясная Поляна. 20 февраля 1872)

Уж несколько дней, как получил Ваше милое и грустное письмо и только нынче собрался ответить.

Грустное потому, что Вы пишете, Тютчев умирает, слух, что Тургенев умер, и про себя говорите, что *машина стирается*, и хотите спокойно думать о *нирване*. Пожалуйста, известите поскорее, — фальшивая ли это была тревога. Надеюсь, что да и что Вы без Марьи Петровны маленькие признаки приняли за возвращение Вашей страшной болезни.

(Ясная Поляна. 30 января 1873)

Стихотворение Ваше крошечное прекрасно². Это новое, никогда не уловленное прежде чувство боли от красоты, выражено прелестно. У Вас весной поднимаются поэтические дрожжи, а у меня восприимчивость к поэзии.

(Ясная Поляна. 11 мая 1873)

Очень удивился я, получив Ваше письмо, дорогой Афанасий Афанасьевич, хотя и слышал от Борисова давно уж историю всей этой путаницы; и радуюсь Вашему мужеству распутать, когда бы то ни было. Я всегда замечал, что это мучило Вас, и, хотя сам не мог понять, чем тут мучиться, чувствовал, что это должно было иметь огромное влияние на всю Вашу жизнь³.

(Ясная Поляна. 14 января 1874)

Получил Ваше письмо, дорогой Афанасий Афанасьевич, и из этого коротенького письма и из разговоров Марьи Петровны, переданных мне женой, и из одного из последних писем Ваших, в котором я пропустил фразу: *хотел звать вас посмотреть, как я уйду*, написанную между соображениями о корме лошадям и которую я понял только теперь, я перенесся в Ваше состояние, мне очень понятное и близкое, и мне жалко стало Вас (и по Шопенгауэру, и по нашему сознанию сострадание и любовь есть одно и то же) и захотелось Вам писать. Я благодарен Вам за мысль позвать меня посмотреть, как Вы будете уходить, когда Вы думали, что близко. Я то же сделаю, когда соберусь *туда*, если буду в силах думать. Нам с Вами не помогут попы, которых призовут в эту минуту наши жены; но мне никого в эту минуту так не нужно бы было, как Вас и моего брата. Перед смертью дорого и радостно общение с людьми, которые в этой жизни смотрят за пределы ее, а Вы и те редкие *настоящие* люди, с которыми я сходил в жизни, несмотря на здоровое отношение к жизни, всегда стоят на самом краюшке и ясно видят жизнь только оттого, что глядят то в нирвану, в беспредельность, неизвестность, то в сансару, и этот взгляд в нирвану укрепляет зрение. <...>

Вы больны и думаете о смерти, а я здоров и не перестаю думать о том же и готовиться к ней. Посмотрим, кто прежде. Но мне вдруг из разных незаметных данных ясна стала Ваша глубоко родственная мне натура-душа (особенно по отношению к смерти), что я вдруг оценил наши отношения и стал гораздо больше, чем прежде, дорожить ими.

(Ясная Поляна. 28—29 апреля 1876)

Письмо Ваше с стихотворением пришло ко мне с тою же почтой, с которой привезли мне и Ваше собрание сочинений, которое я выписывал из Москвы.

Стихотворение это не только достойно Вас, но оно особенно и особенно хорошо, с тем самым философски поэтическим характером, которого я ждал от Вас. Прекрасно, что это говорят звезды. И особенно хороша последняя строфа⁴.

Хорошо тоже, что заметила жена, что на том же листке, на котором написано это стихотворение, излиты чувства скорби о том, что керосин стал стоить 12 копеек.

Это побочный, но верный признак поэта.

(Ясная Поляна. 6—7 декабря 1876)

Спасибо Вам, что не наказываете меня за молчание; а еще награждаете, дав нам первым прочесть Ваше стихотворение. Оно прекрасно! На нем есть тот особенный характер, который есть в Ваших последних — столь редких стихотворениях. Очень они компактны, и сиянье от них очень далекое. Видно, на них тратится ужасно много поэтического запаса. Долго накапливается, пока кристаллизируется⁵.

(Ясная Поляна. 27 января 1878)

Получил Ваше славное, длинное письмо, дорогой Афанасий Афанасьевич. Не хвалите меня. Право, Вы видите во мне слишком много хорошего, а в других слишком много дурного. Хорошо во мне одно, что я Вас понимаю и потому люблю. Но хотя и люблю Вас таким, какой Вы есть, всегда сержусь на Вас за то, что Марфа печется о мнозем, тогда как единое есть на потребу. И у Вас это единое очень сильно, но как-то Вы им брезгаете — а все больше биллиард устанавливаете. Не думайте, чтобы я разумел стихи. Хотя я их и жду, но не о них речь, они придут и под биллиардом, а о таком мирозерцании, при котором бы не надо было сердиться на глупость людскую. Кабы нас с Вами истолочь в одной ступе и слепить потом пару людей, была бы славная пара. А то у Вас так много привязанности к житейскому, что, если как-нибудь оборвется это житейское, Вам будет плохо, а у меня такое к нему равнодушие, что нет интереса к жизни; и я тяжел для других одним вечным переливанием из пустого в порожнее.

(Ясная Поляна. 6 апреля 1878)

1881 г.

28 мая (Ясная Поляна). Целый день Фет.

29 мая (Ясная Поляна). Разговор с Фетом и женой. Христианское учение неисполнимо. — Так оно глупости? — Нет, но неисполнимо. — Да вы пробовали ли исполнять? — Нет, но неисполнимо.

1884 г.

28 марта (Москва). Фет пришел заказывать сапоги. Я слушал его и прекращал попытки своего разговора. Была минута, что мне его жалко было, как больного.

11 апреля (Москва). Утром же ходил к Страхову. Хорошо говорил с ним и Фетом.

21 апреля (Москва). Пришел Фет и слабо болтал до 1/2 9.

1888 г.

12 декабря (Москва). Вчера или третьего дня был у Фета. Он рассказывал о споре со Страховым. Он, Фет, говорит, что безнравственно воздерживаться в чем-нибудь, что доставляет удовольствие. И рад, что он сказал это. Зачем?

1889 г.

14 января (Москва). Потом жалкий Фет со своим юбилеем⁶. Это ужасно! Дитя, но глупое и злое.

30 января (Москва). От любви, ухода, жертвы для ребенка она [Софья Андреевна. — Г. А.] прямо переходит к юбилею Фета, балу не только пустому, но дурному... Пошел к Фету. Там обед. Ужасно все глупы. Наелись, напились и поют. Даже гадко. И думать нечего прошибить.

26 февраля (Москва). <...> а потом пришел Фет. Я не сумел в радость перенести его. А можно бы. Радость ведь не в том, что Фет, а что я делаю волю бога по отношению к Фету.

6 марта (Москва). Дома орда и Фет. <...> Фет жаловался на скуку и на незнание того, что хорошо и дурно, что должно и не должно.

11 марта (Москва). Потом Фет. Тщеславие, роскошь, поэзия, все это обворожительно, когда полно энергии и молодости, но без молодости и энергии, а со скукой старости, просвечивающей сквозь все, — гадко.

11 апреля (Москва). Дьяков, милый, кроткий и Фет жалкий, безнадежно заблудший. Я немножко погорячился с ним, когда

он уверял, что не знает, что значит безнравственно. У государя ручку целует, Полонский с лентой. Гадко. Пророки с ключом и лентой целуют без надобности ручку.

Из писем С. А. Толстой

Ну, пока прощай, целую тебя и детей, маленьких и миленьких, как говорил Фет...

(Бегичевка. 29 октября 1891)

Вечером писал письма и читал с девочками. Нынче начали «Фауста» Гете, перевод Фета. Поклонись ему хорошенько от меня. Скажи, чтобы он не думал, как он иногда думает, что мы разошлись. Я часто испытываю это, — и с ним особенно, что люди составят себе представление о том, что я должен отчуждаться от них, и сами отчуждаться меня.

(Ясная Поляна. 23 октября 1892)

Я нынче все утро в постели сочинял стихи в роде Фета, в полусне. В полусне только это простительно.

(Ясная Поляна. 23 октября 1896)

С. А. ТОЛСТАЯ

Из «Краткой автобиографии»

Довольно часто посещал нас Фет, его любил Лев Николаевич, а Фет любил нас обоих. Когда он к нам заезжал проездом в Москву и обратно в свое имение, часто с своей доброй женой Марией Петровной, он оглашал весь дом своей громкой, блестящей, часто остроумной и порою лыстивой речью.

В 1863 г. он был в Ясной Поляне ранним летом, в то время, как Лев Николаевич был страшно увлечен пчелами и целыми днями проводил время на пчельнике, куда и я прибегала к нему иногда с завтраком. Вечером мы все решили пить чай на пчельнике. Засветились всюду в траве светляки. Лев Николаевич взял два из них и, приставив шутя к моим ушам, сказал: «Вот я обещал тебе изумрудные серьги, чего ж лучше этих?»

Когда Фет уехал, он написал мне письмо со стихами, кончавшимися так:

В моей руке твоя рука,
Какое чудо!
А на земле два светляка,
Два изумруда.

И почти после всякого посещения Афанасий Афанасьевич присылал мне новое стихотворение, из которых многие посвящены мне. В одном из них меня очень порадовало, может быть, незаслуженное определение свойств моей души в следующем четверостишии:

И вот, исполнен обаянья,
Перед тобою, здесь в глуши,
Я понял, светлое создание,
Всю чистоту твоей души.

Когда мы переехали в Москву, Фет купил недалеко от нас дом и часто посещал нас, говоря, что в Москве ему ничего не нужно, только — *самовар*. Мы засмеялись этому неожиданному желанью Фета, а он объяснил его так: «Я должен знать, что в таком-то доме, вечером, кипит самовар и сидит милая хозяйка, с которой я могу провести приятный вечер».

Из писем А. Н. Толстому

Вчера были у дяди Сережи; там были все Олсуфьевы и Фет, и Лиза с Варей, и Лопатин¹, который охрип и не пел, и еще новый какой-то певец с гитарой, — пели больше хором и все были очень довольны...

...Во время обеда Сережа брат приходил. ...Сережа рассказывал про Фета, что он говорит: «Лев Николаевич хочет с Чертковым такие картинки нарисовать, чтоб народ перестал в чудеса верить. За что же лишать народ этого счастья верить в мистирию, им столь любимую, что он съел в виде хлеба и вина своего бога и спасся. Это все равно, что если б мужик босой шел бы с сальным огарком в пещеру, чтоб в темной пещере найти дорогу. А у него потушили бы этот огарок и салом бы велели мазать сапоги... а он босой!..» Я очень смеялась этому сравнению. Но он очень остроумен, Афанасий Афанасьевич, а вчера я с ним охотно поговорила.

(Москва. 15 марта 1885)

Статью твою, Левочка, пропустили; Грот² ее смягчил и велел тебе сказать, что она вышла очень добрая. Вчера ее читали вслух у Фета, где я обедала (в первый раз), потому что там остановился Страхов, и мне хотелось побыть с ним. Был там еще Николаев³, пишущий в «Московских ведомостях», — тупой

человек, и странно, Страхов, Фет, Николаев — три совершенно разные элемента и все очень хвалили статью и искренно, по-видимому.

(Москва. 1 ноября 1891)

Вчера Лева мне сказал, что Афанасий Афанасьевич очень плох. Сегодня, разложив кое-что, я пошла в четыре часа к ним на Плющиху. Хотя я и застала старика за столом, обедающего, но он не может почти говорить, дышит ужасно тяжело, кашляет, задыхается, стонет. Руки холодные, глаза серьезные, строгий взгляд такой, страдальческий. Скажет тихо, почти шепотом, слово, другое, — и замолчит; передышет, опять скажет. Тяжело и слушать, и смотреть. Подбирается народ, и старый и молодой. В прошлом году впечатление въезда в Москву — смерть Дьякова, а в нынешнем будет Фета. Марья Петровна нервно возбуждена, даже весела на вид, но я вижу, что она старательно отстраняет от себя мысль о смерти. — А бог знает, может быть, и справится на время.

(Москва. 21 октября 1892)

А вчера я была проведать Фета. Там из «Московских ведомостей» Говоруха-Отрок. Я с ним сцепилась за прошлогоднюю историю. Он был сконфужен, говорил, что он ни при чем, но что-то пустил насчет того, что жаль, что ты статьи пишешь и т. д. Фет его остановил и начал поэтическую картину о том, что «в Африке мы пришли в пустыню, вся она белая, покрытая песком и никого нет. И вдруг мы увидели, ходит могучий лев и рычит. И он один и кругом пустота». И вот этот лев — ты.

А еще он говорил на мои слова, которые ты ему велел передать: «вот я это время умирал и вспомнил «Смерть Ивана Ильича», как мужик здоровый с ним сидел и ноги ему держал, и ему было легче. И если б в эту минуту вошел Толстой, я поклонился бы ему в ноги. Кто такую вещь понял и написал, тот не просто человек, а единица, или громадина», я уж не помню этого последнего слова. Ему немного лучше теперь.

(Москва. 27 октября 1892)

Ты спрашивал про Фета. Я была у него третьего дня на минуту вечером. Ему лучше, он легче говорит и легче дышит. Похоже, что у него была инфлуенца, но благодаря хорошему желудку, а особенно сердцу, он ее перенес. Еще дыхание трудно,

но он уже спит хорошо и лицо не опухшее, а совсем спокойное и нормальное.

(Москва. 8 ноября 1892)

Из мемуаров «Моя жизнь»

В саду яблони цвели необыкновенно [май 1891 г.— Г. А., А. Т.]. Помню, как приехавший к нам с женой Фет восхищался этими яблонями; восхищался и весной, и нашей жизнью, и мной с сестрой Таней. Он декламировал нам стихи, и все любовь и любовь. И это в 70 лет. Но он своей вечно поющей лирикой всегда пробуждал во мне поэтическое настроение и несвоевременные молодые мысли и чувства, не к нему, конечно, а ко всему, что составляет мечту...

...Фет не дожил до дня своего рождения и скончался 21 ноября 1892 года.

Я была на похоронах Фета. Отпевали его в университетской церкви. Народу и венков было немного. Положили Афанасия Афанасьевича в гроб в его камергерском мундире по его желанию. Странно было видеть в гробу этот золотом шитый шутовской наряд и тут же бледное строгое лицо покойника с горбатым носом и впалыми губами и этим озабоченным, неземным выражением всего облика.

Я близко подошла к гробу и положила Фету на грудь пышную живую розу, с которой его и похоронили. «Подари эту розу поэту...» — вспомнила я его стих.

Из письма Н. Н. Страхову

Последние дни его жизни я видела его почти ежедневно. Он спокойно, стойко и удивительно терпеливо уходил из жизни. Умный человек и умирал умно. Шесть дней он ничего не ел, говорил очень мало, но всегда очень умно и добро. Совсем не жаловался, выходил из кабинета в столовую и обратно; перед ним раскладывали пасьянс или читали ему корректуру его «Воспоминаний».

Накануне смерти он сам подписал мне записку, которую прислал мне по поводу того, что я вечером, не найдя извозчика, пошла пешком домой. Ему случайно проговорился об этом мальчик, и это очень его встревожило, он спрашивал о моем здоровье... На другой день Марье Петровне показалось стран-

ным, что он ее усиленно выпроваживал, прося съездить к доктору и купить ему шампанского. Она говорит, что он, никогда прежде не прощавшийся с ней днем, когда она выезжала, в этот день особенно нежно стал с ней прощаться, целовал ее руку и все говорил: «Ну, прощай, моя дорогая, спасибо тебе за все». Она уехала, он стал метаться, что воздуху мало, пошел в кабинет, оттуда обратно в столовую, сел на стул, опустил голову и скончался. Страшно он похудел, постоянно руки и голова его были ледяные, но что за энергия была умереть почти на ногах! И как старательно он скрывал свои страдания от жены!

Поэт он был настоящий и очень чуткий на всякое художество. Перед смертью за несколько дней он мне говорит: «Когда я читал *Смерть Ивана Ильича*, я не понимал хорошенько, зачем этот мужик, который держит ему ноги; а теперь, вспоминая на днях это, я бросился бы Толстому в ноги, несмотря на мое убогое состояние, если бы он вошел, и сказал бы ему, что он один — художник все понявший и все знающий».

Другой раз он мне говорит: «Помните в *Войне и мире*, когда кн. Андрей умирал, к нему босая вошла эта девица, которая так его любила, что всем ему готова была жертвовать. Я тогда думал, что кн. Андрей слишком равнодушно и сурово отнесся к ней. Теперь же я вижу, что только великий художник мог понять, что когда человек умирает, сердце его уже перерезано пополам — бессилием...»

...Я проводила тело его (увы! в камергерском мундире) до станции железной дороги. Была страшная метель. Долго пришлось стоять, пока заколачивали гроб, ставили в замерзший, довольно грязный досчатый вагон, пока приколачивали по стенам гвозди и развешивали венки... До сих пор не знаю, как добрая Марья Петровна и родственники, поехавшие с телом, — метель была исключительно свирепая в эту ночь и во все следующие дни...

(Москва. 6 декабря 1892)

Из дневника

1908 г., 13 сентября (Ясная Поляна). Много ходила по разным хозяйственным делам, вспоминала стихи Фета, присланные мне когда-то со словами: «Посылаю вам (к именинам) свой последний осенний цветок, боюсь вашей пронизательности и тонкого вкуса». Стихи начинаются словами: «Опять осенний блеск денницы...» Особенно хорошо вышло:

И болью сладостно-суровой
Так радо сердце вновь занять...

Это настоящее осеннее чувство.

1911 г., 20 апреля (Ясная Поляна). Я не плачу эти дни, я вся застыла, и теперь моя жизнь — терпенье. «А слово *жить* ведь значит: покоряться», — писал Фет.

И. А. ТОЛСТОЙ

Из книги «Мои воспоминания»

Фет жил на своем хуторе Степановка, Мценского уезда, недалеко от имения Тургенева Спасское-Лутовиново, и одно время к нему съезжались в гости мой отец с старшим братом Николаем и Иван Сергеевич. <...>

Еще до проведения железной дороги, когда ездили на лошадях, Фет, по пути в Москву, всегда заворачивал в Ясную Поляну к отцу, и эти заезды сделались традиционными.

После, когда прошла железная дорога и отец был уже женат, Афанасий Афанасьевич тоже никогда не миновал нашей усадьбы, и если это когда и случалось, то отец писал ему горячие упреки, и он, как виноватый, извинялся.

В те далекие времена, о которых я говорю, отца связывали с Фетом интересы и литературные и хозяйственные. <...>

Но не только общность интересов сближала моего отца с Афанасием Афанасьевичем.

Причина их близости заключалась в том, что они, по выражению отца, «одинаково думали *умом сердца*». <...>

Отец говорил про Фета, что главная заслуга его — это что он мыслит самостоятельно, своими, ниоткуда не заимствованными мыслями и образами, и он считал его наряду с Тютчевым в числе лучших наших поэтов. Часто, бывало, и после смерти Фета он вспоминал некоторые его стихотворения и, обращаясь почему-то ко мне, говорил: «Илюша, скажи это стихотворение — „Я думал... не помню, что думал“ или „Люди спят...“. Ты, наверное, его знаешь». И он с восторгом вслушивался, подсказывал лучшие места, и часто на его глазах показывались слезы.

Я помню посещения Фета с самой ранней поры моего детства.

Почти всегда он приезжал с своей женой Марьей Петровной и часто гостил у нас по нескольку дней.

У него была длинная черная седеющая борода, ярко выраженный еврейский тип лица и маленькие женские руки с необыкновенно длинными выхоленными ногтями.

Он говорил густым басом и постоянно закашливался залившимся, частым, как дробь, кашлем. Потом он отдыхал, низко склонив голову, тянул протяжно *гм... гмммм*, проводил рукой по бороде и продолжал говорить.

Иногда он бывал необычайно остроумен и своими остроумиями потешал весь дом.

Шутки его были хороши тем, что они выскакивали всегда совершенно неожиданно даже для него самого.

Сестра Таня умела необыкновенно похоже передразнивать, как Фет декламировал свои стихи:

И вот портрет, и схоже и несхоже, гм... гм...

Где сходство в нем, несходство где найти... гм... гм...

гм... гм... гмммм...

...я в детстве Фета совсем не любил и считал, что он дружен с папá только потому, что он «смешной».

Только много позднее я его понял как поэта и полюбил его так, как он этого достоин.

Т. А. СУХОТИНА-ТОЛСТАЯ

Из «Воспоминаний»

Иногда к папá езжали гости. Большой частью это бывали умные люди, с которыми папá говорил о серьезных вопросах, нам недоступных.

Между ними были: П. Ф. Самарин, А. А. Фет-Шеншин, князь С. С. Урусов, граф А. П. Бобринский и другие¹.

...Фета мы не особенно любили. Нам не нравилась его наружность: маленькие, резкие черные глаза без ресниц, с красными веками, большой крючковатый сизый нос, крошечные, точно игрушечные, выхоленные белые ручки с длинными ногтями, такие же крошечные ножки, обутые в маленькие, точно женские, прюнелевые ботинки; большой живот, лысая голова — все это было непривлекательно.

Кроме того, Фет имел привычку, разговаривая, очень тянуть слова и между словами мычать. Иногда он начинал рассказывать что-нибудь, что должно было быть смешным, и так долго тянул, так часто прерывал свою речь мычанием, что терпения не доставало дослушать его, и в конце концов рассказ выходил совсем не смешным.

Мои родители очень любили его. Было время, когда папá находил его самым умным из всех его знакомых и говаривал, что, кроме Фета, у него никого нет, кто так понимал бы его и кто указывал бы ему *дурное* в его писаниях.

«От этого-то мы и любим друг друга,— писал отец Фету 27 июня 1867 года,— что одинаково думаем *умом сердца*, как вы называете».

«Иногда душит неудовлетворенная потребность в родственной натуре, как ваша,— пишет он в другом письме, от 30 августа 1869 года,— чтобы высказать все накопившееся».

В письме от 29 апреля 1876 года отец пишет Фету, что когда он соберется «туда», то есть в другую жизнь, то он позовет его. «Мне никого в эту минуту так не нужно бы было, как вас и моего брата. Перед смертью дорого и радостно общение с людьми, которые в этой жизни смотрят за пределы ее... Мне вдруг из разных незаметных данных ясна стала ваша глубоко родственная мне натура-душа (особенно по отношению к смерти), что я вдруг оценил наши отношения и стал гораздо больше, чем прежде, дорожить ими».

Мы с Ильей недоумевали перед оценкой папá и даже раз дружно посмеялись над почтенным Афанасьем Афанасьевичем.

Как-то вечером мы, дети, сидели в зале за отдельным столиком и что-то клеили, а «большие» пили чай и разговаривали.

До нас доносились слова Фета, рассказывающего своим тягучим голосом о том, какие у него скромные вкусы и как легко он может довольствоваться очень малым.

— Дайте мне хороших щей и горшок гречневой каши... ммммм... и больше ничего... Дайте мне хороший кусок мяса... ммммм... и больше ничего... Дайте мне... ммммм... хорошую постель... и больше ничего.

И долго, мыча в промежутках между своей речью, Фет перечислял все необходимые для его благополучия предметы, а мы с Ильей, сидя за своим отдельным столиком, подталкивали друг друга под локоть и, сдерживая душивший нас смех, шепотом добавляли от себя еще разные необходимые потребности.

— И дайте мне по коробке конфет в день — и больше ничего,— шептал Илья, захлебываясь от смеха.

— И дайте мне хорошей зернистой икры и бутылку шампанского — и больше ничего,— подхватывала я тоже шепотом.

С Фетом приезжала его жена — милая, добрая Мария Петровна. Ее мы любили гораздо больше, чем ее знаменитого мужа. Она всегда со всеми была ласкова, и от нее так и веяло скромностью, снисходительностью и добротой.

С обоими супругами мы сохранили дружеские отношения до конца их жизни, а выросши, я полюбила истинное поэтическое дарование Афанасья Афанасьевича и научилась ценить его широкий ум.

(«Детство Тани Толстой в Ясной Поляне»)

5 октября. Ясная Поляна.

...Был на днях у нас Фет, и был в кротком, умиленном состоянии. С папá они не спорили, а так хорошо, интересно говорили и, что всегда в разговоре необходимо, — с уважением и вниманием относились к словам друг друга... <...>

Стахович² тоже гостит тут и очень понравился Фетам. В пятницу мы все разъехались. Стахович по делам уехал на два дня, — завтра возвратится, Феты уехали на Плющиху, а мы с мамá — в Пирогово. Выехали все вместе до Ясенков. Там нам пришлось ждать, и Фет говорил нам стихи Пушкина «В последний раз твой образ милый дерзаю мысленно ласкать» и так растрогался под конец, что расплакался. Я в первый раз тогда увидела в нем поэта, увидела, как он может чувствовать красоту и умиляться ею. Как это дорого в человеке и как это редко бывает!

(«Из дневника», 1886 г.)

Тургенев, чтобы проверить чье-нибудь художественное чутье, всегда задавал вопрос:

— Какой стих в пушкинской «Туче» не хорош?

Помню, что отец тотчас же указал на стих: «и молния грозно тебя обвивала».

— Конечно! — сказал Тургенев. — И как это Пушкин мог написать такой стих? Молния не «обвивает». Это не дает картины...

Помню, как после этого отец задал тот же вопрос Фету. Фет входил в комнату. Отец, не здороваясь с ним, сказал:

— Ну-ка, Афанасий Афанасьевич, какой стих в пушкинской «Туче» не хорош?

Фет, не задумавшись, тотчас же спокойно ответил:

— Конечно, «и молния грозно тебя обвивала»...

(«Друзья и гости Ясной Поляны. Иван Сергеевич Тургенев»)

Совсем другой тип помещицкой жизни представляла семья Дьяковых¹, к которым мы в это лето поехали погостить. Он был человеком с большими средствами, много бывал за границей, и жили они больше на европейский лад. Роскоши не было, но был большой комфорт. Большой дом с мезонином, паркетные полы, мебель старинная, солидная, везде чистота и порядок. <...>

Часто бывал у них А. А. Фет, Иван Петрович Борисов, женатый на сестре Фета, и еще две-три семьи. Фета позднее я видала в Ясной Поляне. И наружностью, и разговорами он так мало походил на поэта. Глядя на него, слушая его, удивляешься, откуда он брал эту чуткость, эту тонкость и нежность чувств, которыми полны его стихотворения. Говорил он больше о предметах практических, сухих, медленно, как бы ища слова. Разумеется, я говорю только о его разговорах в гостинной. Говорил он о политике, о хозяйстве, — так мало было возвышенного в его словах. Деньгам он придавал большое значение, в политике высказывал очень резкие и негуманные взгляды. Но речь его была пересыпана такими блестящими ума и остроумия, что всегда, бывало, слушаешь его с удовольствием. С Дьяковым они пускались в длинные разговоры о сельском хозяйстве. Оба были дельными, хорошими хозяевами. Лев Николаевич вообще не любил стихов, но делал исключение для Пушкина и Тютчева, но стихи Фета он ценил, некоторыми он восхищался, над некоторыми он умилялся до «щипания в носу», до «слез умиления». Лев Николаевич был очень дружен с Фетом, что можно видеть из их переписки, но в их отношениях произошло отчуждение с переменой во взглядах Льва Николаевича, которым Фет не сочувствовал, которые были ему совершенно чужды. Он пишет Н. Н. Страхову: «Где жгучий интерес взаимного ауканья?» Они утратили его. Уже в старости Фет добивался получить камергерство, получил его и завещал похоронить себя в камергерском мундире. Большим поклонником его поэзии был К. Р., считал себя его учеником. С ним Фет всегда поддерживал сношения и лично (он бывал у него в Петербурге) и через переписку, он завещал ему свое перо. Я была на 50-летнем юбилее Фета. Не помню сейчас, в каком здании давался обед с музыкой, цветами и адресами. А. А. был наверху блаженства. Не помню, всем ли или только дамам раздавали фотографию Фета, меню обеда и стихи, написанные на другой стороне меню, стихи очень хорошие. Ну, какое же могло быть «взаимное ауканье» со Львом Николаевичем!

Живя безвыездно в Ясной Поляне, мы в нашем детстве обыкновенно радовались приезду гостей. Гости — это интересные разговоры, поблажка в уроках, закуска и вкусное пирожное к обеду. Мы были рады даже, когда приезжал А. А. Фет. Я говорю «даже», потому что он к нам, детям, был равнодушен, и мы это чувствовали. Но все-таки интересно было послушать его декламацию, его резкие суждения о людях, его плохие острооты, жалобы на хозяйство и либеральные веяния. Он читал стихи громко, медленно, густым басом, прерывая чтение мычанием и кашлем. Он приезжал в Ясную Поляну на день или на два, один или большей частью с женой Марьей Петровной; ею мы еще меньше интересовались, чем им.

Наружность Афанасия Афанасьевича была характерна: большая лысая голова, высокий лоб, черные миндалевидные глаза, красные веки, горбатый нос с синими жилками, окладистая борода, чувственные губы, маленькие ноги и маленькие руки с выхоленными ногтями. Его еврейское происхождение было ярко выражено, но мы в детстве этого не замечали и не знали.

В нем не было простодушия и непосредственной привлекательности, что не исключает того, что он был добрым человеком. В нем было что-то жесткое и, как ни странно это сказать, было мало поэтического. Зато чувствовался ум и здравый смысл.

Я всегда недоумевал: на чем основана дружба моего отца с Фетом? Правда, он был умен, хорошо образован (больше самоучкой), у него был верный и тонкий художественный вкус, он был искренним и оригинальным человеком. Но он и отец были разные люди. В противоположность отцу, Фет был расчетлив и нерелигиозен, скептик и язычник. Он не относился враждебно к религии, она просто для него не существовала. Только иногда он не мог удержаться от иронического отношения к церковным обрядам. Помню, как однажды Фет говорил о грядущем воскресенье мертвых: я умру, и на моей могиле вырастет лопух. В него войдут частицы моего тела. Этот лопух съест корова, а мясо этой коровы съест какой-нибудь другой человек; очевидно, частицы моего тела через лопух и мясо коровы перейдут в тело этого человека, который также умрет, и оба мы должны будем предстать перед Страшным судом.

Очевидно, или мое тело, или тело человека, съевшего мясо коровы, будет лишено каких-то существенных частиц. Как же мы во плоти воскреснем?

Одно время Афанасий Афанасьевич увлекался философией Шопенгауэра и перевел его «Мир как воля и представление». Я думаю, что эта философия ближе всего подходила к складу его ума и характера. Ведь он, так же как Шопенгауэр, презирал людей и видел их недостатки.

Несмотря на свою мизантропию, Фет был тщеславен. Даже думаю, что в его дружбе с моим отцом была некоторая доля тщеславия: ему лестно было быть приятелем знаменитого писателя графа Толстого. Впрочем, это не мешало ему искренно любить Льва Николаевича не только как художника, но и как человека. Позднее его хлопоты о получении фамилии Шеншина, его знакомство с вел. кн. Константином Константиновичем и его радость, когда он был произведен в камергеры (а Пушкин был только камер-юнкером), — все это обнаружило в нем самое обыкновенное наивное тщеславие. Фет его и не скрывал.

В обществе Афанасий Афанасьевич был всегда изысканно вежлив. Особенно любезен был он с моей матерью. Мы даже шутя говорили, что он был к ней неравнодушен. <...>

В молодости и до конца 70-х годов отец сходиллся с Фетом по делу, интересовавшему обоих, — по хозяйству в имениях. Но отношение их к сельскому хозяйству было различно. Отец увлекался, так сказать, поэзией сельского хозяйства: он любил породистый скот, любовался обильными урожаями, посадками деревьев и яблонь, изучал жизнь пчел, интересовался работой и жизнью крестьян и рабочих, вообще смотрел на хозяйство, как на своего рода творчество. Фет же, как практичный человек, относился к сельскому хозяйству почти только с точки зрения выгоды. Он купил Степановку, некрасивое имение в Мценском уезде — ровное, безлесное поле-блин, среди которого высился дом хозяина, только потому, что это было выгодно. Он не гнался за живописными видами, парком, красивым домом и т. п. Ему нужен был доход. Степановка была доходным имением, и Фет ее купил. Правда, позднее он купил в Курской губернии около ст. Коренной богатое и живописное имение с прекрасным парком и хорошим домом, но тогда он был так богат, что мог позволить себе эту роскошь; к тому же оно досталось ему как придача к доходному имению.

В противоположность моему отцу, Афанасий Афанасьевич был более или менее равнодушен к музыке. Я слышал, как он говорил, что музыка — это неприятный шум; ему нравились

только некоторые итальянские арии и романсы Глинки. Правда, в некоторых стихотворениях («Сияла ночь», «Певица») он писал иное, но мне кажется, что не музыка, а обаяние голоса молодой женщины вызвало эти стихи.

Афанасий Афанасьевич в молодости охотился вместе с Тургеневым с ружьем и легавой собакой на птицу — тетеревов, вальдшнепов, дупелей и т. п., но он не любил охоту с борзыми и гончими; помню, как он раз сказал: «Не понимаю удовольствия слушать собачий лай». Думаю, что охота не была для него прежде всего средством общения с природой, как у моего отца.

Известно мнение Льва Николаевича о поэтах: по его мнению, размер и рифма связывают мысль писателя. Прозой можно лучше и полнее выразить свою мысль, чем стихами. Но все же он ценил некоторых поэтов. К числу этих немногих он относил Фета. В своих разговорах и письмах он не раз горячо отзывался о некоторых его стихотворениях. <...>

Жена Афанасия Афанасьевича, Марья Петровна, рожденная Боткина, сестра Василия и Сергея Петровича Боткиных, была некрасива и неинтересна, но добрейшая женщина и прекрасная хозяйка. Трудно предположить, что Афанасий Афанасьевич был когда-нибудь влюблен в нее. Думаю, что этот брак был заключен по расчету. Жили они мирно. Марья Петровна заботилась о муже, а он был с нею предупредителен, по крайней мере при людях.

Афанасий Афанасьевич иногда щеголял мнениями, выставившими его самого в невыгодном свете или идущими вразрез с общепринятыми взглядами. Помню, что однажды он сказал приблизительно следующее:

— Я любил одну женщину, и она меня любила. Но я ей сказал: душа моя, у меня ничего нет, и у тебя ничего нет. Только поэты мечтают о рае в шалаше; такого рая не бывает. Поэтому, душа моя, нам лучше всего разойтись. И мы разошлись.

Прямым следствием такого рассуждения должна была быть женитьба Фета по расчету. Марья Петровна была богата.

Афанасий Афанасьевич хорошо знал крестьянина, обыкновенного житейского мужика со всеми его достоинствами и недостатками, и никогда его не идеализировал. Несколько лет он был мировым судьей в Мценском уезде и, насколько мне известно, справедливым судьей, но он судил не столько по закону, сколько по здравому смыслу. Когда ему во время судебного заседания не удавалось примирить тяжущихся или когда он сердился на них, он прерывал заседание, снимал с себя цепь, призывал тяжущихся к заднему крыльцу, усовещивал и ругал их; даже, как говорили злые языки, случалось, «давал им в морду», чему я, однако, не верю.

Вообще он слыл крепостником, но я не слышал, чтобы в разговоре он защищал крепостное право. Он, однако, говорил, что над мужиком нужна сильная власть, и писал об этом статьи в реакционной прессе; в либеральных органах его за это жестоко разносили. <...>

Одно время Фет был близок с Тургеневым, но не думаю, чтобы он был дружен с ним: он не без удовольствия критиковал произведения Тургенева и его самого.

Однажды я слышал, как он сказал про то место в «Асе», где Ася кричит отплывающим в лодке: «Вы въехали в лунный столб»: «Ася не могла этого видеть, потому что лодка, въезжая в лунный столб, разбивает этот столб волнением воды. Тургенев это выдумал».

Мой отец сперва согласился с этим, но как-то после этого, увидав с берега реки, как лодка въехала в лунный столб и не разбила его, он вспомнил слова Фета и признал, что прав был Тургенев, а не Фет. <...>

Как известно, Фет уже на восьмом десятке лет написал цикл стихотворений «Вечерние огни», в которых вспоминал любовные чувства, испытанные им в юности. Я однажды слышал, как его приятель Н. Н. Страхов по этому случаю сказал:

— Фет — настоящий сатир. Посмотрите на него: он и по наружности похож на старого сатира.

И в этом была доля правды.

Как скептик и язычник, Фет мужественно относился к смерти. <...>

Фет умер в 1892 году. Он страдал болезнью дыхательных органов — одышкой и бронхитом, последствием чего была большая слабость. В день своей смерти он был еще на ногах, но, чувствуя приближение роковой минуты, уговорил жену выехать за какой-то покупкой и умер, присевши на стул в своей столовой.

Т. А. КУЗМИНСКАЯ

Письмо Г. П. Блоку

Многоуважаемый Георгий Петрович!

Мне очень совестно, что я так долго не исполняла Вашей просьбы. Была занята тем же, чем и теперь, т. е. давала сведения о Льве Николаевиче, что было легче. Все же постараюсь сообщить Вам что-либо о Фете, но предупреждаю, что воспоминания мои весьма бедны.

Афанасий Афанасьевич был очень однообразен, но вместе с тем и своеобразен. Он вмещал в себе двух разнообразных людей: поэта и очень практичного житейского человека. Молодой Фет от старого Фета-Шеншина отличался мало как внешностью, так и внутренним миром, по крайней мере для постороннего человека. Он всегда любил много говорить, был красноречив, прекрасный рассказчик, и Лев Николаевич очень любил его слушать.

Познакомилась я с ним, когда мне было 15—16 лет. Его привез к нам Лев Николаевич. Это был не первой молодости, довольно красивый (в пошлом смысле) человек, с еврейским типом, немного выше среднего роста, довольно плотный, со спокойными, скорее медлительными, манерами, маленькими, выхолощенными руками.

Он обедал у нас и поразил нас своим живым юмором, веселым остроумием и своими оригинальными суждениями.

Обед был оживленный. Лев Николаевич видимо был доволен. Он как бы подносил нам Фета на блюде. Афанасий Афанасьевич любил, чтобы его слушали, хвалили и обращали бы на него внимание. Отчасти, конечно, он имел на это право.

У него были отличительные черты характера — это честолюбие и эгоизм. Честолюбие его сказывалось на каждом шагу: искание и преклонение к *grands-noms** (не умею иначе выразиться); он всю жизнь страдал, что он не Шеншин, как его братья, которые признавали его за брата, а незаконный сын еврейки Фет. Он не хотел понять, что имя Фет несравненно выше Шеншина, что он сам создал его, что ему не раз и внушал Лев Николаевич.

Тот день, когда уже на склоне лет Афанасия Афанасьевича произвели в камергеры и дали имя Шеншина, день этот, как говорила мне сестра, был один из счастливейших в его жизни. Да не перечить всего, что указывало на тщеславие Фета.

После того как Фет стал Шеншиным, в газете «Новое время» вышла статья на эту тему, очень даже лестная, как помню, для Афанасия Афанасьевича. Но вышло тоже и юмористическое четырехстишие, кажется, Константина Скальковского; из стихов помню только 3 линейки:

Как снег с вершин,
Как с гор поток,
Стал Фет Шеншин

.

Дополните сами. Бог простит эту смелость, а то жаль неоконченное. Отношение к людям вообще у Афанасия Афанасьевича

* Важное имя (*фр.*).

ча было очень определенно и однообразно. В начале нашего знакомства это отношение безотчетно неприятно действовало на меня. Впоследствии я поняла почему.

Афанасий Афанасьевич требовал от других известного поклонения, согласия с его суждениями, похвалы, услуг, но сам оставался ко всем совершенно безучастен. Я никогда не слышала от Фета, чтобы он интересовался чужим внутренним миром, не видала, чтобы его заделали чужие интересы. Я никогда не замечала в нем проявления участия к другому и желания узнать, что думает и чувствует чужая душа. В нем не было той драгоценной божьей искры, которая без обмана идет прямо в сердце, и казалось, Фет соединял как бы в одну единицу всех, с кем он общался. Не знаю, поняли ли Вы меня. Это отчасти ответ на Ваш вопрос: казался ли он мне человеком сердца или рассудка?

Вместе с тем Фет был очень чувствителен ко всему художественному, как и к красоте природы.

Знаю случай совершенно незначительный, но важный в моих глазах, когда красота поэзии вызвала слезы у Афанасия Афанасьевича.

Татьяна Львовна Сухотина, тогда еще Толстая, и Михаил Александрович Стахович провожали Фета на станцию железной дороги. В ожидании поезда они разговорились, не знаю о чем, но думаю, что разговор шел о Пушкине или о разлуке.

Фет продекламировал это чудное стихотворение:

В последний раз твой образ милый
Дерзаю мысленно ласкать,
Будить мечту сердечной силой
И с негой робкой и унылой
Твою любовь воспоминать

и т. д.

И когда Фет дошел до последних строк, которые действительно дивно хороши (я приведу их):

Прими же, дальняя подруга,
Прощанье сердца моего,
Как овдовевшая супруга,
Как друг, обнявший молча друга,
Перед изгнанием его —

тут голос его дрогнул, и, произнося последние строки уже совсем тихо, Афанасий Афанасьевич заплакал...

Это все же большой плюс его душе. Одно время Афанасий Афанасьевич пристрастился к сельскому хозяйству и очень увлекался устройством своего имения. Я часто слышала длинные разговоры с Львом Николаевичем о сельском хозяйстве, который тоже временно был увлечен тем же.

Фет любил вообще комфорт, хороший стол и благоустройство. Он был гостеприимен. К нему езжали соседи: Дьяков, друг Льва Николаевича, Борисов и И. С. Тургенев, когда бывал в России.

Теперь перейду к Вашим вопросам:

Как я оцениваю дружбу Льва Николаевича с Фетом?

В молодые годы несомненно соединяло их художество и поэзия. Лев Николаевич был большой ценитель его таланта. Я не раз слышала от него самые лестные отзывы о произведениях Фета. Помню, еще давно, когда случилось мне в Ясной проводить лето, и, бывало, мы выйдем в звездную ночь в сад — Лев Николаевич посмотрит на звездное яркое небо и, припоминая Фета, скажет это стихотворение:

Я долго стоял неподвижно.
В далекие звезды вглядясь,—
Меж теми звездами и мною
Какая-то связь родилась.

«Как хорошо это», — скажет он. «А дальше?» — спрошу его. «А дальше еще лучше». — «Ну скажи». И он продолжает:

Я думал... не помню, что думал;
Я слушал таинственный хор.
И звезды тихонько дрожали,
И звезды люблю я с тех пор...

И в голосе его слышится волнение, и это волнение, как художественный ток, заразит и меня и других и поднимет высоко к звездному небу. И за это спасибо Фету.

Но я отвлеклась от вопроса. По-моему, что называется «дружба», между ними никогда не было. Например, откровенности, прочности отношений, как с Дьяковым, не было, но хорошие, дружеские отношения существовали. Я помню, как в шестидесятых годах Лев Николаевич всегда с радостью встречал Фета, беседы их были всегда оживленные, Фет всегда привозил с собой вновь написанные стихотворения и читал их Льву Николаевичу. Лев Николаевич никогда не говорил о своем писательстве, ни о своих намерениях в новых произведениях. По-моему, дружба их была основана исключительно на художественной почве. Сходства характеров не существовало. Как люди они были очень разные.

Вы спрашиваете, какой характер приняли их отношения после духовного перерождения Льва Николаевича в начале 80-х годов? Лев Николаевич в эти годы стал вообще мрачен, в отношениях его к людям чувствовались осуждение и неприязнь. Также охладел он и к Фету. Лев Николаевич, никогда не осуждавший Фета, стал осуждать его за глаза за матерьяльные

заботы о наживе, совпавшие с противоположным настроением Льва Николаевича. Когда Фет по-прежнему привозил свои новые произведения читать вслух, и если они были любовного молодого содержания, Лев Николаевич осуждал его, говоря, что противно видеть в старом человеке проявление молодой страсти.

Афанасий Афанасьевич, бывши уже довольно близким человеком в Ясной Поляне, продолжал ездить, не замечая охлаждения, да, может быть, Лев Николаевич и не высказывал ему своего чувства. Афанасий Афанасьевич избегал разговора с Львом Николаевичем об его нравственном перевороте. По крайней мере я лично это наблюдала. Он всей душой скорбел о том, что [Толстой] бросил писанье художественное и вдался в философию. Я сама от него это слышала и вполне была с ним согласна. Но надо сказать, что Лев Николаевич не только охладел к Фету, но и к другим друзьям своим.

Вы спрашиваете, как отнесся Лев Николаевич к смерти Фета.

Сестра мне говорила, что очень спокойно, как будто случилось должное. Я в это время была в Киеве, а Лев Николаевич находился в Рязанской губернии — кормил голодающих. Но я замечала, что после смерти Афанасия Афанасьевича Лев Николаевич никогда не осуждал его, а, напротив, всегда отзывался о нем дружественно...

Вы спрашиваете, был ли [он] разговорчив? Очень, в особенности, если кто умел его вызвать на это. Но Афанасий Афанасьевич умел и молчать. У него было много такту и утонченной манеры держать себя в обществе.

Вопрос Ваш: характерная черта его разговора? Медлительность, даже в молодости. Удачные сравнения и иногда остроумие. На старости лет медлительность перешла в какое-то мычание: м-м-м... прежде, чем найти выражение, что не раз вызвало невольный, неприличный взрыв смеха у нашей молодежи. Фет любил в разговоре слушать себя, как говорится «il s'écoutait parler»,* что портило впечатление слушающих.

Вы спрашиваете, был ли он привлекателен с женской точки зрения? Нет. Он совсем не умел нравиться. Не знаю, как бы мне выразиться? Он как будто совсем не понимал женщин. Он не умел подходить к ним так, чтобы заинтересовать их.

Разговор с женщиной у него бывал почти всегда о себе самом, о собственных своих интересах; он не выражал ей участие, не умел отнестись к ней с чутким пониманием ее, он ни минуты не мог забыть себя. Нет, всего этого он не мог дать, это было не в его характере. А мы, женщины, этого не прощаем.

* Внимал собственным речам (*фр.*).

Вы спрашиваете, был ли он человеком сердца или рассудка? Конечно, рассудка.

Не наблюдалось ли в нем тяготение к барству и аристократизму?

Даже весьма большое.

Не замечала ли я в нем признаков умственной неуравновешенности, граничащей, может быть, с психическим расстройством?

Я никогда не замечала этого и никогда ничего не слышала об этом.

Вы спрашиваете, не произошла ли перемена в 70-х годах в Афанасии Афанасьевиче, что он из сельского хозяина, охотника и человека, занятого практическими делами, превратился в отшельника, философа и потом снова вернулся к стихам и прошлому?

Такой перемены нравственной я никогда у Фета не видела. В семидесятых годах я жила на Кавказе, хотя на лето и ездила с семьей в Ясную Поляну и видала часто Фета. Но слышали мы стороной, что что-то семейное, неприятное произошло у него и что он продает имение¹.

Охотником он никогда не был. Я со Львом Николаевичем часто ездила на охоту еще в 60-х годах, но Фет, живя лето в соседстве, никогда не ездил с нами.

Как рисуются Вам отношения Фета к его жене? Что за женщина была она?

Фет в обществе никак не относился к ней, а когда обращался, то дружественно и просто. Марья Петровна была прекрасная, сердечная женщина. Она часто бывала в Ясной Поляне, где я ее и видала. Она была сухощавая, среднего роста, дурна собой, с серым, не цветущим цветом лица, но с милой и доброй улыбкой, придававшей ей милое выражение лица. Про нее можно было сказать: «хороша не была, молода была». Характер у нее был прелестный. Мужа своего она очень любила. Звала его всегда: «говубчик Фет», не выговаривая буквы «л». Ходила она за ним, как нянька, чувство ревности ей было чуждо. Напротив, она рассказывала той, которой Фет писал влюбленные стихи, как он писал их, с каким восхищением. Сестре моей она говорила не раз: «Душечка, графиня, Фет обожает Вас!»

Смешной случай произошел у Фета с гр. Сергеем Николаевичем Толстым, братом Льва Николаевича.

Сергей Николаевич был нездоров. Фет пришел навестить его, они дружески разговорились, и Сергей Николаевич, будучи всегда очень откровенен и искренен, вдруг спросил его: «Афанасий Афанасьевич, зачем Вы женились на Марии Пе-

тровне?» Фет покраснел, низко поклонился и молча ушел. Сергей Николаевич с ужасом впоследствии рассказывал об этом.

Вы спрашиваете про характеристику поклонения Фета моей сестре, не было ли тут романтического характера?

Первое знакомство Фета с моей сестрой произошло в Ясной Поляне, вскоре после ее замужества. Она, по-видимому, произвела на него сильное впечатление. Молодая, восемнадцатилетняя, красивая, цветущая, в белом платье, со связкой ключей на поясе (приказчика как раз разочли, и у сестры были все ключи) — вся эта картина смеси поэтического с домашним, конечно, не прошла мимо поэта с художественным чутьем и произвела на него сильное впечатление.

С этого дня началось его поклонение, но, по-моему, без всякого романтизма: сестра была с ним всегда одинаково приветлива. Во всю свою жизнь Фет сохранил к сестре моей не то дружбу, не то известное обожание. Но и тут часто проглядывало значение: «жена Льва Толстого».

Уже в преклонных годах, проводя зиму в Москве, где жили и Толстые, Афанасий Афанасьевич любил бывать у них по воскресеньям вечером (в их приемный день). Он садился обыкновенно у самовара около сестры и с блаженной улыбкой говорил: «Мне ничего не надо, ни выездов, ни театров, ни обедов, я люблю длинный стол, самовар, а за самоваром хозяйку с приятной для меня беседой».

Теперь я дошла до последнего вопроса — самого трудного. Трудного оттого, что писать о себе и смешно и немного стыдно. Но все же преклонные годы мои позволяют мне превозмочь эти чувства. Я буду писать, как про постороннюю. Мне очень памятен этот вечер.

Ваши вопросы: Не сообщу ли что-либо об «Эдемском вечере», кажется, у Дьяковых, когда Вы пели до зари в гостиной без огней? Верно ли передано настроение того вечера в стихотворении Фета «Сияла ночь»? Не припомните ли вы, что именно пели Вы в этот вечер и кто тут присутствовал? И какая из спетых Вами вещей особенно восхитила Фета в Вашем исполнении?

Чтобы дать Вам понятие, где все это происходило, у кого и обстановку всего, я начну сначала.

В 1864 году я гостила у Дьяковых² в Черемошне, бывши очень дружна с его женой Дарьей Александровной, рожденной Тулубьевой. Дмитрий Алексеевич Дьяков был крупный помещик, большой хозяин, давнишний друг Льва Николаевича. Он был любитель музыки, в особенности пения, и сам немного умел петь. Фет с женой часто бывали в Черемошне и гостили у них.

Дом был старинный, барский, просторный, с большой гостиной и еще большей залой. Из гостиной вела выходная дверь на чудную террасу и в сад.

По воскресеньям обыкновенно собирались к обеду соседи. Так было и в этот день. Приехали Феты, Соловьевы, отец и сын, добродушная соседка (забыла ее фамилию) и гостила гр. Мария Николаевна Толстая с двумя дочерьми, моими большими друзьями³. Из домашней молодежи были мы, три девочки: восемнадцатилетняя Маша Дьякова, ее молодая гувернантка-институтка⁴ и я.

Вечер этот сложился совершенно неожиданно. После обеда, когда мужчины ушли смотреть хозяйство, Дарья Александровна и Мария Николаевна сели играть в четыре руки Моцарта. Мария Петровна и мы все уселись по углам слушать их. Когда они кончили, Долли, так звали Дарью Александровну, стала наигрывать аккомпанемент моих романсов и тем звать меня петь. Я всегда неохотно пела в обществе и часто наотрез отказывалась, но тогда было трудно, Мария Николаевна так любила пение. Только что я начала, как услышала мужские шаги и вторую романса «Скажи зачем», который я пела. Все вернулись с прогулки и вошли в гостиную.

Дьяков сел около рояля, и уже прервать пение было невозможно. Мне было немного страшно начать пение при таком обществе, меня смущала мысль, что Фет так много слышал настоящего хорошего пения, что меня он будет критиковать. А я была очень самолюбива к своему пению.

Дмитрий Алексеевич, вызвав меня второй на пение, покинул меня одну. Я продолжала, и один романс сменялся другим. В комнате царила тишина. Уже смеркалось, и лунный свет ложился полосами на полутемную гостиную. Огня еще не зажигали, и Долли аккомпанировала мне наизусть.

Я чувствовала, как понемногу голос мой крепнет, делается звучнее, как я овладела им. Я чувствовала, что у меня нет ни страха, ни сомнения, я не боялась уже критики и никого не замечала. Я наслаждалась лишь прелестью Глинки, Даргомыжского и других. Я чувствовала подъем духа, прилив молодого огня и общее поэтическое настроение, охватившее всех.

Подали чай, и нас позвали в залу. В освещенной большой зале стоял второй рояль. После чая Долли снова села аккомпанировать мне, и пение продолжалось.

Афанасий Афанасьевич два раза просил меня спеть романс Булахова на его слова «Крошка».

Только станет смеркаться немножко,
Буду ждать, не дрогнёт ли звонок,
Приходи, моя милая крошка,
Приходи посидеть вечером

и т. д. ...

Окна в зале были отворены, и соловьи под самыми окнами в саду, залитом лунным светом, перекрикивали меня.

В первый и последний раз в моей жизни я видела и испытала это. Это было так странно, как их громкие трели мешались с моим голосом.

Вы спрашиваете, какие романсы больше всего понравились Фету? «Я помню чудное мгновенье» и романс «К ней». Оба Глинки. Последний на темп мазурки:

Когда в час веселый
Откроешь ты губки
И мне ты воркуешь
Нежнее голубки

и т. д. ...

Этот романс очень любил и Лев Николаевич и отлично аккомпанировал мне. Он говорил, что Глинка написал его бывши навеселе.

Фету понравился еще один небольшой и малоизвестный романс, не помню только, чей он, со словами:

Отчего ты при встрече со мною
Руку нежно с тоскою мне жмешь
И в глаза мне с невольной мольбою
Всё глядишь и чего-то всё ждешь.

Когда я спела его, Фет подошел ко мне и сказал: «Когда Вы поете, слова летят на крыльях. Повторите его».

Мария Петровна суетливо подходила ко всем и говорила: «Вот увидите, что этот вечер не пройдет даром говубичку Фету. Он что-нибудь да напишет в эту ночь».

Мария Петровна была права.

На другое утро, когда все сидели за чайным столом, в залу вошел Фет. Поздоровавшись со всеми, он подошел ко мне, положил передо мною небольшой листок бумаги с написанными стихами с оглавлением «Опять» и сказал: «В память вчерашнего Эдемского вечера!»

Оглавление это произошло оттого, что однажды Лев Николаевич, приехавши к нам вечером вместе с Афанасием Афанасьевичем, заставил меня петь, аккомпанируя мне, а потом сказал мне: «Вот ты не хотела петь, а Фет как похвалил тебя! А ты ведь любишь, чтобы тебя хвалили!». Это было в 1862 году, когда Лев Николаевич только что женился⁵.

Я поблагодарила Фета и просила его прочесть стихи, что Афанасий Афанасьевич и исполнил. Этот листок до сих пор хранится у меня. Редакция двух строк в печати и у меня несколько иная, и потому выпишу Вам эту разницу:

В печати:

И так хотелось жить, чтоб, звука не роняя,
Тебя любить, обнять и плакать над тобой!

У меня:

И так хотелось жить, чтоб только, дорогая,
Тебя любить, обнять и плакать над тобой!

Ко всему этому прибавлю Вам еще немного комическое замечание Льва Николаевича. Он прочел эти стихи вслух окружающим его, они очень понравились ему, он хвалил их и, когда дочел до строки: «Тебя любить, обнять и плакать над тобой!» — он полушутя сказал: «Все это прекрасно, но зачем он хочет обнять Таню. Человек женатый, совсем лишнее».

Чувствую, что описание «Эдемского вечера» может показаться немного хвастливым. Да что же мне делать? Если бы я не писала искренно и правдиво (а я помню этот вечер, как вчерашний день), то у меня не вышло бы и было бы сухо и буднично.

Только не пишите лестные для меня места от моего имени, это моя просьба к Вам.

Вот и все, что я могла написать Вам об А. А. Фете.

(Ясная Поляна. 9 декабря 1920)

Из книги «Моя жизнь дома и в Ясной Поляне»

Странный человек был Афанасий Афанасьевич Фет. Он часто раздражал меня своим эгоизмом, но, может быть, я была и неправа к нему. Мне всегда, с юных лет, казалось, что он человек рассудка, а не сердца. Его отношение холодное, избалованное к милой Марье Петровне меня часто сердило. Она прямо как заботливая няня относилась к нему, ничего не требуя от него. Он всегда помнил себя прежде всего. Практическое и духовное в нем было одинаково сильно. Он любил говорить, но умел и молчать. Говоря, он производил впечатление слушающего себя.

И. С. ТУРГЕНЕВ

Из писем Я. П. Полонскому

Я вчера вернулся от Фета, который живет отсюда в 70 верстах в степной местности, плоской, как блин. Сам он толст, лыс, бородаст — и в белом балахоне с цепью мирового судьи на шее представляет зрелище почтенное.

(Спасское. 20 июня 1870)

Тем хуже для Фета, если он к тебе не заехал. Философия Льва Толстого и его собственная его совсем с толку сбили — и он теперь иногда такую несет чушь, что поневоле вспоминаешь о двух сумасшедших братьях и сумасшедшей сестре¹ этого некогда столь милого поэта. У него тоже мозг с пятнышком.

(Париж. 2 марта 1872)

Из писем И. П. Борисову

Едва ли Фет приедет и в нынешнем году в Баден¹. Скучно ему в Степановке и с каждым годом будет скучнее, но он, хотя и полунемец, а вне России жить не может. Я не знаю человека, который мог бы сравниться с ним в умении хандрить. Вот кому бы следовало оставаться вечно молодым!

(Веймар. 31 января 1870)

Приятно мне думать, что я увижусь с Фетом — постараюсь, по старой памяти, с ним поспорить, что мне с каждым годом все труднее и труднее становится. Глубже и глубже проникаюсь я истиной тючевского стиха:

«Мысль изреченная — есть ложь»;

во всяком случае — такая мысль, к которой собеседник не хочет идти благодушно навстречу, не хочет помочь вам самому понять ее: а Фет — не из таких собеседников; он из удилозакусных.

(Веймар. 15 марта 1870)

Из писем А. А. Фету

Так как у Вас самих детей нету, то Вам уже сам Бог велел взять Петю на свое попечение¹. Я уверен, что у Вас ему будет хорошо и что Вы ему замените отца, насколько это возможно — ибо Вы человек с добрым и мягким сердцем — а это более чем «главное», это — все.

(Лондон. 4 июня 1871)

А что Вы выводите славных лошадей и вообще хозяйничаете с толком — за это Вам похвальный лист! Вот это точно дело и оставляет дельный след.

(Париж. 24 ноября 1871)

А за поход Ваш по поводу сифилиса нельзя Вас не похвалить — вот это дело, дельное дело² — и дай бог Вам успеха и помощи отовсюду! На Вашу больницу с домом я немедленно подписываюсь на сто рублей сер.

(Париж. 29 марта 1872)

Вы описываете свое настоящее местопребывание с не совсем выгодной стороны; однако я слышал, что Ваша Воробьевка прекрасное имение: один дубовый парк в 18 десятин чего стоит! В настоящую минуту я мысленно переношусь к Вам и вижу Вас с ружьем в руке (несмотря на геморрой), стреляющим по вальдшнепам в Вашем парке: конец сентября — самый их привал в наших краях.

(Буживаль. 30 сентября 1878)

Любезный Афанасий Афанасьевич, мне бы давно следовало отвечать на Ваше любезное и обширное письмо, в котором Вы так наглядно представляете жизнь русского country gentleman в новом вкусе — с парком, машинами, олеандрами, европейской мебелью, чистой прислугой в ливрее, усовершенствованными конюшнями и даже ослами (не аллегорическими, а настоящими).

(Париж. 16 декабря 1878)

Н. Н. СТРАХОВ

Из писем А. А. Фету

Вы похвалили меня, и я рад, что мне можно и следует выказать Вам то душевное расположение, которое Вы мне внушили, хотя я и не найду такого милого сравнения, как Ваше сравнение меня с куском мыла. Вы для меня человек, с которым все настоящее, неподдельное, без малейшей примеси мишуры.

Ваша поэзия — чистое золото, не уступающее поэтому золоту никаких других рудников и россыпей. Ваши заботы, служба, образ жизни — все также имеет настоящий вид железа, меди, серебра, какой чему следует. Вы знаете, что занятие поэзией ведет к фальши, к притворству, к ломанью. У Вас же все чисто и ясно, и редко случалось мне смотреть на людей с таким приятным чувством душевной чистоплотности, с каким я смотрел на Вас.

Приеду непременно и очень Вам благодарен за повторное приглашение, так как я немножко робок.

После Льва Николаевича никуда мне так приятно не будет ехать, как к Вам.

(Петербург. 24 ноября 1877)

Очень меня радует мысль, что придется долго и на свободе беседовать с Вами, и некоторые темы давно напрашиваются.

«Та трава, что вдали» и пр. какая прелесть!¹

Вы обладаете тайной удивительных звуков, никому другому недоступных.

(Петербург. 13 мая 1878)

Нужно бы многое сказать, чтобы выразить, с каким я удовольствием вспоминаю Воробьевку, наши беседы и как я благодарен Вам за Ваше милое гостеприимство. Хоть Вы и часто ворчите, а есть что-то светлое у Вас, часть света Вашей поэзии.

(Тимротовские хутора. 31 июля 1878)

Когда душа твоя чиста,
И безмятежно сердце бьется,
Ступай туда, где тень густа,
Где жаркий луч сквозь ветви рвется.

Там будет все тебя ласкать:
Свет, воздух, чудный вид с дорожки
И золотые будут мошки
Вкруг головы твоей мелькать.

Но если духом ты взволнован
И шевелится страсть в груди,
В мой парк ты лучше не ходи:
Он тайной силой зачарован.

Тебя луч солнца обожжет,
Пень сам под ногу подвернется
И вид чудесный пропадет.
Клещ жадный в грудь тебе вопьется,
И будут жалить мух полки
Твой лоб и шею, и виски.

Эти стихи начаты мною у Вас и относятся к Вашему парку. Я кончил их на пароходе на Волге. Что Вы скажете? С тех пор я не пишу стихов; но что бы ни написал, я непременно пришлю Вам. Я знаю, что в Воробьевке не только играют на бильярде, но и более живут умственными интересами, и лучше их понимают, чем в Петербурге.

(Петербург. 26 октября 1878)

Пока я молчал, Вы прислали мне и письмо, и стихи. Стихи чудесные, из числа лучших Ваших стихов. Я теперь хожу всегда с Вашими стихотворениями в кармане и читаю их везде, где только можно. Прежние уже знаю наизусть и не могу научиться. Но знаете ли? — я до сих пор не вошел в сношения с *Русской речью*²; я все искал удобного и легкого пути туда, но, наконец, прибегаю к энергическим мерам, и на этой неделе буду продавать драгоценные камни Вашей поэзии. <...>

Сам я все мыкаюсь и мыкаюсь, и, кажется, кроме чтения Ваших стихов, ничего хорошего не делаю. Да, я забыл прибавить, что действие стихов неотразимо и что всего сильнее действует *Alter ego*, как тому и следует быть.

(Петербург. 23 января 1879)

Из писем А. Н. Толстому

В Туле я проскучал три часа и приехал в Москву уже в четверть десятого, когда петербургский поезд давно ушел. На станции меня встретил Фет и с теми быстрыми и точными движениями, которые у него иногда еще являются, провел к карете и увез к себе. С час мы говорили, и мне грустно было думать, что я был орудием того огорчения, которое в нем было заметно. Он решился не ехать в Петербург и толковал мне и тогда и на другой день, что чувствует себя совершенно оди-

ноким со своими мыслями о безобразии всего хода нашей жизни. Я получил от него два стихотворения — *Отшедшей* и *Смерть* для передачи Навроцкому и с величайшей радостью взялся быть его поверенным. Я попросил его переписать на том же листке *Alter ego*. Когда здесь уже я стал перечитывать эти три пьески — меня ужасно поразила и связь их, и та страшная унылость, которая скрыта под этою энергическою, яркою речью. Бедный Фет! Этот случай возбудил во мне такую нежность к нему, которой я, вероятно, никогда не забуду. Один везде, и в своей великолепной Воробьевке!

(Петербург. 6 января 1879)

Два дня у Фета были очень приятные, приятнее, чем я ожидал. Мы считывали немножко его перевод, и я убедился, что это будет превосходная вещь, мастерская передача подлинника.

(Кременчуг. 21 июля 1879)

Из всей поездки моей я вынес то приятное впечатление, что родные мои и здоровы и, в сущности, живут счастливо. Но когда я увиделся с Афанасием Афанасьевичем, я понял, как я сильно скучал с этими милыми родными. Очень приятно было попасть опять в ту сферу мыслей, к которой привык, и сегодня с грустью подумал, что у меня нет этой сферы в Петербурге, куда уже приходится возвращаться. В Воробьевке и в Ясной Поляне я отвожу душу и чувствую себя больше дома, чем в Петербурге. Фет не всегда удобен, как Вы знаете, но зато часто великолепен, и я терпеливо отмахиваюсь от неудобств и бываю вознагражден сторицею.

(Воробьевка. 28 июля 1879)

Главное наше занятие — мы сверяем перевод Шопенгауэра¹, и на это дело следовало бы даже употребить побольше времени. Перевод будет очень замечательный. Потом, чуть не половину наших разговоров составляете Вы, и я очень желал бы, чтобы Вы нас когда-нибудь подслушали. Афанасий Афанасьевич, который так горячится при возражениях (и когда сам возражает и когда ему возражают), в сущности, необычайно внимателен к мнениям собеседника и так Вас любит, так помнит каждое Ваше слово и с таким уважением его обдумывает,

что я прихожу в восхищение и укоряю себя за леность и тупость по отношению к Вам.

(Воробьевка. 2 августа 1879)

Фет написал мне два больших письма, в которых рассказывает свой *умственный спазм*, как он выражается. Он не может Вас понять. Я брался было объяснить, но ничего из этого не вышло — не успел и расписаться.

(Петербург. 14 февраля 1880)

Приехавши к Фету, я потонул в каком-то равнодушии, которое имело своего рода приятность. Разговоры были бесконечные и для меня очень легкие, так как говорил без умолку Фет, и мне приходилось только, когда он начинал кричать, успокаивать его, обращать его внимание на новый предмет и т. п. Я очень изловчился в этом, и он мною не нахвалится. Самым важным предметом разговоров, конечно, были Вы, и я успел многое сказать ему в эти десять дней. Примирительные речи были вполне удачны, и скоро в них не оказалось никакой надобности; но *учение* передавалось очень плохо. Он с первых же слов закусывал удила и обнаруживал не любопытство, а ярое желание говорить самому. Однако я сделал многое, и сделал бы больше, если бы сумел все сказать и сумел говорить без боязни его обидеть. Своими лошадьми, своим сеном и проч. он восхищается, как ребенок. Лошадей называет своими *детьми*, а когда свозили сено, и сто фур проезжали одна за другою, он видел в этом удивительную *последовательность*. Сено было снято при мне с большими волнениями по случаю перепадавших дождей, и потом в самом парке на опушке между дубами был воздвигнут исполинский стог.

«Взгляни в лесу на бегемота», — говорил Фет, завидя его издали.

(Глухов. 30 июня 1880)

Фет переводит «Фауста» и чудесно переводит². Я рад, что он нашел себе дело и вообще все больше и больше его люблю. Прямой и добрый человек.

(Петербург. Вторая половина ноября 1880)

Фет пишет мне и часто — длиннейшие письма, наполненные философскими рассуждениями, которые, конечно, сам забывает прежде, чем успеет запечатать письмо.

(Петербург. 31 марта 1882)

Мне очень хочется в Москву на праздники, но я все еще чувствую нездоровье и сознаюсь, — пугают меня бесконечные речи Афанасия Афанасьевича, с которым повидаться было бы, однако же, мне истинным наслаждением.

(Петербург. 8 декабря 1885)

Своею статейкою о Фете я очень доволен³, и меня не мало огорчило, что и Фет не особенно меня благодарил, и Софья Андреевна, которая, в сущности, заставила меня понатужиться, ничем не заявила, что она довольна и прощает мне мои нападки на Фета. Но больше этого я ничего не мог сделать и — поверите ли моему самолюбию? — я думал, что моя статейка обрадует Фета не менее, чем камергерство⁴.

(Петербург. 13 апреля 1889)

...в Воробьевке я вдруг попал в такую глушь, в такие дебри речей и понятий, что меня совсем ошеломило, и я долго прислушивался, не зная, что мне говорить и делать. Старики даже обиделись. «Что же Вы все молчите?» — говорит Полонский. <...> С ними действительно стало уже трудно говорить. Они болтают слишком бессвязно и слишком много и часто недо слышат и не понимают, особенно Полонский, которому вместо *курица* слышится *улица*, вместо *вдребезги* — *в древности* и т. д. <...> Разумеется, разговоры идут преимущественно о поэзии, Марциале, «Фаусте» и т. д. После живого ключа, который бьет в Ясной Поляне, я попал на узкую и глухую тропинку, по которой они ходят взад и вперед. Конечно, Афанасий Афанасьевич продолжает ратовать против христианских начал, забавно доводя свои речи до крайности, которая их опровергает. А впрочем, он глубоко скучает и не раз выражал жалобу на то, что все еще живет на свете. <...>

Сейчас был у меня предлинный разговор с Фетом, и мне яснее прежнего стала удивительная уродливость его умственного настроения. Ну, можно ли дожить до старости с этим поведением эгоизма, дворянства, распутства, стихотворства и всякого язычества! А посмотрите, как он верно держится за

известные стороны древних, Гете, Шопенгауэра. В сущности, он всеми силами старается оправдать себя, то есть ту жизнь, которую вел и до сих пор ведет. <...>

В разговоре мне стало также ясно, почему он пишет всё любовные стихотворения. Он их придумывает по ночам, во время бессонницы или во сне. Его жизнь проходит перед ним, и в ней самым важным и сладким оказываются заигрывания с женщинами. Он их и воспевает.

(Воробьевка. 24 июля 1890)

Фет прислал мне письмо (я писал ему из Москвы), в котором продолжает споры, начатые в Воробьевке. Очень радуюсь, что письмо толково и настойчиво. Между прочим: «Я прокормил в голодный год сотни голодающих, вылечил другие сотни от сифилиса, выстроил на вечные времена больницу, водворил в разных местах порядок в крестьянском землевладении и подарил крестьянам на 16 тысяч собственной земли». Буду отвечать ему, что он, значит, понимает, чем следует хвалиться, что я, как человека, и ценю его, а что мнения его всегда богомерзкие и приводят его к скуке и пустоте.

(Петсбург. 22 августа 1890)

А Фет мне пишет: «Люди не хотят понять, как мне скучно и как я пугаюсь лета! Если б хватило сил, поехал бы в Японию. Это хоть ново и ненанюхано». Не ужасно ли это? Он в декабре уже чувствует тоску будущего мая.

(Петсбург. 2 января 1891)

...издание Фета. Волей-неволей пришлось взяться за наследство несравненного поэта⁵, никуда не годного по образу мыслей, и очень недурного человека.

(Петсбург. 29 июня 1893)

Из писем С. А. Толстой

В Воробьевке все по-старому, и Афанасий Афанасьевич — тот же и то же и так же говорит. Александра Ивановича¹ нет, хозяйничает сам хозяин, но, несмотря на то, времени у него, очевидно, слишком много. Он попробовал читать, но дочитался до того, что глаза ему перестали служить. Но я уверен и видел отчасти на деле, что он здесь очень любим, уважаем и делает много добра соседним крестьянам. Видел его мо-

лотилку в работе — очень споро и красиво. Флигель мой отделан недурно, хотя видимо с соблюдением всяческой экономии. Фонтан в саду в нынешнем моем настроении показался мне прежалкою струйкой воды, но, в сущности, — красивая вещь. Моря цветов тоже не показались мне морями, но недурны.

(Воробьевка. 6 августа 1881)

Все тяжелее и тяжелее мне думать о смерти Фета. <...> ...не перестаю вспоминать покойного, и тоска не убывает, а растет. Обидно мне было видеть, как равнодушно встретили печальное известие даже те, кого оно больше всего должно было тронуть. Какие мы все эгоисты! Но мне в таких случаях всегда кажется, что часть моего существования, часть моего мира вдруг куда-то ушла и исчезла, и я начинаю чувствовать, что сам я с душою и телом распускаюсь в туман и пропаду бесследно. Этого уже недолго ждать, и, как говорит Лев Николаевич, нужно последние дни проводить как следует, не отдаваясь пустякам и легкомыслию. Для Фета смерть была, конечно, избавлением... Последние годы были ему очень тяжелы; он говорил мне, что иногда по часу он сидит совершенно одурелый, ни о чем не думая и ничего не понимая... Он был сильный человек, всю жизнь боролся и достиг всего, чего хотел: завоевал себе имя, богатство, литературную знаменитость и место в высшем свете, даже при дворе. Всё это он ценил и всем этим наслаждался, но я уверен, что всего дороже на свете ему были его стихи и что он знал — их прелесть несравненна, самые вершины поэзии. Чем дальше, тем больше это будут понимать и другие. Знаете ли, иногда всякие люди и дела мне кажутся несуществующими, как будто призраками и теньями; но встречаясь с Фетом, можно было отдохнуть от этого тяжелого чувства: Фет был несомненная и яркая действительность.

(Петербург. 28 ноября 1892)

Получил Ваше письмо, где Вы рассказываете о смерти Фета, драгоценное письмо, заставившее меня столько думать и удивляться его энергии... Он 6 дней ничего не ел, не мог или не хотел? Но вообще смерть его прекрасная, и жизнь по-своему очень хороша... Фет был в сношениях твердый, ясный человек, жестокий только на словах.

(Петербург. 10 декабря 1892)

Из мемуаров «Литературные воспоминания и характеристики»

С А. А. Фетом я встретился ... в 1877 году в Орле. <...> В Орел он приезжал по делам, иногда не своим собственным, а фирмы «Петра Боткина сыновей» (знаменитых чайных торговцев и ближайших родственников проф. Боткина, если я не ошибаюсь). Один раз он по доверенности Боткиных передал мне их взыскание в несколько тысяч с одного из орловских чайных торговцев (я занимался в Орле адвокатурой).

Но чаще всего он приезжал в Орел, чтобы пофилософствовать и послушать игру на фортепиано выдающегося музыканта Николая Филипповича Христиановича, бывшего в то время товарищем председателя окружного суда. Христианович был не только выдающийся пианист, но и автор очень изящных статей о Шопене, Шумане и Шуберте, печатавшихся сперва в «Русском вестнике» 50-х годов, а затем выдержавших два издания в виде отдельной книжки. Я не знаю на русском языке ничего более увлекательного и поэтичного по музыке, как эти статьи страстного музыканта и в то же время замечательного юриста. <...>

Не могу не сказать несколько слов о замечательной манере игры Христиановича, манере редко встречающейся. Как уже видно из его этюда о Шопене, Шумане, Шуберте, это были его любимые композиторы. ...как пианист, он поставил себе идеалом игру Шопена... Отличительная особенность игры Шопена (а вслед за ним и Христиановича) состояла в том, чтобы заставить рояль при помощи педали и разнообразного удара (или туше) давать звуки, иногда совершенно чуждые этому инструменту, т. е. отчасти подражающие другим инструментам, отчасти приближающиеся к звукам человеческого голоса и наиболее поэтическим шумам и голосам природы (шелесту листьев, журчанию ручья, падению дождя, пению птиц, звуковому впечатлению ночной тишины, топоту коня и т. п. и т. п.). И Христианович добился этого совершенства: слушая в его исполнении некоторые ноктюрны Шопена, некоторые произведения Шумана и Шуберта... вы иногда положительно забывали, что слышите рояль. В балладах Шопена вы ярко различали отрывные звуки арфы или лютни, звук мечей, вопли сражающихся, медные трубы; в ноктюрнах перед вами вставала ночь — лунная, тихая или бурная с разыгрывающейся грозой, каплями дождя и раскатами грома, с чарующей тишиной, наполненной какими-то волшебными звуками, напоминающими колокольчики эльфов, или с доносящимися откуда-то звуками церковного органа, с воплями и стонами могучего requiem или похоронного марша. <...>

Надо было видеть Христиановича во время игры! Его симпатичное интеллигентное лицо, с несколько выступавшими вперед губами, показывало, что он весь погружен в звуки. Верхняя губа приподнималась выше обыкновенного, и усы над ней топорщились. Ноги работали все время, как при игре на органе. И только остальное туловище его довольно полного тела было покойно, несколько наклонялось над клавиатурой...

Так вот к этому Христиановичу и любил изредка приезжать Фет. Здесь он находит себе слушателей, мог и сам послушать многое. <...>

П. И. ЧАЙКОВСКИЙ

Из письма А. И. Чайковскому¹

Ездили в *Коренную Пустынь*², а один день провели у Фета. Я его видел в первый раз в жизни и нашел очень интересным. Той *глупости*, которой он знаменит не меньше, чем своими стихами, я не заметил. Сад их привел меня в восторг.

(Майданово. 2 сентября 1891)

В. В. АФАНАСЬЕВА

Из писем В. В. Сафроновой

Как я Вам уже писала, Щеншины были в близких, родственных отношениях с моими родителями. Так, когда родилась моя сестра Наталья Владимировна (1889—1943), Афанасий Афанасьевич выразил желание быть ее крестным отцом, всегда был внимателен к своей крестнице, дарил игрушки, сласти. А летом 1892 г. Мария Петровна захотела быть крестной матерью брата Сергея. Вообще о Шеншиных я знаю по рассказам и родителей, и секретаря Афанасия Афанасьевича Екатерины Владимировны Кудрявцевой, часто посещавшей нашу семью многие годы. Моя мать любила вспоминать о «вторниках», когда Шеншины принимали в своем доме на Плющихе родных и друзей¹. В сохранившихся открытках-приглашениях напоминалось, что и хозяева, и гости ожидают от мамы «музыкального удовольствия», и мама всегда это удовольствие доставляла. Среди гостей, слушавших игру мамы, бывали Полонский и Л. Н. Толстой.

(Воронск. 16 мая 1977)

Мать моя (1866—1920) родилась в г. Севастополе в семье защитника Севастополя в войну 1854—56 гг. М. А. Телятникова. С детских лет она обнаружила редкие музыкальные способности. Окончив в 1882 г. с золотой медалью Севастопольскую женскую гимназию, она поступила в Петербургскую консерваторию в фортепьянный класс профессора фон-Арка. В 1886 г. моя мать окончила консерваторию и получила звание «свободного художника». В 1887 г. она вышла замуж за моего отца и переехала с ним в Москву. Молодые Семенковичи часто бывали в доме дяди моего отца Афанасия Афанасьевича Шеншина, где их всегда радушно встречали и где мама постоянно «доставляла музыкальное удовольствие» (из открытого письма А. А. Фета) своей игрой на рояле. В доме Шеншиных ее игру слушали Л. Н. Толстой, Я. Полонский, Боткины и другие. Афанасий Афанасьевич очень любил и хорошо понимал музыку, любил произведения Чайковского, Шопена, Шумана, Бетховена. Особенно любил сонату Бетховена «*Quasi una fantasia*» (так называемую «Лунную») ².

31 декабря 1889 г. мои родители были приглашены к Шеншиным на встречу Нового года. Как всегда, моя мать много играла. Во время исполнения ею сонаты «*Quasi una fantasia*» Афанасий Афанасьевич, сидя в кресле и слушая ее игру, набрасывал на листочке бумаги слова своего стихотворения «*Quasi una fantasia*». Когда моя мать окончила играть, Афанасий Афанасьевич, поблагодарив ее за доставленное удовольствие, протянул ей этот листок со словами: «Вам, Женечка, посвящается». С тех пор этот листок всегда хранился у моей матери.

(Воронеж. 21 ноября 1977)

Я. П. ПОЛОНСКИЙ

Из писем А. А. Фету

Дорогой мне враг мой, Афанасий Афанасьевич!

Что ты за существо — не постигаю, ну скажи ради бога и всех ангелов его, и всех чертей его, откуда у тебя берутся такие елейно-чистые, такие возвышенно-идеальные, такие юношески-благоговейные стихотворения, как и «*Упреком, жалостью внушенным*»?

Стихи эти так хороши, что я от восторга готов ругаться. Гора может родить мышь, но чтоб мышь родила гору, этого я не постигаю.

Это паче всех чудес, тобою отвергаемых. Тут не ты мышь, а мышь — твоя вера, во имя которой муза твоя готова

Себя и мир забыть,
И подступающих рыданий
Горячий сдерживать порыв.

Какой Шопенгауэр, да и, вообще, какая философия объяснит тебе происхождение или психический процесс такого лирического настроения? Если ты мне этого не объяснишь, то я заподозрю, что внутри тебя сидит другой, никому невидимый и нам, грешным, невидимый, человек, окруженный сиянием, с глазами из лазури и звезд, и окрыленный. Ты состарился, а он молод! Ты все отрицаешь, а он верит!.. Ты презираешь жизнь, а он, коленопреклоненный, зарыдать готов перед одним из ее воплощений, — перед таким существом, от света которого Божий мир тонет в *голубоватой мгле!*

Господи боже мой! Уж не оттого ли я так и люблю тебя, что в тебе сидит, в виде человечка, бессмертная частица души твоей?

И ты еще смеялся надо мной за мою веру в бессмертие!..

Да кто ему не верит, тот пусть и не читает стихов твоих, не поймет, — ни за какие пряники!

Внутри Вергилия, Горация, Овидия, Теренция, Марциала и других сидел гениальный римлянин, отчего же он не перешел в тебя, несмотря на то, что ты с ними беспрестанно беседуешь? Не потому ли, — тот идеально восторженный лирик, который сидит в тебе, никого чужого к себе не допускает. Ну, сам посуди, есть ли хоть что-нибудь античное в твоём стихотворении: *«Упреком, жалостью вынужненным»?!?!*

Я по своей натуре более идеалист и даже фантазер, чем ты, но разве я или мое нутро может создать такой гимн неземной красоте, да еще в старости!.. Ну, вот я и бесуюсь до такой степени, что мне хочется и ругаться, и обнимать тебя!..

Вместе с этим письмом посылаю на почту мой *«Вечерний звон»*¹. Буду очень польщен, если ты присоединишь глухой гул моего звона к *«Вечерним огням»* твоим.

(Петербург. 25 октября 1890)

Я очень благодарен Соловьеву за то, что он хоть отчасти ставит меня около Фета². <...>

И рад бы я писать так, как пишет Фет, да не могу. У твоей музыки (повторяю) идеальное солнце; для моей — самое обыкно-

венное, вот то самое, на которое я теперь страшно злюсь за то, что оно плохо светит и заставляет меня в 3 часа пополудни зажигать лампу.

По твоим стихам невозможно написать твоей биографии, и даже намекать на события из твоей жизни, как нельзя по трагедиям Шекспира понять, как он жил, как развивался и проч., и проч.

Увы!.. по моим стихам можно проследить всю жизнь мою. Даже те стихи, которые так тебе нравятся: «Последний поцелуй», затем «Безумие горя», «Я читаю книгу песен»... — факты, факты и факты — это смерть первой жены. Мне кажется, что не расцвести около твоего балкона в Воробьевке — чудной лилии, мне бы и в голову не пришло написать «Зной, и все в томительном покое...» А не будь действительно занавешены окна в твоей комнате, где я у тебя спал, может быть, не было бы и стиха: «Тщетно сторою оконной». Так внешнее меня возбуждает или вдохновляет. Ясно, что мой *духовный* внутренний мир далеко не играет такой первенствующей роли, как твой, озаренный радужными лучами идеального солнца. <...>

Целую ручки у твоей добрейшей и милейшей Марьи Петровны и у твоего секретаря, без которого я бы точно так же плохо разбирал твои письма, как ты — мои.

(Петербург. 27 декабря 1890)

Дорогой мой друг Афанасий Афанасьевич!

У меня нет уже ни боли, ни лихорадочного жара. <...> Мы с тобой, как умные люди (до того умные, что нас связывают даже такие противоречия, которые, по-видимому, несовместимы!), не можем не считать болезнью всякий упадок умственных сил и таланта. <...> Между твоими стихотворениями немало самородков золота — золота, так сказать, приготовленного в виде слитка, самой природой. А я, чтобы добыть это золото, должен толочь руду, промывать ее, словом, проделывать всю процедуру терпеливого и настойчивого добывания. Теперь руды все больше и больше, а золота все меньше и меньше.

(Петербург. 12 ноября 1890)

Ты человек во сто раз более цельный, чем я. Ни про кого нельзя сказать, что можно сказать про тебя: сразу ты был отлит в известную форму, никто тебя не чеканил, и никакие веяния времени не были в силах покачнуть тебя! Если ты пессимист,

то вовсе не по милости Шопенгауэра; ты в студенческие годы был почти таким же. Недаром Григорьев, по изменчивости своих убеждений, личность диаметрально тебе противоположная, прятал от тебя свой юношеский идеализм, и я уверен, никак не решился бы при тебе зажечь лампаду у образа и начать молиться.

Я тоже помню один твой разговор со мной в вагоне на Николаевской железной дороге, — разговор о женитьбе, который в то время поразил мою романтическую, вечно влюбленную душу. И странная игра природы!.. В своем поэтическом творчестве ты, как бы назло себе, идеалист, а я, тоже как бы назло себе, реалист настолько, насколько такого рода реализм выносит лирика. Векня времени колебали меня во все стороны. <...> Какие тут идеалы! Тут всего скорей страдание по отсутствующим идеалам.

С высоты твоего поэтического взгляда все хорошо — и *тонкие линии идеала, и соучастница греха*. Тогда как с практической, обыденной точки зрения нет у тебя никаких на земле идеалов. Все набитые дуры, а соучастниц греха надо ссылатъ в Камчатку. Вот, брат, какое ты удивительное существо! Но каким ты был — таким и остался...

(Петербург. 20 декабря 1890)

В. С. СОЛОВЬЕВ

Из писем А. А. Фету

Дорогой и многоуважаемый Афанасий Афанасьевич! Нередко вспоминаю и скучаю о Вас, и хотелось бы мне пораньше попасть в Воробьевку. Но раньше июня, пожалуй, не придется. Так как Вы упрёкаете меня за молчание (как мне передавали), то вот я и собрался Вам написать. К тому же мне хочется Вам сказать, как мне горько и обидно, и стыдно за русское общество, что до сих пор ни о «Фаусте», ни о «Вечерних Огнях» ничего не было сказано в печати. Я пишу Страхову и Кутузову¹ укоризненные письма; если же они не подвигнутся, то я решусь взяться не за свое дело и напишу хоть небольшую рецензию для собственного облегчения. Здоровы ли Вы, и что поделяете?

(Москва. 8 апреля 1883)

Дорогой и многоуважаемый Афанасий Афанасьевич! В дополнение к вчерашней телеграмме посылаю Вам еще нижеследующее поздравление.

А. А. ФЕТУ, 19 ОКТЯБРЯ 1884 г.

Перелетев на крыльях лебединых
 Двойную грань пространства и веков,
 Подслушал ты на царственных вершинах
 Живую песнь умолкнувших певцов.
 И приманил твой сладкозвучный гений
 Чужих богов на наши берега,
 И под лучом воскресших песнопений
 Растаяли сарматские снега.
 И пышный лавр средь стéпи нелюдимой
 На песнь твою расцвел и зашумел,
 И сам орел поэзии родимой
 К тебе с высот невидимых слетел*.

(Владимир. 22 октября 1884)

Дорогой и многоуважаемый Афанасий Афанасьевич! Приветствуют Вас звезды золотые ресницы, и месяц, плывущий по лазурной пустыне, и плачущие степные травы, и розы весенние и осенние; приветствует Вас густолистный развесистый лес, и блеском вечерним овеянные горы, и милое окно над снежным каштаном. Приветствуют Вас голубые и черные ангелы, глядящие из-под шелковых ресниц, и грот Сивиллы с своею черною дверью. Приветствует Вас лев св. Марка, и жар-птица, сидящая на суку, извилистом и чудном. Приветствуют Вас все крылатые звуки и лучезарные образы между небом и землею. Кланяется Вам также и меньшая братия: слепой жук, и вечерние мошки, и кричащий коростель, и молчаливая жаба, вышед-

* В книге «Стихотворения Владимира Соловьева. Издание 2-е, дополненное. СПб., 1895» к этому стихотворению Соловьев сделал следующее примечание:

«А. А. Фет, которого исключительное дарование как лирика было по справедливости оценено в начале его литературного поприща, подвергся затем продолжительному гонению и глумлению по причинам, не имеющим никакого отношения к поэзии. Лишь в последнее десятилетие своей жизни этот несравненный поэт, которым должна гордиться наша литература, снова приобрел благосклонность читателей и критиков. Первым публичным выражением этой перемены в отношении к нему было суждение Академии наук, удостоившей полной Пушкинской премии его переводы из Горация и Гете. Это признание его заслуг имело для Фета особенное значение потому, что было связано с именем боготворимого им Пушкина (сюда относятся слова «сам орел поэзии родимой»)».

шая на дорогу. А наконец, приветствую Вас и я, в виде того серого камня, который Вы помянули добрым словом. Плачет серый камень, в пруд роняя слезы². И хоть не над прудом, а над целым океаном человеческой бессмыслицы приходится плакать, но есть и утешение, пока над этим мутным потоком недвижимо стоит светлая радуга чистой поэзии и заранее празднует будущий мир неба с землею. Бесценный мой отрезок настоящей неподдельной радуги, обнимаю Вас мысленно в надежде на скорое свидание.

(Петербург. 27 января 1889)

Я удручен спешными работами, но в среду, если буду жив, приду непременно. Очень обрадован и польщен Вашим вниманием к моим виршам и с величайшим интересом буду следить в среду за движением Вашего указательного перста.

(Москва. Б. д.)

Дорогой и бесконечно любезный Афанасий Афанасьевич! На крыльях души ежедневно летаю в Воробьевку; надеюсь, почти уверен, что приеду и на паре (не своих, а локомотивном), но боюсь, что к 22 не поспею. <...>

Я одержим <...> стихоблудием, за последнее время я сочинил 36 стихотворений. В следующем первая строфа постольку хороша, поскольку пахнет Фетом. Вторая от собственных усталых мозгов — слабая.

Нет вопросов давно, и не нужно речей,
Я стремлюсь к тебе, словно к морю ручей...

(Москва? 1892)

Из письма Н. Н. Страхову

Я пишу и печатаю. Печатное привезу, а из писанного сообщу Вам здесь нечто, а именно стихи, внушенные Афанасием — не Александрийским, а Воробьевским и Плющихинским. Это стихотворение мне самому, а также и другим показалось удачным, и если Вы столь строгий (ко мне) критик, также одобрите сии стихи, то я должен буду согласиться с мнением Фета, что их «хоть сейчас в хрестоматию».

(Москва. Октябрь 1884)

Из писем родителям

Здесь почти так же, как в Москве, деревья стоят еще голые да и трава только местами зеленеет. Грачи кричат неистово, но соловьи более кашляют, чем поют. <...>

Фет борется с одышкой и немного дряхлеет. Впрочем, надеюсь, что еще продержится. Марья Петровна, накормив меня до бесчувствия, замечает с грустью: «И чем только жив? Ведь ничего не кушает!»

Я начал вести правильную жизнь: встаю в девятом часу и ложусь соответственно.

(Воробьевка. Конец апреля 1887)

Сегодня здесь первый день без дождя (с начала мая); ночью был маленький мороз; что же касается до второй половины этого слова, то их здесь огромное количество, и белых, и розовых, и темно-красных. Цвели в свое время и белые акации, равно как жасмин и сирень.

(Воробьевка. 1887).

Из писем М. С. Соловьеву

По всем сим причинам я думаю, что наконец-то помру. Афанасий Афанасьевич предложил даже на этот случай мне эпитафию:

Здесь тихая могила
Прах юноши взяла,
Любовь его сразила,
А дружба погребла.

(Воробьевка. 1887)

А пока довольствуйся несколькими текущими известиями с несколькими изречениями Фета. <...>

Б) Изречения Фета:

- 1) Что есть *государство*? Мышеловка и больше ничего.
- 2) Что есть *убеждение*? Скверным клеем склеенная маска, которую наивные люди, купивши в лавке за двугривенный, счи-

тают потом неотъемлемою принадлежностью своего организма.

3) Ужасно трудно переводить с латинского на русский. В латинском слова все короткие, а в русском длинные, да еще одним-то словом не всегда и обойдешься. Например, по-латыни стоит *asinus*, а по-русски пиши:

Е-г-о Вы-со-ко-пре-вос-хо-ди-тель-ство Го-спо-дин О-бер-Про-ку-рор Свя-тей-ше-го Си-но-да!

(Воробьевка. 1887)

ПАМЯТИ А. А. ФЕТА

Он был старик давно больной и хилый;
Дивились все — как долго мог он жить...
Но почему же с этою могилой
Меня не может время помирить?

Не скрыл он в землю дар безумных песен;
Он всё сказал, что дух ему велел, —
Что ж для меня не стал он бестелесен
И взор его в душе не побледнел?..

Здесь тайна есть... Мне слышатся призывы
И скорбный стон с дрожащею мольбой...
Непримиренное вздыхает сиротливо,
И одинокое горюет над собой.

16 января 1897

А. А. ФЕТУ

Посвящение книги о русских поэтах

Все нити порваны, все отклики — молчанье.
Но скрытой радости в душе остался ключ,
И не погаснет в ней до вечного свиданья
Один таинственный и неизменный луч.

И я хочу, средь царства заблуждений,
Войти с лучом в горнило вещей снов,
Чтоб отблеском бессмертных озарений
Вновь увенчать умолкнувших певцов.

Отшедший друг! Твое благословенье
На этот путь заранее со мной.
Неуловимого я слышу приближенье,
И в сердце бьет невидимый прибой.

Июль 1897

Из предисловия к книге: «Творения Платона.
Перевод с греческого Владимира Соловьева. Том первый.
Издание К. Т. Солдатенкова. Москва, 1899. [На ишмуцтитутле]:
Посвящается Афанасию Афанасьевичу Фету»

В начале этого труда я ставлю имя Афанасия Афанасьевича Фета, как его первого внушителя. Еще семнадцать лет тому назад, сам погруженный в перевод латинских стихотворцев, он стал уверять меня, что мой патриотический долг — «дать русской литературе Платона». Я с ним не соглашался. Его доводы были для меня более лестны, чем убедительны. К тому же все мои помышления и замыслы были в то время обращены совсем в другую сторону...

Лишь после смерти Фета пришла пора, когда его внушение должно было подействовать. <...>

Переводчик, желающий верно *передать*, а не *предать* своего автора (особенно, когда дело идет об авторе классическом), должен одинаково остерегаться и Сциллы неуместного сочинительства, и Харибды мертвого буквализма. И то и другое одинаково несовместимо с верностью перевода.

<...> Труднее было избегнуть Харибды буквализма, которая так неясно выделяется из настоящего фарватера. Буквальность есть во всяком случае основа верного перевода, и отступать от нее позволительно только на достаточных основаниях. Но как определить эти основания?

Когда я с Фетом занимался переводом *Энеиды**, у нас возникали из-за этого ожесточенные споры. Афанасий Афанасьевич, как и следует, под верностью понимал прежде всего буквальную точность перевода (разумеется, насколько она совместима с русскою грамматикой), я же, в принципе с этим соглашаясь, не мог, однако, во многих случаях примириться с таким его переводом и требовал отступлений от безусловной точности. Так как за этими требованиями Фет не видел определенной нормы хорошего перевода, то он и недоумевал, чего же я в сущности желаю, и если иногда уступал, то не моим убеждениям, а тайному голосу собственного вкуса.

* Некоторые части этой поэмы я переводил один, а другие — вместе с ним (см. его предисловие к *Энеиде*). Это было в 1887 г., когда я прожил с ним около полугода в его Курском имении.

Из статьи «А. А. Фет как человек и как художник»

Первое знакомство мое с поэзией Фета, если не считать хрестоматий и отдельных стихотворений, относится к началу семидесятых годов, и только лет десять спустя мне лично пришлось познакомиться с Афанасием Афанасьевичем, когда годы и болезнь брали уже свое, и теперь мне трудно было бы представить себе автора «Вечерних Огней» и «Воспоминаний» верхом на коне или с ружьем в руках неумоимо расхаживающим по болоту. Но умственная энергия осталась в нем нетронутою до конца жизни и, что гораздо более удивительно, яркость и свежесть поэтических образов была всё та же, несмотря на полвека литературной деятельности и на равнодушие к ней большинства публики. Конечно, все мы уже в гимназиях знали по имени Фета и большею частью даже наизусть выдолбили два или три стихотворения, которые легче других могли дать тему пародиям и шуткам, но внутренний смысл его поэзии был тогда недоступен не только для гимназистов, но и для большинства журнальных критиков. Его ценили только немногие; но Гончаров, Тургенев, Майков или Толстой критических статей не писали и мнение их не могло иметь влияния на публику.

Отрицательное отношение большинства к стихотворениям Фета объясняется отчасти и тем, что, несмотря на громадное поэтическое дарование, у него нередко замечен некоторый недостаток чувства меры и точности выражения, составляющий, быть может, необходимое условие той яркости и выпуклости образов, которые почти невозможны при слишком осторожном и обдуманном пользовании красками.

В течение более чем полувековой литературной деятельности Фет сохранил все тот же неизменный, своеобразный отпечаток, который сразу выделяет его из плеяды современных ему поэтов. Несмотря на все перемены во внешней обстановке, его внутренний мир остается все тем же.

В этом зрелище человека, который одною ногой стоит уже в могиле и, вполне сознавая это, продолжает говорить о молодости, о весне, о красоте, есть что-то поразительное и необычайное, что-то невольно привлекающее как психологическая загадка, особенно того, кто знает Фета не только как автора грациозных, музыкальных, иногда поразительно ярких

и глубоко-захватывающих стихотворений, но и как человека практического.

При таких условиях, даже в том случае, если знакомство это основано только на «Воспоминаниях», может казаться, что имеешь дело с двумя совершенно различными людьми, хотя оба они говорят иногда на одной и той же странице. Один захватывает вечные мировые вопросы так глубоко и с такою шириной, что на человеческом языке не хватает слов, которыми можно было бы выразить поэтическую мысль и остаются только звуки, намеки и ускользающие образы, — другой как будто смеется над ним и знает его не хочет, толкуя об урожае, о доходах, о плугах, о конном заводе и о мировых сужьях.

Эта двойственность поражала всех близко знавших Афанасия Афанасьевича. Быть может, ни в ком из выдающихся современных писателей рассудочный элемент не переплетался с бессознательным так тесно и так неожиданно.

П. П. ПЕРЦОВ

Из «Литературных воспоминаний»

Особое положение в тогдашнем литературном мире занимали три поэта-старика... Это были Фет, Майков, Полонский. <...> ...к началу 90-х годов... снова зазвучали старые лиры, и пробудился к ним интерес, особенно в связи с начинавшимся расцветом новой лирики.

Имя Фета выдвигалось и здесь, — и не столько по превосходству (еще мало сознаваемому) таланта, сколько в силу того специфического эстетизма, связанного с этим именем, который заставил некогда Тургенева изречь: «Кто не понимает Фета — не понимает поэзии». По крайней мере мы, «начинающие», сознательно считали себя «фетышистами» и исповедовали «магометанский» тезис того же Тургенева: «Нет Фета, кроме Фета». Это не мешало, разумеется, весьма первоначальному, «зеленому» пониманию поэта, при котором «Вечерние огни» принимались лишь как новый вариант молодых стихов их автора, и на первый план во впечатлении и влиянии выдвигалось резюмирующее издание этих последних в двух томах 1863 г., тогда еще бывшее в продаже. Этот «Фет шестьдесят третьего года» и являлся недостижимым образцом для подражания — своего рода идеалом поэта. Конечно, и тогда вкусы были разные... <...> Это имя одного из самых очевидных предшественников русского символизма само играло, можно сказать, символическую роль, и по тому выражению, с которым себе-

седник произносил это коротенькое рубящее словечко: «Фет», — можно было в значительной степени разгадать его символ веры.

«У Вас вот только один несчастный пунктик — Фет», — укоризненно-ласково говорил мне Иванчин¹ и огорчался искренно, встречая мою непреклонную неуступчивость на этом именно пунктике. Он справедливо опасался, что мой фетишизм в конце концов погубит меня, и в качестве противоядия декламировал минаяевские² пародии на Фета. Но ничего не помогало... <...>

Но отсюда понятно, что когда мне, уже несколько лет писавшему стихи и мечтавшему, разумеется, о лавровом венке поэта, вздумалось проверить шансы на таковой посредством обращения к «авторитетам», то для этой цели был без колебаний выбран именно Фет. В феврале — марте 1891 г. к нему в Москву отправилось объемистое заказное письмо с шестью образцами юной музыки, — а я стал с нетерпением ждать ответа...

Передо мной и сейчас лежит узенький палевый конвертик, наверху которого значится подчеркнутая черной узорчатой линией печатная строка: «Афанасий Афанасьевич Шеншин». Строка эта, очевидно, имела своим назначением устранить неприятную адресацию на другую, гораздо более известную, но лично-ненавистную прославившему ее поэту фамилию. И мне, с провинциальной наивностью адресовавшему первое письмо «А. А. Фету», пришлось, конечно, в дальнейшем сообразоваться с этим молчаливым указанием.

Узенький палевый конвертик, врученный мне распечатавшим его по ошибке отцом, взволновал меня до глубины души. Он содержал *его* письмо — *его* ответ, если и не вполне собственноручный (само письмо было написано другой рукой), то во всяком случае с «собственной» подписью: «Готовый к услугам Вашим А. Шеншин» («къуслугам» было написано слитно: где-то я прочел, что слитное написание характерно для почерков поэтов; по крайней мере оно характерно для Фета, у которого в подписях всех трех писем есть эти слитности).

Но не только самый факт письма, а и его содержание сделало меня именинником. Вот это письмо...

Москва,
Плющиха, соб. дом.

17 марта 1891

Милостивый государь
Петр Петрович,

Занятый при слабеющих силах неотложными делами, я только сию минуту удосужился внимательно прочесть Ваши стихотворения. Общее впечатление несомненно в Вашу пользу. Этого мало, что Вы прекрасно владеете стихом и вообще фор-

мою, — дорого то, что под этой формой несомненно теплится истинный огонь поэзии и вкуса. Вот с этим-то чутьем, различающим должное от недолжного, поэзию от прозы, следует всякому обращаться крайне бережно. Кто захватывает нечистыми руками колоду карт, тому лишнее пятно незаметно, и в конце концов он играет грязными картами. Во всех присланных вами мотивах Вы только однажды забыли, что муза рассказывает, но не философствует, и поэтому Ваша «Русская песня», философствующая о причине своей грусти, по-моему, совершенно ложный путь. Поэтому в стихотворении «Да, это он» так меня коробит слово из фельетона: *сочувствую* [курсив Фета. — П. П.]. С Вашим чутьем Вы поймете, что я хочу сказать.

Как мило стихотворение «Я иду по тропинке тенистой» на две рифмы.

Не сердитесь на мой последний и задушевный совет: поступите с Вашим поэтическим творогом так же, как поступают с творогом пасхальным: завяжите его потуже в салфетку и, если возможно, навалите камнем, и когда из него выбежит все жидковатое и чуждое, драгоценный дар природы сам найдет своеобразную форму. Главное, гоните от молодой благоуханной музыки старую и противную сплетню рефлексии.

*Готовый к услугам
Вашим*

А. Шеншин.

В этом письме все характерно: и эти яркие сравнения с колодой карт и пасхальным творогом, и парадоксальное утверждение автора «Вечерних огней», будто муза всегда только «рассказывает, но не философствует», и жалоба на «слово из фельетона» (которая была бы непонятной поэту некрасовской школы) и, наконец, даже неизбежное для Фета, страдальческое упоминание о «слабеющих силах». К сожалению, я не помню своего стихотворения «Русская песня» и поэтому не могу точнее установить, что именно вызвало неудовольствие моего адресата. <...>

С юношескою бесцеремонностью я скоро еще раз атаковал Фета новой серией своих произведений. И снова пришел ободряющий, но на этот раз как бы замыкающий переписку ответ:

Москва,
Плющиха, соб. дом.

26 апреля 1891

Любезнейший
Петр Петрович,

Извините, что за крайним недосугом я не успел высказать Вам своего мнения о последних полученных мною Ваших стихотворениях. Повторяю уже высказанное мною о прежних.

Стихи Ваши таковы, что без положительного таланта написать их нельзя; но мой один искренний совет — не радуйтесь обилию набегающих мотивов, а выжидайте момента, когда Ваша поэтическая суть, как бы ломая всякие преграды, вырвется наружу и выскажется в совершенно новой и лично Вам свойственной форме. Тогда Вы убедитесь, что, например, стихотворение «Посмотри, посмотри», несмотря на грациозную подкладку, не вытанцевалось. Я уверен, что Вы [N. В.: здесь явный пропуск; следует, вероятно, читать: «поверите мне». — П. П.], в виду того, что мне, которому пора давно сходить со сцены, невозможно завидовать возникающим талантам и что Вам советует *желающий всевозможных успехов в Ваших начинаниях*

А. Шеншин.

Продолжать присылать уже не было оснований, и я больше не адресовал на Плющиху, решив, однако, что при первой возможности посету ее лично. Возможность эта представилась лишь поздней осенью 1892 г. Помню слезливый и туманный сентябрьский день, в который я звонил на крытом подъезде продолговатого каменного дома в два этажа на площадообразном расширении в начале Плющихи (теперь № 36). Еще недавно этот дом со своими маленькими балконами и с навесом, сохранивший старый облик и даже окраску (белую), смотрел типичным «собственным домом» былых барских времен (теперь перекрашен в розовый цвет и вообще «обновлен»). Владелец пышной ртищевской Воробьевки (имение в Курской губернии, приобретенное Фетом в последние годы жизни) находил здесь для себя приличное зимнее жилище, на которое он смотрел, однако, — как и Лев Толстой на свой хамовнический дом, — как на нечто второстепенное и не близкое, откуда он уезжал при первом же веянии весеннего тепла, «после праздников». Как Толстой, как К. Леонтьев, Фет не мог быть горожанином: связь его личной жизни с природой была для него необходимостью.

На мой звонок из открывшейся двери мне было сообщено: «Хворают и никого не принимают». Пришлось уйти... А через какой-нибудь месяц в этом самом доме разыгралась странная и жуткая драма смерти Фета, подробности которой мы узнали только много лет спустя. Тогда о ней сообщила лишь краткая газетная телеграмма. Помню, как поразила меня эта телеграфная строка: оборвалось что-то и какое-то обещание не сбылось... И сейчас, конечно, приходится жалеть, что не удалось видеть «воочию» этого особенного человека — не только самого талантливого, как поэт, но и самого колоритного как личность в своей триаде.

Б. А. САДОВСКОЙ

Кончина А. А. Фета

<...> Редко о ком из писателей последнего времени известно так мало, как о нем. Самая смерть Фета, ее обстановка и причины остаются доныне глубокой тайной, хотя со дня его кончины скоро минет двадцать пять лет*.

23-го ноября 1892 года Фет готовился встретить семьдесят второй год своей жизни**. По общему свидетельству современников, несмотря на постоянную, слишком тридцатилетнюю одышку, усилившуюся с годами, поэт был весел и бодр, и редко жаловался на нездоровье. Часто в письмах и шуточных стихах упоминает он, что «слон» или «домовой» опять «наступил ему на грудь»: так называл Фет приступы своего мучительного удушья, но припадок проходил, и поэт возвращался к своим постоянным и деятельным трудам. По-прежнему переводил он римских классиков, Персия и Овидия, и готовил к печати вместе с пятым (не вышедшим) выпуском «Вечерних Огней» новое полное издание своих стихотворений***. Стихи, написанные им в 1892 году, в благоуханности и свежести не уступают прежним: фетовский гений сохранил свой первозданный блеск до последнего вздоха****.

Усиленная работоспособность Фета, поражавшая свидетелей его последних лет, вызывалась отчасти приступами старческой скуки; в этом случае переводы заменяли ему гран-пасьянс, который он любил раскладывать. Еще в восьмидесятых годах

* В «Русском Архиве» 1909 года (№ 1) покойный П. И. Бартенев, с наших слов, весьма скудно и не полно сообщил краткое описание смерти Фета. В настоящей статье мы даем более обширные сведения, впервые собранные нами устно от современников и осведомленных лиц. (Здесь и далее в этой статье прим. Б. А. Садовского.)

** Следует заметить, что день рождения А. А. Фета не установлен точно. Поэт праздновал его 23-го ноября, а между тем вот что читаем мы в «Свидетельстве Орловской духовной консистории от 21-го января 1835 года, за № 277»: — «По метрической книге Мценской округи села Успенского, что на Ядрине, за 1820 год, рождение его Афанасия, запискою значится так: сельца Новоселок у помещика ротмистра Афанасия Неофигова Шеншина, сын Афанасий родился того тысяча восемьсот двадцатого года, ноября двадцать девятого, а крещен тридцатого числа». У нас нет оснований не доверять церковной записи, но семейное предание, разумеется, достоверней метрик, составляющихся нередко задним числом.

*** Это издание осуществилось в 1894 году при участии великого князя Константина Константиновича и Н. Н. Страхова.

**** К 1892 году, между прочим, относятся: «Не отнеси к холодному бесстрастью», «Не могу я слышать этой птички», «Рассыпаясь смехом ребенка», «Когда, смущенный, умолкаю», «Она ему образ мгновенный», «Ночь лазурная смотрит на скошенный луг», «Барашков буря шлет своих», «Тяжело в ночной тиши», «Дай-ка няне ручки-крошки», «Когда дыхание множит муки».

граф Л. Н. Толстой спрашивал известного библиотекаря Московского Румянцевского Музея, «старца» Н. Ф. Федорова, что бы такое перевести Фету; и Федоров советовал переводить Монтэня. П. И. Чайковский рассказывает, что все лето 1891 года Фет провел на балконе в беспрестанных переводах. Ф. Е. Коршү Фет как-то сказал, что ежели бы он не переводил римлян, то со скуки повесился бы на ламповом крюке.

Хотя еще в 1887 году, по рассказу очевидца, Фет иногда, во время занятий вдруг на мгновение засыпал, однако в движениях его и походе мало было типично «старческого»: приемы были порывисты и быстры, как всегда, и летом 1892 года он, по обычаю, прямо из спальни «бежал» к кофейнику, а затем немедленно садился за работу. Последнее время сам он писал вообще немного (письма и черновые стихи), а преимущественно диктовал своей секретарше г-же Е. В. Ф. Казалось, ничто не предвещало близкой кончины, и только, ежели верить приметам, одни розы пророчили смерть своему певцу*.

Не лишним считаем сказать здесь несколько слов об образе жизни Фета и оттенить некоторые стороны его личности, не отмеченные доньше.

Уже с начала семидесятых годов началось постепенное возрастание имущества А. А. Фета, как замечает Н. Н. Страхов, «достигшего под конец той величины, которую можно назвать богатством». Он владел тремя имениями — Воробьевкой, Ольховаткой и Грайворонкой и вел чисто помещичий образ жизни, описанный отчасти им самим в рассказе «Вне моды»**. В Воробьевке, где жил он каждое лето с 1878 года, среди живописной южной природы, гащивали у него подолгу Н. Н. Страхов, Я. П. Полонский и Вл. С. Соловьев. Фет был хороший хозяин и хлебосол: свои фрукты и особенную яблочную пастилу посылал он в подарок не только друзьям и знакомым, но даже самому императору Александру III. Зимой, в Москве, в собственном доме на Плющихе, поэт продолжал ту же своеобразную жизнь «вне моды» и с тем же хлебосольством потчевал гостя свежей ботвиньей в январе***.

В рассказах современников сохранились кое-какие странности и привычки Фета. Так, он не мог считать деньги иначе,

* Весной 1892 года Фет писал из Воробьевки, что никогда розы в его цветнике не распускались так буйно. По народной примете, пышный расцвет роз судит смерть.

** Ныне Воробьевка (Курской губернии, Шигровского уезда) принадлежит П. Д. и С. Д. Боткиным, а Ольховатка (той же губернии и уезда) и Грайворонка (Воронежской губ., Землянского уезда) О. В. Галаховой.

*** Дом, в котором жил и умер Фет, по счастливой случайности цел доньше, хотя в 1911 году его зачем-то перекрасили и переделали наверху фронтон. Он двухэтажный, деревянный, находится рядом с Хамовнической аптекской. Никакой памятной доски или надписи на нем не имеется.

как наедине, не мог жить в комнате с двумя дверями, а непременно с одной, и в прекрасную летнюю погоду любил сидеть взаперти, за двойными рамами. В семье Полонских осталось воспоминание, как летом 1890 года в Воробьевке гостил с женою и детьми Я. П. Полонский. Фет после обеда усаживался отдыхать в маленькой гостиной. Здесь секретарша читала ему вслух, жена тем временем занималась рукоделием, а маленькая дворовая девочка почесывала осторожно темя барину, пока он дремал. Подобные странности, однако, нельзя принимать без оговорок. Вернее всего думать, что в последнем случае Фету просто хотелось подразнить либерального товарища крепостнической замашкой, заменив чесанием головы классическое «чесание пяток».

Вообще в характере Фета было упрямство, желание поставить на своем, сказать и сделать так, как хочется. Это то самое «заметное и прекрасное своеобразие», о котором говорит Н. Н. Страхов и которое согласуется с собственным утверждением Фета, что всякий человек в сорок лет имеет право быть самодуром. В этой черте весь Фет — вечно юный старец, непостижимо умевший разграничить возвышенное с пошлым и поэтическое с житейским.

Для пророков нашего времени, вызывающих неустанно с книжной горы: «начнем же делать!» — знаменательным должно казаться то, что Фет всю свою жизнь чуждался отвлеченностей и книжных теорий. Дух его до того исполнен был творческой, достигшей наивысшего совершенства силы, что академическая условная мудрость не усваивалась им, становилась ненужной*. Не умел и не любил он «говорить», и в Москве восьмидесятых годов, в столице Поливановых и Стороженков, в городе клубских спичей, ведущих родословную от Репетилова и речей Татьянина дня, всегда хранил неизменное безмолвие. Как истинный мудрец знал он цену словам и молча делал; нам

* «Я задал вопрос, который меня интересовал и раньше: что читал Фет? — «Французские романы, — отвечал Л. Н. (Толстой), иногда русские, а иной раз и другую книжку возьмет» (В. Лазурский. Воспоминания о Л. Н. Толстом. М. 1911. Стр. 94). Разумеется, мерить талант начитанностью невозможно, и вряд ли кто будет спорить, что абсолютная ценность ума важнее ценности поглощенных памятью книг. Сам Фет говорил:

Ценя сердечного безумия полет,
Я тем лишь дорожу, кто сразу все поймет,
И тройку, и свирель, и Гегеля, и суку,
И фриз, и рококо кривую закорюку,
И лебедя в огнях скатившегося дня,—
Ну, словом, чуткий ум душе моей родня.

(И. С. Тургеневу, 1864 г.).

Эту чуткость ума безмерное чтение нередко губит.

же осталось от него его «дело» и «действие»: чудные стихи, которых он никогда не «сочинял». «У меня так, — рассказывал он, — хожу и вдруг является»*.

Зато в частной беседе, в дружеском кругу, речи Фета блистали умом и остротой. Все знавшие его в один голос называют его «душой общества», редким и увлекательным рассказчиком. «Ему всегда нужна была деятельность, — говорит Н. Н. Страхов, — он не любил бесцельных прогулок, не любил оставаться один или молча погружаться в книгу; когда же имел собеседников, был неистощим в речах, исполненных блеска и парадоксов». Сохранился рассказ, что когда Фет являлся в контору Боткиных, служащие и приказчики обступали его тесным кольцом и слушали жадно. Для боткинских приказчиков ум Фета и знание им действительной жизни, видимо, были так же неотразимо увлекательны, как в иные минуты и при иной обстановке для Соловьева и Страхова. В остроумии Фет не уступал другому гениальному лирику, Тютчеву: к сожалению, слова его, как и тютчевские, не записанные вовремя, пропали бесследно. Только выражение фетовской иронии осталось навсегда на известном портрете работы Репина (1881 г.). Именно такое лицо, по словам его знавших, бывало у Фета, когда приходилось ему выслушивать неумного собеседника.

Фет не имел детей. Еще в 1857 году женился он на Марье Петровне Боткиной, пережившей своего великого супруга ровно на шестьнадцать месяцев. По свидетельству семьи Полонского, Марья Петровна обожала мужа, заботилась и печлась о нем неусыпно, как усердная нянька. Иногда Фет говаривал жене: «А знаешь, Марья Петровна, ты никогда не увидишь, как я умру».

Осенью 1892 года Фет переехал из Воробьевки в Москву в начале октября. По приезде вскоре поехал он в Хамовники с визитом к графине С. А. Толстой, простудился и заболел бронхитом. Врач А. А. Остроумов предписал больному сидеть безвыходно дома. Силы поэта быстро стали падать. Первое время он развлекался раскладываньем пасьянсов, не прерывая и литературных занятий (между прочим, переводил «Гамлет»), а позже только следил, как при нем раскладывали пасьянсы Марья Петровна и Е. В. Ф. Заботясь, чтобы последняя не забыла французского языка, Фет по вечерам слушал в ее чтении «*Madame Bovary*» Флобера. Из гостей его посещали покойный критик Ю. Н. Говоруха-Отрок (Ю. Николаев) и художник Н. В. Досекин**. Слабость между тем усилилась до такой степени, что врач заметил однажды Марье Петровне о необхо-

* В. Лазурский. Воспоминания о Л. Н. Толстом. М. 1911. Стр. 93.

** Н. В. Досекину принадлежит превосходный бюст Фета (1892 г.). Ж. А. Полонская в 1890 году также вылепила бюст и сделала слепок правой руки поэта.

димости причастить больного. Марья Петровна ответила, что Афанасий Афанасьевич не признает никаких обрядов и что грех этот (остаться без причастия) она берет на себя*.

Утром 21-го ноября больной, как всегда бывший на ногах, неожиданно пожелал шампанского. На возражение жены, что доктор этого не позволит, Фет настоял, чтобы Марья Петровна немедленно съездила к доктору за разрешением. Пока торопились с лошадьми, он не раз спрашивал: «Скоро ли?» — и сказал уезжавшей Марье Петровне: «Ну, отправляйся же, мамочка, да возвращайся скорее». Когда Марья Петровна уехала, Фет сказал секретарше: «Пойдемте, я вам продиктую». — «Письмо?» — спросила она. — «Нет», — и тогда с его слов г-жа Ф. написала сверху листа: «Не понимаю сознательного преумножения неизбежных страданий. Добровольно иду к неизбежному». Под этими строками он подписался собственноручно: 21-го Ноября. Фет (Шеншин)**.

На столе лежал стальной разрезальный ножик в виде стилета. Фет взял его, но встревоженная г-жа Ф. начала ножик вырывать, причем поранила себе руку. Тогда больной пустился быстро бежать по комнатам, преследуемый г-жой Ф. Последняя изо всех сил звонила, призывая на помощь, но никто не шел. В столовой, подбежав к шифоньерке, где хранились столовые ножи, Фет пытался тщетно открыть дверцу, потом вдруг, часто задышав, упал на стул со словом: «черт!» Тут глаза его широко раскрылись, будто увидав что-то страшное; правая рука двинулась приподняться как бы для крестного знамения, и тотчас же опустилась. Он умер в полном сознании.

Такова история последних дней и кончины Фета. Из нее с несомненностью явствует одно, что наш поэт не был самоубийцей, хотя, как видно из предсмертной записки, имел твердое намерение покончить с собой из-за невыносимых страданий. В этом намерении ему помешала сама смерть.

На другой день, то есть 22-го ноября, в № 324 «Московских ведомостей» появилось следующее траурное известие:

«Сего 21-го Ноября в 12 часов дня скончался
Афанасий Афанасьевич Шеншин
(Фет).

* Фет был убежденным атеистом. Когда он беседовал о религии с верующим Полонским, то порой доводил последнего, по свидетельству его семьи, до слез.

** Мы видели эту запись на листе обыкновенной беловатой бумаги невысокого качества. Почерк самого Фета ясен и определенно тверд; ничто не указывает, что писал это умиравший. По-видимому, тотчас после подписи им овладело умоиступление, нередко сопровождающее приближение смерти. Это мгновенное помешательство заставило его бежать и хвататься за разрезальные и столовые ножи, резаться которыми, разумеется, невозможно.

Панихиды ежедневно в 12 час. дня и 8 час. вечера, в доме покойного, на Плющихе. Отпевание тела и начало литургии имеют быть в Университетской церкви, в 10 час. утра, 24-го Ноября, а погребение в фамильном склепе села Клейменова, Орловской губернии Мценского уезда».

В тот же день на панихиде в 12 часов дня присутствовали: И. Н. Новацкий*, М. Н. Лопатин, Н. Я. Грот, П. П. Боткин и другие. Вечером в заседании Общества Любителей Российской Словесности председатель, ректор Московского университета Н. С. Тихонравов сказал краткую о почившем речь, а секретарь предложил присутствующим почтить вставанием память поэта. <...>

23-го ноября на вечерней панихиде были: попечитель Московского учебного округа граф П. А. Капнист, Н. Я. Грот и другие. Были возложены венки: от Общества Любителей Российской Словесности, от Боткиных, от редакции «Московских Ведомостей» и один без надписи.

Накануне похорон московский фотограф Р. Бродовский сделал несколько снимков с почившего поэта.

Отпевание происходило 24-го ноября в университетской церкви. В девять часов утра состоялся вынос; от Плющихи до Моховой гроб был несен на руках. В церкви тело поэта окружено было тропическими растениями и венками. Заупокойную литургию совершал протоиерей кафедрального Христа Спасителя собора А. И. Соколов, с приходским духовенством церкви Благовещения Пресвятой Богородицы, что на Бережках, и Воздвижения Креста Господня, что на Вражке. Пел чудовский хор, в траурных кафтанах. На отпевание вышли: ключарь кафедрального Христа Спасителя собора протоиерей Д. М. Покровский и того же собора священник А. А. Смирнов.

В церкви на отпевании присутствовали: граф А. В. Олсуфьев, генерал-лейтенант А. А. Козлов, управляющий канцелярией Московского генерал-губернатора В. К. Истомин; депутаты: от Общества Любителей Российской Словесности с Н. С. Тихонравовым во главе, от Психологического Общества во главе с председателем его Н. Я. Гротом; Н. А. Зверев; профессора: Г. А. Иванов, Н. И. Стороженко, В. Ф. Миллер, датский консул Ф. Эдстрем, много студентов.

А. А. Фет положен был в гроб в малом (галунном) камергерском мундире.

* Профессор Московского университета, известный хирург, лечивший некогда Фета, о чем есть упоминание в Записках поэта. В нашем собрании находятся второй и третий выпуски «Вечерних Огней» А. А. Фета со следующими на них надписями: «Глубокоуважаемому избавителю от мучительной смерти Ивану Николаевичу Новацкому автор» и «Глубокоуважаемому Ивану Николаевичу Новацкому на память. Старый автор».

После трогательного прощания с телом гроб был вынесен на руках из церкви и поставлен на катафалк. На улице поднялась сильнейшая метель. Дорогою были совершены литии: у церкви св. Параскевы в Охотном ряду и у Козьмы-Дамиана на Маросейке*. По прибытии на Курский вокзал, после краткой литии на платформе, металлический гроб был запаян и установлен в вагоне.

Всего на гроб Афанасия Афанасьевича возложено было пятнадцать венков, в том числе: от великого князя Константи-на Константиновича и великой княгини Елисаветы Маврикеев-ны роскошный пальмовый, с белыми камелиями; лавровый от Психологического Общества и Общества Любителей Российской Словесности; от П. и С. Боткиных: «Дорогому А. А. Шеншину»; от редакции «Московских Ведомостей»; от Е. и К. Дункер: «Дорогому и незабвенному А. А. Шеншину»**; от О. и Н. Галаховых*** — «Дорогому и незабвенному дяде»; прочие без надписей.

В три часа дня почтовый поезд с телом великого поэта тронулся до станции Отрада, откуда гроб перевезен был в родное имение Шеншиных, село Клейменово. Печальный поезд сопровождали М. П. Шеншина и В. Н. Семенович. На другой день состоялось погребение под церковью, в новом склепе.

В. Н. СЕМЕНКОВИЧ

Памяти А. А. Фета-Шеншина

Прошло уже десять лет со времени кончины А. А. Фета-Шеншина****. Как время-то идет! Давно ли мы, близкие ему и его знакомые, собирались по средам на Плющихе и встречались с такими лицами, с которыми каждый из нас нигде больше не мог встретиться, и дружно и мирно беседовали?

Эти слова надо пояснить: в настоящее время, когда все бредут розно, когда и важные и неважные интересы создают множество кружков, еще больше «лагерей», — дом Афанасия Афанасьевича и его собрания по средам кажутся невозможными. Как соединить крайнего «либерала» с крайним «консерва-

* Близ известного в литературе «боткинского флигеля», где жил в молодости подолгу А. А. Фет.

** Елизавета Дмитриевна Дункер, рожденная Боткина, племянница поэта. Ей посвящено несколько стихотворений.

*** О. В. Галахова, рожденная Шеншина, дочь Вас. Аф. Шеншина, брата поэта, нынешняя владелица села Клейменова, где погребен Фет.

**** Фет умер 21-го ноября 1892 года и был моим двоюродным дядей по отцу. (Авт.)

тором», «народника» с «марксистом», старого крепостника-помещика с юным земским статистиком, рыскающим по нашим весям, откапывающим остатки «крепостного духа» и борящимся с этим духом подчас весьма неподходящими средствами? Как суметь соединить всю эту смесь состояний и убеждений и сделать так, чтобы все эти носители разных принципов не только часами мирно беседовали друг с другом, но чтобы было видно, что в эти часы они как бы позабыли о своих принципах и искренно веселятся, видят в своих собеседниках только знакомых людей?

Все наши партии в пылу увлечений борьбой нередко очень мало стесняются, и во взаимной их «полемике» можно встретить такие выходки против личности противников, что можно ожидать весьма резкого конфликта, если противники встретятся...

У Фета в доме всегда собирались и главари разных партий и бойцы вторых рядов, и никогда никаких не только не было конфликтов, но подчас, что уже и совсем кажется невероятным, завязывалась дружба между противниками... <...>

Возьмите, например, Н. Н. Страхова, Вл. С. Соловьева, Ю. Н. Говоруку-Отрока. Что, казалось бы, между ними общего? Если помните их полемику, почти непрерывную, скажите: можно ли представить, что они будут не только дружно и мирно сходитья где-нибудь, будут сидеть рядом часами, но и жить целыми неделями вместе? А это все бывало в Воробьевке у Фета...

Помню, как-то Страхов написал статью, необычно для него резкую, против Соловьева. Говорука-Отрок, самый несдержанный из всех названных лиц, пристал к мнению Страхова и разразился в «Московских ведомостях» очень резкой статьей против Соловьева... В ближайшую среду, когда не ждали Соловьева и знали, что Страхов в Петербурге, сидит у дяди Говорука.

Вдруг — звонок, и входит Соловьев. Не успел он раздеться в передней, является Страхов... Все как-то притихли, и даже сама Марья Петровна* несколько смутилась...

Дядя поднялся, со свойственной ему одному доброй и лукавой усмешкой, пошел навстречу прибывшим и начал о чем-то говорить... Враги мирно встретились, поздоровались, и, я смело могу сказать это, такого веселого и хорошего вечера давно не было у дяди, Фета...

С этого вечера и лед как бы растаял, и все трое не только стали «выносить друг друга», но... почти подружились: Страхов видался с Соловьевым и Соловьев с Говорухой.

* Жена дяди, урожденная Боткина, ныне тоже покойная. (Авт.)

Конечно, кто знал Страхова и Соловьева, тот не мог ожидать с их стороны какой-нибудь резкости, но никто, однако же, не ожидал и такого мирного и такого милого конца этой встречи: тут именно казалось, что все то дурное, все то нехорошее, что было наговорено взаимно, — позабыто и от души прощено.

Так оно и было на самом деле...

Я помню, после того, даже Говоруха, имевший крайне мелочный и самолюбивый характер и никому, кроме дяди, не читавший своих статей в рукописи, особенно если это были беллетристические произведения, мирно удалялся в дядин кабинет с Соловьевым и читал ему то, что было готово. Не мне делать оценку трудов Соловьева как поэта и Говорухи как автора повестей и рассказов, и не в этих родах литературы главное значение умерших писателей. Но тем не менее надо признать, что для того, чтобы выслушать с глазу на глаз поэму Соловьева «Белая лилия» или один из рассказов Говорухи, надо было, чтобы между авторами установились прочное сочувствие и уважение друг к другу.

Итак, дядины вечера были той нейтральной почвой, на которой сходились все. Дядя сам почти не принимал участия в разговорах. Он страдал, особенно в последнее время, нашей родовой болезнью, одышкой, и не мог долго говорить, особенно при таком многолюдье, которое собиралось в его сравнительно тесной квартире. Он только слушал внимательно и если замечал, что разговор грозит принять мало-мальски щекотливый оборот, умел одним метким словом или шуткою перевести его на другую тему. В этом, да еще в обаянии самой личности дяди и заключался весь секрет успеха таких вечеров.

Фета у нас почти не знают как человека. Для одних, и таких теперь становится все больше и больше, — Фет любимый поэт. Для других поэзия Фета недоступна, они предпочитают ему своих излюбленных поэтов, склонны даже относиться с насмешкой к чистой поэзии вообще, а дядя только чистую поэзию и признавал и за всю свою долгую жизнь не согрешил ни одним «гражданским мотивом». Для третьих — Фет представитель реакции, закоренелый крепостник, автор ненавистных «Писем из деревни» и публицистических статей в «Московских ведомостях» и «Русском вестнике» времен Каткова. Я не имею теперь целью говорить о Фете как о писателе, я не поставлю даже в упрек бранящим дядю за его публицистические произведения того обстоятельства... что большинство этих бранящих наверное с а м и-то не читали этих статей... <...> А между тем если бы кто взял на себя труд познакомиться с публицистикой Фета, тот увидел бы, что там очень мало «ретроградного». Напротив, даже в шестидесятые годы, когда и появились эпигоны теперешних «либералов» и «консерваторов», эти последние не

признавали Фета всецело за своего: дядя как публицист никогда не был особенно близок к Каткову... Если в изданиях последнего и помещались статьи Фета, то это делалось далеко не с большой охотой, как бы из уважения к имени Фета-поэта...

У самоотверженного собирателя всего, что касается Фета, Н. Н. Черногоубова¹, находится много не напечатанных статей Фета. Статьи эти и теперь не принимаются к печатанию в тех изданиях, в которых их следовало бы напечатать, если бы была хоть доля правды в том, что Фет был такой яркий «консерватор»... Да и что это за клички такие: «либерал», «консерватор»? Всякий, кто знал дядю, знал, что он не был ни тем ни другим. Всякий, кто читал сам его публицистику, должен будет признать, что это так и есть. Дядя был скорее «человек сороковых годов» — и по своему возрасту, и по полученному воспитанию, и по тем связям, знакомствам и дружбе, которые он завязал в сороковых годах, когда только появился на литературном горизонте. Я бы сказал: дядя был одним из последних людей сороковых годов. Если и есть у Фета отличие от общеустановившегося представления об этих людях, то это отличие есть результат его личного темперамента: дядя был практик большой руки, чего почти не встречалось в людях сороковых годов. Он был практик-хозяин, практик-офицер, практик-общественный деятель. Он всю жизнь провел на деле и в делах. Дядя прошел очень суровую практическую школу и вынес очень много борьбы, мелочной, будничной, которой не знали «чистые теоретики», люди сороковых годов. Понятно, что эта борьба наложила на него и известный отпечаток и расширила его кругозор суждения о тех или иных вопросах. Будучи верным служителем чистой поэзии, дядя не мог остаться чистым теоретиком в области практической жизни: слишком много пришлось ему увидеть противоречий между теорией и практикой, и слишком часто приходилось ему убеждаться, что в жизни неприменимы те теории, которым учили поклоняться его учителя.

О Фете составилось мнение главным образом в шестидесятих годах. Тогда был разгар всяких теорий, и чистых, и нечистых... Дядя как практик не мог не видеть неприменимости этих теорий к жизни и как человек, всегда имевший смелость высказывать свое мнение, начал писать об этой неприменимости известных теорий.

Отсюда и гонение на дядю: в то время нельзя было выказать и тени недовольствия или несогласия с господствующим мнением. Кто не с нами, — тот против нас... таков был лозунг. Фет не мог быть с ними, его удерживала жизнь, которую он видел на месте, а не из редакционных кабинетов и не из стен конспиративных кружков... И вот его объявили «ретроградом», «газилыником», «мракобесом», и я не знаю, уж каких кличек

ему не давали... Фет — мракобес и гасильник!.. Говорить так могли недоучившиеся семинаристы, которым было и не понять этого высокообразованного европейца-классика.

А Фет был именно одним из немногих у нас людей, которые могли быть признаны настоящими европейцами, настоящими классиками, в лучшем смысле этих определений. Его широкое образование, его утонченнейшая воспитанность и светскость, — в этом смысле он напоминал французских маркизов лучшего времени, — не могли не привлекать к нему таких же образованных и воспитанных людей всех «лагерей». В этом-то, а также в его доброте, в его дружелюбии, в его постоянной готовности сделать все для всякого и заключался секрет его обаяния, и этими качествами только и может быть объяснена его непрерывная и долгая дружба с самыми выдающимися людьми его времени.

Раз узнав Фета, всякий становился его другом.

Отчего это? Как могло это случиться с людьми совершенно разных складов? Оттого, что Фет был человек в лучшем значении этого слова, да еще человек, всесторонне образованный, деликатный, добрый и простой. Можно было любить или не любить Фета-писателя. Но нельзя было его не любить как человека, нельзя было не поддаться очарованию его личности. И это случалось не только с нашим интеллигентным классом: «народ», тот самый народ, для блага которого многие так много ломают копий, любил и ценил «Афанасьича»...

Я это говорю как уроженец Орловской губернии, встречавшийся с разными слоями «орловского народа»: с купцами, мелкими торговцами, прислугой, крестьянами. Все, кто знали Фета, помнят его и любят. «Правильный барин, что и говорить» — таков общий отзыв. А между тем этот «правильный барин» смел иметь свое суждение и с народом так же, как он смел его иметь и с интеллигенцией... Как в литературных лагерях Фет не стеснялся и высказывал очень часто горчайшие истины, так и в деревне он никогда не обсахаривал мужика, не подлаживался к нему... А вот подите же — все его любили! Его любили и уважали главы разнообразнейших «партий» — литературных и политических, и любили люди дела, и народ любил.

Еще одна интересная черта: Фет никогда не менялся. Фет остался по своим убеждениям и по своей жизни таким же и в старости, каким был в молодости. Что делал и говорил Фет двадцати лет, то он делал и говорил семидесяти. Много ли у нас таких «консерваторов» в их собственной жизни? Вот уж в этом-то отношении Фета можно было назвать консерватором из консерваторов... При этом стойкость убеждения просто изу -

мительная: никогда, ни за какие выгоды и никому не удавалось Фета сбить с раз принятого пути. Можно еще встретить людей, которые свои убеждения хранят про себя, живут замкнувшись в свою раковину. Дядя был не таков. Он был олицетворенная энергия до конца дней *. Он был борец за свои идеи и никогда ими не поступался и всегда их высказывал открыто. Настали известные течения, потянул ветер с другой стороны. Многие сдались, запели новые песни. Фет остался верен себе и не сдался. Замолчи он, отойди в сторону, пережди время, что делали многие,— его бы и не подумали травить так, как травили в шестидесятых годах и травят даже до сего дня. Но он не отошел в сторону, он не замолчал.

Мне говорят, что у Фета на первом плане была материальная выгода. Да, в хозяйстве, дома, в практической жизни, это было так. Но в области мысли Фет не знал компромиссов, и его неуступчивость очень ему вредила... Но эта же стойкость и привлекала к нему даже врагов: всякий знал, что Фет не солжет, что Фет откровенно выскажет то, что думает. И к нему шли за советом и по практическим вопросам, и за выслушиванием какого-нибудь мнения, хотя бы и с готовым решением мнению этому не следовать. В этой непоколебимости заключался тоже один из секретов дядина обаяния.

Прошло десять лет с его кончины.

С жизненной арены сошли не только старики-сверстники Фета, но многие из молодых: Грот, Соловьев, Говоруха. Пройдет немного, сойдут и остальные, знавшие дядю и любившие его. Вот к этим-то немногим оставшимся я и решаюсь обратиться с просьбою: давайте в память хорошего человека сделаем, что можем: соберем его письма, статьи, воспоминания об нем и пр. Такое собрание, и очень полное сравнительно, уже заложено его искренним почитателем и поклонником Н. Н. Черногобузовым** Давайте все собранное сообща обрабатываем и издадим в память Фета. Я заранее могу обещать полную поддержку этому делу со стороны А. Ф. Маркса, которому я уступил литературные права дяди. Такой сборник будет лучшим памятником Фету, и памятника такого заслуживает этот хороший человек...

* Например, незадолго до смерти дядя хотел начать издавать газету... Это в семьдесят-то лет!

** У него уже образовался род «музея Фета», и он об этом музее любовно печется.

[А. В. Олсуфьев]

Письмо из Звенигорода

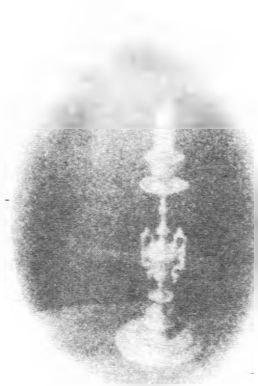
17 августа был освящен скромный и, насколько нам известно, пока единственный памятник великому русскому лирику А. А. Фету. Памятник этот находится в отстоявшем от Звенигорода в трех верстах селе Ершове, имении графа А. В. Олсуфьева, и состоит из белой мраморной доски, вделанной в западную стену тамошней церкви[†] с надписью золотыми буквами:

В ПАМЯТЬ ВЕЛИКОГО ПОЭТА АФАНАСИЯ АФАНАСЬЕВИЧА ФЕТА,
УДОСТОИВАВШЕГО СВОЕЮ ДРУЖБОЙ ВЛАДЕЛЬЦА СЕЛА ЕРШОВА

Родился 23 ноября 1820 года

Скончался 21 ноября 1892 года

Внизу славянскими буквами изречение из книги Иова: «Чисто сердце мое во словесах, разум же устну моею чистая уразумеет» (кн. Иова, 33 гл., 3 ст.)*. <...>



* Слова мои от искренности моего сердца, и уста мои произнесут знание чистое (старославянск.).

Настоящее издание включает наряду с произведениями самого Фета раздел «Современники о Фете», где впервые собраны вместе материалы, освещающие личность поэта, отдельные моменты его жизненного пути.

СТИХОТВОРЕНИЯ, ПОЭМЫ

В основу композиции этого раздела положен фетовский план 1892 года. Раздел лирики дополнен избранными «Стихотворениями, не вошедшими в основное собрание»; печатаются также две поэмы Фета.

СТИХОТВОРЕНИЯ

С. 28. Одинок и й дуб.— Художественные открытия Фета 1850-х гг. совершались внутри магистрального движения русской литературы этой эпохи и соотносимы с творчеством крупнейших русских писателей — прежде всего Л. Толстого. Б. Эйзенбаум (положивший начало изучению темы «Толстой и Фет») в работе «Лев Толстой. Семидесятые годы» установил, в частности, перекличку «философского лиризма» стихотворения «Одинокий дуб» с некоторыми местами «Войны и мира»: «Мысли раненого князя Андрея, лежащего на Аустерлицком поле,— это уже не столько «диалектика души» в духе севастопольских рассказов, сколько философская лирика <...> Другое место «Войны и мира» кажется уже прямо лирической вставкой, «стихотворением в прозе», написанным по методу Фета: я имею в виду мысли князя Андрея при виде одинокого старого дуба. Это не простая метафора и не простое «одушевление» природы — это тот импрессионизм («лирическая дерзость»), на котором основана лирика Фета. Возможно, что здесь даже прямо откликнулось стихотворение Фета «Одинокий дуб».

С. 35. *Alter ego*.— По давнему недоразумению, это стихотворение биографически приурочивают к отношениям Фета с Марией Лазич, которая появилась в жизни поэта в конце 1848 года. Не имея возможности сколько-нибудь подробно рассматривать здесь этот вопрос, приведем только один аргумент, который представляется нам решающим: если признавать за «*Alter ego*» точный автобиографический смысл, то выражение «Ты стояла над п е р в о ю п е с н е й м о е й» (выделено мною.— А. Т.) может относиться только к той, кто была рядом с Фетом в начале его поэтического пути, то есть в студенческие годы.

Стихотворение «*Alter ego*» Фет поместил в раздел «Элегии и думы» первого выпуска «Вечерних Огней», при этом оно точно датировано — «январь 1878». Рассматривая прилегающие к «*Alter ego*» стихотворения, невольно обращаешь внимание на одну деталь — хотя мы знаем, что Фета всегда мало заботила последовательность хронологии, нельзя не изумиться какой-то невероятной «пляске дат» среди стихотворений, предшествующих «*Alter ego*». Они идут в такой последовательности: 1882—1864—1871—1878. Возникает предположение, что здесь Фет собрал вместе стихотворения какой-то одной темы — и расположил их в нужном ему смысловом порядке, не обращая внимания, как «лягут» их даты. Внутри раздела «Элегии и думы» получился, таким образом, как бы «микроцикл»: он кончается на «*Alter ego*», но если пойти назад, то нетрудно найти его начало — это стихотворение «Окна в решетках...» (значительность, «программность» которого была подчеркнута Фетом при его первой публикации тем, что оно открывало первый выпуск «Вечерних Огней» — а тем самым и весь новый этап творчества Фета). По нашему предположению,

эти пять стихотворений объединены одной темой, имя которой — «первая любовь поэта» (см. об этом подробнее во вступительной статье к изданию: Фет А. Сочинения в двух томах. Том первый. М., «Художественная литература», 1982).

С. 36—37. «Измучен жизнью, коварством надежды...»; «В тиши и мраке таинственной ночи...» — Два эти стихотворения возникли, как видно по сохранившемуся автографу, из первоначально единого текста. Приводим полностью этот начальный рукописный текст (датируемый Б. Я. Бухштабом предположительно 1864 годом):

Измучен жизнью, коварством надежды,
Когда им в битве душой уступаю,
И днем и ночью смежаю я вежды
И как-то странно порой прозреваю.

В тиши и мраке таинственной ночи
Я вижу блеск приветный и милой,
И в звездном хоре знакомые очи
Горят в степи над забытой могилой.

Трава поблекла, пустыня утрюма,
И сон сиротлив одинокой гробницы,
И только в небе, как вечная дума,
Сверкают звезд золотые ресницы.

И так прозрачна огней бесконечность,
И так доступна вся бездна эфира,
Что прямо смотрю я из времени в вечность,
И пламя твое узнаю, солнце мира.

И неподвижно на огненных розах
Живой алтарь мирозданья курится,
В его дыму, как в творческих грезах
Вся сила дрожит и вся вечность снится.

И все, что мчится по безднам эфира,
И каждый луч, плотской и бесплотный,
Твой только отблеск, о солнце мира!
И только сон, только сон мимолетный.

И снится ему, что ты встала из гроба,
Такой же, какой ты с земли отлетела.
И снится, снится, мы молоды оба,
И ты взглянула, как прежде глядела.

Из этого текста, в пору своего увлечения Шопенгауэром, Фет выделил «философское» стихотворение «Измучен жизнью, коварством надежды...», в котором он хотел подчеркнуть «шопенгауэровский смысл», для чего и поставил в эпиграф цитату из этого философа. Однако эпиграф оказывается в весьма косвенных отношениях с глубоко самобытным духовным смыслом замечательного фетовского создания.

С. 60. «Не дивись, что я черна...» — Стихотворение представляет собой переложение некоторых мест ветхозаветной «Песни песней».

С. 73. «На заре ты ее не буди...» — Первое из стихотворений Фета, положенное на музыку (А. Варламовым). Романс получил широчайшую известность, его распевали по всей России. Приведем два журнальных отклика: в «Отечественных записках» (1850, № 1, с. 71) он назван «песней, сделавшейся почти народною...»; «Москвитянин» (1850, кн. 1—2, с. 50) считает его «прекрасно положенным на музыку покойным Варламо-

вым и прославленным, более еще, нежели этим известным композитором, — московскими цыганами».

С. 79. «Всю ночь гремел овраг соседний...» — Стихотворение создано в начале 1870-х гг., когда Фет был поглощен хозяйственной деятельностью и стихи рождались редко. Сохранилось несколько редакций этого стихотворения; окончательный текст установлен поэтом при включении его в первый выпуск «Вечерних Огней». Приводим самую раннюю рукописную версию стихотворения, представляющую собой самостоятельную «вариацию» темы:

С зари гремел овраг соседний,
Ночь развездилась, как в раю,
Весенних вод напор последний
Победу разглашал свою.

Воздушной негой утомленный,
Сном благодатным ты дышал,
Меня ж от ставни отворенной
Крик журавлей не отпускал.

Он звал, сулил — былою ложью
До боли сердце шевеля,
И подо мной весенней дрожью
Ходила гулкая земля.

Куда лететь мечтою жадной?
К чему мгновенный сей недуг,
Когда ты здесь, мой ненаглядный,
Бедами искушенный друг.

С. 122. *Anruf an die Geliebte* Бетховена. — Бетховенский музыкальный «призыв к любимой» — один из романсов цикла, названного композитором «К далекой возлюбленной». Фет считал Бетховена одним из величайших гениев мирового искусства; впечатления от бетховенской музыки своеобразно претворялись в поэзии Фета — в данном случае романс композитора повлиял на создание стихотворения «Пойми хоть раз тоскливое признание...», вошедшего в цикл «Мелодии».

Надо отметить, что богатство и сила собственно музыкальных впечатлений, претворенных в «музыку лирики», — едва ли не самое главное проявление того отличительного фетовского свойства, которое принято называть его «музыкальностью». Именно поэтому, например, Чайковский находил фетовский дар «совершенно исключительным»: «Фет в лучшие свои минуты выходит из пределов, указанных поэзии, и смело делает шаг в нашу область... это не просто поэт, скорее поэт-музыкант, как бы избегающий даже таких тем, которые легко поддаются выражению словом».

С. 155. *Диана*. — Глубокий интерес к античному миру и античному искусству пробудился у Фета очень рано и сопровождал поэта всю жизнь. Творения древних ваятелей не раз вдохновляли фетовскую лирику; подлинным шедевром стало стихотворение, посвященное статуе Дианы (девственная богиня луны в римской мифологии). Критик Василий Боткин писал в 1857 г. в статье о Фете: «Никогда еще некая поэзия ваяния не была прочувствована и выражена с такою силою. В этих стихах мрамор действительно исполнился какой-то неведомой, таинственной жизнью: чувствуешь, что окаменелые формы преобразуются в воздушное виденье... Признаемся, мы не знаем ни одного произведения, где бы эхо исчезнувшего, невозвратного языческого мира отзывалось с такою горячностью и звучностью, как в этом идеальном, воздушном образе строгой, девственной Дианы. Это высочайший апофеоз не только ваяния, но и всего мифологического мира!» (Боткин В. Стихотворения А. А. Фета. // Современник, 1857, № 1, с. 38.)

В фетовском «влечении к античности» наиболее проникательные читатели угадывали насущную, жизненную потребность души современного человека. «Последние две строки этого стихотворения полны такой страстной жизненности, такой тоски, такого значения, что мы ничего не знаем более сильного, более жизненного во всей нашей русской поэзии». Так писал по поводу фетовской «Дианы» Достоевский, который в самом акте со-

здания подобного стихотворения чувствовал «моление перед совершенством прошедшей красоты и скрытую внутреннюю тоску по такому же совершенству» (<Достоевский Ф. М.>. Г-ов и вопрос об искусстве // *Время*, 1861, № 12, с. 197—198).

С. 155. «Влажное ложе покинувши, Феб златокудрый на правил...» *Эос* — древнегреческая богиня утренней зари, которая предвещает восход солнца — бога *Феба* (покидающего «влажное ложе» — т. е. встающего из моря). Бог солнца выезжает на колеснице; сын Феба *Фаэтон* однажды захотел прокатиться на солнечной колеснице и погиб.

С. 159. Сон и Пазифая. — *Пазифая* — в древнегреческой мифологии младшая из трех харит (богинь веселья и радости).

С. 159. Амимона. — *Амимона* — одна из пятидесяти дочерей героя древнегреческой легенды Даная; членам его рода приписывалось основание некоторых греческих городов.

С. 162. Даки. — В Ватикане, резиденции папы римского, собрана огромная коллекция шедевров изобразительного искусства. Фет посетил Ватиканский музей во время своей поездки в Европу в 1856 г. Здесь он и увидел мраморные изображения римских гладиаторов из племени даков (в XIX в. даков причисляли к славянам).

С. 163. Телемаку Калипсы. — Тема стихотворения взята Фетом не из древнегреческой «Одиссеи» (там нет сюжета о посещении сыном Одиссея (Улисса) Телемаком острова нимфы Калипсо), а наваяна, вероятно, каким-то живописным произведением: этот сюжет стал популярным в изобразительном искусстве после появления романа «Приключения Телемака» (1699) французского писателя Фенелона.

С. 167. Нептуну Леверрье. — Впервые напечатано под заглавием «Нептуну»: оно посвящалось новой планете Нептун, открытой в 1846 г. на основании вычислений астронома Леверрье. Поскольку читатели не всегда догадывались, о каком «Нептуне» идет речь, то Фет в плане 1892 г. ввел в название стихотворения имя астронома.

С. 178. Памяти Д. Л. Крюкова. — Стихотворение написано к десятилетию смерти Дмитрия Львовича Крюкова (1809—1845) — профессора римской словесности в Московском университете. «Увлеченный одами Горация в изящных изустных переводах» Крюкова, Фет, еще будучи студентом, приступил к переводу поэзии Горация.

С. 178. На смерть А. В. Дружинина. — Дружинин Александр Васильевич (1824—1864) — известный петербургский литератор и критик, один из тех, кто приветствовал появление фетовской поэзии в 1850-е гг.; автор содержательной статьи о творчестве Фета.

С. 179. Памяти В. П. Боткина. — Критик Василий Петрович Боткин (1810—1869) был родственником Фета (брат Марьи Петровны Фет, жены поэта) и духовно близким ему человеком в 1850—1860-е гг. Статья Боткина о поэзии Фета (*Современник*, 1857, № 1, с. 1—42) — лучшая во всей прижизненной критике поэта.

С. 180. Памяти Н. Я. Данилевского. — Данилевский Николай Яковлевич (1822—1885; похоронен «у южного моря» — в своем имении Мшатке, находившемся на Южном берегу Крыма) — ученый-естественник. Более известен как оригинальный мыслитель, занимавшийся проблемами культурологии и философии истории.

С. 180. На смерть Бражникова. — Стихотворение было написано Фетом в июле 1845 г. в связи с внезапной смертью его сослуживца по кирасирскому полку корнета Александра Бражникова.

С. 180. На смерть Мити Боткина. — Стихотворение на смерть девятилетнего племянника М. П. Фета, жены поэта.

С. 181. Памяти С. С. Боткиной. — Речь идет об умершей в 1889 г. жене Д. П. Боткина (брата М. П. Фета).

С. 183. Е. П. Ковалевскому. Обращено к путешественнику и писателю Егору Петровичу Ковалевскому (1811—1868).

С. 187. С. П. Хитрово. — Обращено к Софье Петровне Хитрово, племяннице С. А. Толстой (жены поэта А. К. Толстого).

С. 187. Графине С. А. Толстой. — Стихотворение «Где средь иного поколения...» посвящено Софье Андреевне Толстой — вдове поэта Алексея Константиновича Толстого. С обейми Фета связывали дружеские отношения. «...Считаю себя счастливым, — писал Фет в своих мемуарах, — что встретился в жизни с таким нравственно здоровым,

широко образованным, рыцарски благородным и женственно нежным человеком, каким был покойный граф Алексей Константинович». С. А. Толстую Фет считал одной из самых блестящих и интересных женщин своего времени.

С. 188. Графине С. А. Толстой.— Стихотворение «Когда так нежно расточала...» и три следующих («И вот портрет! И схоже и несхоже...»; «Я не у вас, я обделен!...»; «Пора! по влаге кругосветной...») обращены к жене Л. Н. Толстого Софье Андреевне Толстой (1844—1919).

С. 190. В альбом П. А. Козлову.— Обращено к поэту и переводчику Павлу Алексеевичу Козлову (1841—1891).

С. 191. Графу А. В. Олсуфьеву.— Стихотворение обращено к Алексею Васильевичу Олсуфьеву (см. ниже, с. 472).

С. 192. Графине Н. М. Соллогуб.— Стихотворение «О Береника! Сердцем чую...», так же как и два предыдущих («Вам песнь моя. В степи мирской...» и «Тобой привычный восхищаться»), обращены к Наталье Михайловне Соллогуб (1851—1915).

С. 195. На бракосочетание Е. Д. и К. Г. Дункер.— 30 апреля 1889 г. Фет с женой присутствовали на бракосочетании племянницы М. П. Фет Елизаветы Дмитриевны с инженером Константином Густавовичем Дункером, где поэт произнес поздравление в стихах.

С. 196. На серебряную свадьбу Е. П. Щукиной.— Щукина Екатерина Петровна (урожденная Боткина)—сестра М. П. Фет.

С. 197. М. Ф. Ванлярской при получении визитной карточки с лещами и ласточками.— Ванлярская Марианна Федоровна—сестра жены поэта Д. Н. Чертелева, редактора журнала «Русское обозрение» (см. ниже, с. 471).

С. 199. Графу Л. Н. Толстому («Как ястребу, который просидел...»).— Этим стихотворением Фет предварил цикл «Песни кавказских горцев», опубликованный им в 1876 г. в журнале «Русский вестник». Прозаический перевод этих песен Фет получил от Толстого, взявшего их из «Сборника сведений о кавказских горцах».

С. 199. Л. Н. Толстому при появлении романа «Война и мир».— Стихотворение было послано Фетом Толстому 23 апреля 1877 г. под заглавием: «Дорогому другу, графу Льву Николаевичу Толстому». Хронологически не связанное с появлением романа «Война и мир», стихотворение, однако, ориентируется именно на это произведение как на сердцевину «толстовского существа» с его стихийной мощью и могуче-непокорной («жестоковейной») красотой.

С. 200. А. Н. Майкову на сочувственный отзыв о переводе Горация.— Майков Аполлон Николаевич (1821—1897)—известный поэт и крупный чиновник (Фет в шутку предлагал титуловать майковскую музу «Ваше Высочество»). Майков содействовал присуждению Фету Пушкинской премии Академии наук за большую работу—полный перевод Горация.

С. 271. *Quasi una fantasia*.— Заглавие связано с названием 13-й (т. н. Лунной) сонатой Бетховена «Sonata quasi una fantasia» («Соната вроде фантазии»). Само стихотворение принадлежит к тому роду фетовской лирики, творческим импульсом для которой служили лирические музыкальные впечатления. А в данном случае—исполнение «Лунной сонаты» родственницей поэта пианисткой Е. М. Семенкович (см. об этом ниже, с. 470—471).

Прижизненная публикация этого стихотворения (Нива, 1890, № 13) не имела, однако, посвящения Е. М. Семенкович, которое появилось в сборниках стихотворений Фета, изданных А. Марксом в 1901, 1910 и 1912 гг.

ПОЭМЫ

Из пяти поэм, написанных Фетом, одна («Сабина») стоит особняком, а четыре другие («Талисман», «Сон», «Две липки» и «Студент») образуют своеобразное единство. Во-первых, они написаны октавами, а во-вторых, все они—явно автобиографического содержания. В сборник вошли две поэмы—«Талисман» и «Сон».

С. 312. Т а л и с м а н.— Эта первая из автобиографических поэм Фета напечатана в 1842 г. В июньском номере журнала «Москвитянин» (январский номер которого поэт «завалил сугробами» — поместил здесь свой цикл «Снега»). Хотя поэт приписывает рассказанное некоему третьему лицу («славному малому», который был «романтиком образчик»),

нет сомнения, что в основе поэмы лежат события жизни самого Фета. Событие им выбрано, собственно, одно — тот момент, когда в декабре 1834 г. четырнадцатилетний Афанасий Шеншин узнал, что должен покинуть родную усадьбу Новоселки: «Пора, пора из теплого гнезда // На зов судьбы далекий подниматься!» Герой поэмы едет прощаться с семейством, живущим в соседней усадьбе; точные топографические приметы, подробность описания усадебного дома — все это выдает реальность описанного в поэме. Но, конечно, самая главная «реальность», которая нас интересует, — это отношения героя поэмы со старшей дочерью соседской семьи (она названа в поэме Варварой). То, что эти отношения были «талисманом» для души самого Фета, были одним из самых заветных воспоминаний его усадебной юности, подтверждается рассказом А. Григорьева («Человек будущего»), где так описаны редкие душевные излияния Фета наедине со своим другом: «То были долгие беседы об искусстве, любимом им более всего на свете, или простые, но чудно-поэтические рассказы о первых днях молодости, о снежных беспредельных полях, озаренных полною луною, о лучах этой луны, играющей на полу старой залы, и о темно-русой головке с голубыми очами, наклоненными к клавишам рояля». Сравним теперь этот рассказ со следующими строками из «Талисмана»:

Серебряная ночь гляделась в дом...

Она без свеч сидела за роялью.

Луна была так хороша лицом

И осыпала пол граненой сталью;

А звуки песни разлились кругом

Какою-то мучительной печалью:

Все вместе было чувства торжество,

Но то была не жизнь, а волшебство.

Не располагая материалом для каких-либо более конкретных суждений, остановимся на том, что в поэме «Талисман» запечатлена какая-то одна из самых ранних «сердечных историй» юного Фета; для будущего поэта весьма знаменательно, что его чувство достигает кульминации во время пения, когда его возлюбленная поет романс. Тут возникает характернейшая тема будущего фетовского творчества: ночное женское пение.

С. 318. С. о. н. — Первоначальное название поэмы — «Сон поручика Лосева». Автобиографичность поэмы уже отмечалась исследователями, в частности Д. Благом: «...из многочисленных стихотворений Фета, связанных с Лазич, именно в этой повести в стихах трагически завершившийся роман с нею изображен с наибольшей реалистической конкретностью. И шутивно-фантастический гротеск приобретает весьма серьезный характер. Поначалу комически поданный вопрос — брать или не брать дьявольские червонцы? — обобщается важнейшим вопросом о выборе дальнейшего жизненного пути... Как поступил поручик Лосев — в поэме остается неизвестным. Но мы знаем, как поступил поручик Фет» (Благой Д. Мир как красота. М., 1975, с. 18—19).

СОВРЕМЕННОКИ О ФЕТЕ

Этот раздел представляет собой подборку мемуарных и эпистолярных фрагментов биографического характера, собранных из печатных источников:

Сюда не вошли материалы, посвященные проблеме происхождения Фета: они требуют специальной публикации с привлечением новых архивных документов (см.: Черногоубов Н. Происхождение А. А. Фета // Русский архив. 1900. № 8; Семенович В. Н. О происхождении Фета // Русский архив. 1901. № 1; Федина В. С. О происхождении и смерти Фета // Федина В. С. А. А. Фет (Шеншин). Материалы к характеристике. Пг., 1915; Блок Г. П. Легкопись жизни А. А. Фета // А. А. Фет. Традиции и проблемы изучения. Курск, 1985; Бухштаб Б. Я. А. А. Фет. Очерк жизни и творчества. Л., 1974).

Материал расположен в хронологическом порядке. Мемуарно-биографический очерк Н. Страхова, охватывающий всю жизнь Фета, вынесен в начало раздела.

А. А. Фет. Биографический очерк (с. 328).— Страхов Николай Николаевич (1826—1896) — критик, философ и публицист; был близким знакомым и «литературным советником» Фета (поэт неизменно представлял на его отзывы свои новые стихотворения) начиная с конца 1870-х годов. Биографический очерк написан для первого посмертного издания Фета (Лирические стихотворения. Ч. 1—2. М., 1894); затем перепечатывался вместе с другими статьями Страхова о Фете в «Полном собрании стихотворений А. А. Фета», изданном А. Ф. Марксом в 1901 и в 1910—1912 годах.

Д. ФОН-ЭТТИНГЕН

Из письма П. Унгерн-Штернбергу (с. 336).— Печатается по тексту заметки «А. А. Фет в Верро», помещенной в книге: Борис Садовской. Ледоход. Статьи и заметки. Пг., 1916. В своей заметке автор (о нем см. ниже, с. 472), в частности, пишет: «Детские и юношеские годы А. А. Фета для исследователей остаются глубокой тайной. За исключением того, что рассказано в воспоминаниях им самим, не существует никаких сведений о ранней жизни поэта. <...> В 1913 году, благодаря любезному содействию барона П. П. Унгерн-Штернберга нам удалось письменно запросить юрьевского профессора Эттингена, учившегося в пансионе Крюммера в Верро в одно время с Фетом, не помнит ли он что-нибудь о своем школьном товарище. Вместо барона Эттингена, девяностолетнего большого старца, отвечала его супруга, письмо которой приводится здесь в переводе В. А. Юнгера».

Я. П. ПОЛОНСКИЙ

Поэт Яков Петрович Полонский (1819—1898) познакомился и подружился с Фетом в студенческую пору — они одновременно учились в Московском университете. Их дружеские отношения с небольшим перерывом продолжались до конца жизни Фета.

Мои студенческие воспоминания (с. 336).— Студенческие воспоминания написаны Полонским незадолго до смерти и опубликованы в «Ежемесячных литературных приложениях» к журналу «Нива» (1898, декабрь). Печатаются по этой публикации.

¹ Во время поступления в университет (1838) Фет жил в пансионе профессора М. П. Погодина на Девичьем поле. В дом Григорьевых, находившийся в Замоскворечье, на Малой Полянке, в приходе церкви Спаса в Наливках, Фет переехал после рождественских каникул первого курса (в январе или феврале 1839 года).

² Хотя версию о еврейском происхождении Шарлотты Фёт повторяли многие близко знавшие поэта люди, ее нельзя считать окончательно установленным биографическим фактом.

Из письма Фету (с. 338).— Печатается по изданию: Аполлон Александрович Григорьев. Материалы для биографии. Под ред. В. Княжнина. Пг., 1917.

А. А. ГРИГОРЬЕВ

Поэт и критик Аполлон Александрович Григорьев (1822—1864) был ближайшим другом Фета в студенческие годы. Прозаические опыты Григорьева благодаря их откровенной автобиографичности являются исключительно ценным материалом для представления о духовном облике молодого Фета. Тексты из рассказа «Листики из рукописи скитающегося софиста», повестей «Человек будущего» и «Офелия» печатаются по изданию: Аполлон Григорьев. Воспоминания. Л., 1980. Отрывок из повести «Другой из многих» (где Иван Чабрин — это Григорьев, а ротмистр Зарницын — Фет) печатается по первой публикации: «Московский городской листок», 1847, № 244.

Из повести «Офелия» (с. 340).

¹ В архиве С. П. Шевырева (ГПБ, Ленинград) А. Л. Осоватом обнаружен фрагмент письма неизвестного адресата Шевыреву, предположительно датируемый 1839—1844 гг. Есть основание полагать, что это письмо послано студентом Григорьевым к их общему с Фетом университетскому преподавателю: «...спасите, ради самого Спасителя, спасите человека, который обещает так много своим талантом. Этот человек — Фет».

Ваши убеждения, Ваши советы могут спасти его от страшного греха самоубийства» (приносим А. Л. Осповату благодарность за сообщение этого документа).

А. И. ГРИГОРОВИЧ

Из книги «История 13-го Драгунского Военного Ордена... полка» (с. 343).

Григорович Александр Иванович — военный историограф.

Печатается по изданию: Григорович А. История 13-го Драгунского Военного Ордена ... полка. СПб., 1912. Т. 2.

А. В. ДРУЖИНИН

Дружинин Александр Васильевич (1824—1864) — прозаик, критик, журналист. Автор содержательной статьи «Стихотворения Фета» (1856).

Из дневника (с. 348). Печатается по изданию: Дружинин А. В. Повести. Дневник. М., 1986.

¹ Каламбур, обыгрывающий название оперы Дж. Мейербергера «Пророк» (по-французски звучит «Профэт»).

² Имеются в виду стихотворения «На Днепре в половодье» и «Гораций. К Лидии».

³ «Подражание Данту», «Голубь»: эти произведения Фета неизвестны.

⁴ Речь идет об издании фетовских «Стихотворений» (1856), отредактированных Тургеневым.

Из писем Л. Н. Толстому (с. 349). Печатается по изданию: Толстой Л. Н. Переписка с русскими писателями. М., 1978. Т. 1.

¹ «Юлий Кесарь», «Антоний и Клеопатра» (выше в письме Тургеневу) — трагедии Шекспира, переведенные Фетом.

² Речь идет о цикле стихотворений «Из Гафиза» — переводе, сделанном Фетом по немецкому первоисточнику. (вольные «подражания Гафизу» поэта Г. Даумера).

Д. В. ГРИГОРОВИЧ

Из «Литературных воспоминаний» (с. 350).

Григорович Дмитрий Васильевич (1822—1899) — писатель.

Печатается по изданию: Григорович Д. В. Литературные воспоминания. Л., 1928.

А. Я. ПАНАЕВА

Из «Воспоминаний» (с. 351).

Панаева Авдотья Яковлевна (1820—1893) — писательница.

Печатается по изданию: Панаева А. Я. Воспоминания. М., 1956.

П. М. КОВАЛЕВСКИЙ

Из воспоминаний «Встречи на жизненном пути» (с. 352).

Ковалевский Павел Михайлович (1823—1907) — литератор.

Печатается по изданию: Григорович Д. В. Литературные воспоминания. Л., 1928.

А. А. ГРИГОРЬЕВ

Из письма А. А. Фету (с. 354).

Печатается по изданию: Аполлон Александрович Григорьев. Материалы для биографии. Под ред. В. Княжнина. Пг., 1917.

¹ Речь идет о редактировании Тургеневым третьего сборника стихотворений Фета (1856).

² Друг и родственник Фета Иван Петрович Борисов, получивший согласие на брак от давно любимой им сестры Фета Надежды Афанасьевны.

Бликие отношения Фета и Ивана Сергеевича Тургенева (1818—1883) долгие годы поддерживались разнообразными литературными, житейскими связями и взаимной художественной симпатией; при этом Тургенев выступал в роли литературного советника Фета. Не менее существенными были и их всегдашние мировоззренческие разногласия, приведшие к разрыву отношений на несколько лет.

Из писем А. А. Фету (с. 355). Печатаются по изданию: Тургенев И. С. Полное собрание сочинений и писем. В 28 т. М.—Л., 1960—1968. Письма. Т. 2—10, 12 (кн. 1).

¹ В 1861 г. Фет купил хутор Степановку на юго-западной окраине Мценского уезда, где начался новый, «фермерский» период его жизни.

² *Редерер* — марка шампанского.

³ В июне 1867 г. Фет был избран мировым судьей (исполнял эту должность в течение 10 лет).

И. П. БОРИСОВ

Из писем И. С. Тургеневу (с. 362).

Борисов Иван Петрович (1822—1871) — близкий друг Фета, связанный с ним родственными узами. Находился в дружеских отношениях с Тургеневым и был его постоянным корреспондентом. Текст писем печатаются по изданию: Тургеневский сборник. Вып. 3—5. Л., 1967—1969.

¹ *Сердобинка* — дом Е. Н. Сердобинской в Москве, на Малой Полянке. Здесь Фет и его жена Мария Петровна (урожд. Боткина) снимали квартиру после женитьбы, устраивая еженедельные приемы — «музыкальные четверги».

² Имеется в виду издевательская по тону, «разгромная» статья Д. Михаловского «Шекспир в переводе г. Фета» («Современник», 1859, № 6), направленная не только против Фета-переводчика, но и против всех эстетических принципов поэта.

³ Первый из пятидесяти «деревенских очерков» Фета. Опубликован под названием «Записки о вольнонаемном труде» в журнале Каткова «Русский вестник», 1862, № 3.

⁴ Намек на эпатажную фразу Фета (которую многократно обыгрывали и его противники, и друзья) из статьи «О стихотворениях Ф. Тютчева» (1859): «Кто не в состоянии броситься с седьмого этажа вниз головой, с непоколебимой верой в то, что он воспарит по воздуху, тот не лирик».

⁵ *Энгельгардт* Софья Владимировна (1826—1894) — писательница, знакомая Фета, его многолетняя корреспондентка. Она жила в Москве (на Садовой, у церкви Ермолая) вместе со своими сестрами Екатериной Владимировной и Марией Владимировной.

⁶ «*Ранняя весна*» — первоначальная редакция стихотворения «Какая грусть! Конiec аллеи...».

⁷ В 1863 г. московский книгоиздатель К. Т. Солдатенков издал «Стихотворения А. Фета» в двух частях. «Буря на море» — стихотворение «Буря на небе вечернем...».

⁸ *Петр Афанасьевич* Шеншин (1834—1881?) — младший брат Фета.

⁹ *Петр Иванович* Борисов (1858—1888) — сын Борисова.

¹⁰ «*Мани, факел, факел*». — По библейской легенде (книга пророка Даниила), на последнем пиру нечестивого царя Вавилонского его смерть и гибель его царства были предсказаны начертанными на стене словами: «Мене, текел, перес».

¹¹ «И. С. Тургеневу» — стихотворение «Из мачт и паруса — как честно он служил...».

¹² Имеется в виду исполнение П. Садовским роли Кречинского в пьесе Сухово-Кобылина.

¹³ Намек на стихотворение «Певице» («Уноси мое сердце в звенящую даль...»).

¹⁴ Стихотворение «Кому венец: богине ль красоты...».

¹⁵ Стихотворение «Ф. И. Тютчеву» («Прошла весна — темнеет лес...»).

В. П. БОТКИН

Критик Василий Петрович Боткин (1811—1869) был родственником Фета (брат Марии Петровны, жены поэта) и неизменным ценителем его таланта.

Боткину принадлежит одна из лучших статей о поэте — «Стихотворения А. А. Фета» («Современник», 1857, т. 61). Вероятно, Боткин был автором и еще одной статьи о Фете — в № 3 1850 г. того же журнала (см.: Русская литература, 1985, № 3).

Печатается по изданиям: Фет А. Мои воспоминания. М., 1890. Ч. 1—2; Сборник Библиотеки им. В. И. Ленина, М., 1929. Вып. 2.

Из писем М. П. и А. А. Фетам (с. 375).

¹ Имеется в виду рязанский помещик И. И. Раевский.

² Речь идет о литературном вечере в пользу голодающих Мценского уезда, устроенном Фетом в Москве.

С. В. ЭНГЕЛЬГАРДТ

Из повести «Не одного поля ягоды» (с. 379).

О Софье Владимировне Энгельгардт см. примечание 5 в разделе «И. П. Борисов».

Печатается по тексту первой публикации: Русский вестник, 1868, № 8.

Л. Н. ТОЛСТОЙ

Лев Николаевич Толстой (1828—1910) и Фет были знакомы без малого сорок лет. Более двадцати лет продолжалась между ними переписка. Познакомились они в 1856 г. в Петербурге. Настоящее же их сближение произошло в конце 1850-х годов на почве общего «обращения к земле» и вследствие взаимной симпатии родственных натур («вы по душе мне один из самых близких», «вы человек, которого, не говоря о другом, по уму я ценю выше всех моих знакомых» — из писем Толстого Фету 1860-х годов). С 1881 г. начинается кризис в их отношениях. И хотя все последующие годы они «смотрели в разные стороны», однако в конце жизни Толстой от негативного отношения к лирике Фета вновь вернулся к самой высокой ее оценке.

Печатается по изданиям: Толстой Л. Н. Полное собрание сочинений. В 90 т. М.—Л., 1928—1964. Т. 47—50, 60—62; Толстой Л. Н. Переписка с русскими писателями. М., 1978. Т. 1—2.

Из писем А. А. Фету (с. 392). Из дневников (с. 395).

¹ Стихотворение «Майская ночь» («Отсталых туч над нами пролетает...»).

² Стихотворение «В дымке-невидимке...».

³ 26 декабря 1873 г. императорским указом было удовлетворено прошение Фета о разрешении «воспринять законное имя» Шеншина.

⁴ Стихотворение «Среди звезд» («Пусть мчитесь вы, как я, покорны мигу...»).

⁵ Речь идет о стихотворениях «Среди звезд» и «Опять» («Сияла ночь. Луной был полон сад...»).

⁶ Подготовка торжеств по случаю 50-летия поэтической деятельности Фета (праздновалось в Москве 28 и 29 января 1889 г.).

С. А. ТОЛСТАЯ

Знакомство Фета с Софьей Андреевной Толстой (урожд. Берс, 1844—1919) произошло вскоре после женитьбы Л. Н. Толстого. Близкое общение поэта и жены Толстого началось с 1881 года, после того, как Фет купил себе дом в Москве на Плющихе и из редкого летнего гостя Ясной Поляны превратился в частого зимнего гостя дома Толстых в Хамовниках.

Из писем Л. Н. Толстому (с. 397).

¹ Вероятно, имеются в виду: семья генерал-адъютанта Александра Васильевича Олсуфьева (1843—1907); Николай Михайлович Лопатин (1854—1897) — певец и собиратель народных песен. Остальные лица не установлены.

² Грот Николай Яковлевич (1852—1899) — философ, профессор Московского университета, председатель Московского психологического общества.

³ *Николаев* — литературный псевдоним Юрия Николаевича Говорухи-Отрока (1852—1896), литературного и театрального критика, публициста.

И. Л. ТОЛСТОЙ

Из книги «Мои воспоминания» (с. 401).

Толстой Илья Львович (1866—1933) — сын Л. Н. и С. А. Толстых.

Печатается по изданию: Толстой И. Л. Мои воспоминания. М., 1969.

Т. Л. СУХОТИНА-ТОЛСТАЯ

Из «Воспоминаний» (с. 402).

Сухотина Татьяна Львовна (урожд. Толстая, 1869—1950) — дочь Л. Н. и С. А. Толстых.

Печатается по изданию: Сухотина-Толстая Т. Л. Воспоминания. М., 1976.

¹ *Самарин* Петр Федорович (1832—1901), тульский губернский предводитель дворянства; *Урусов* Сергей Семенович (1827—1897), генерал в отставке; *Бобринский* Алексей Павлович (1826—1894), министр путей сообщения, — друзья Толстых.

² *Стахович* Александр Александрович (1831—1913) — знакомый Толстых.

Е. В. ОБОЛЕНСКАЯ-ТОЛСТАЯ

Из очерка «Моя мать и Лев Николаевич» (с. 405).

Оболенская Елизавета Валерьяновна (урожд. Толстая, 1852—1935) — племянница Л. Н. Толстого, дочь его сестры Марии Николаевны.

Печатается по изданию: Октябрь, 1928, № 9—10.

¹ *Дьяков* Дмитрий Алексеевич (1823—1891), его жена Дьякова Софья Робертовна (урожд. Войткевич, 1844—1880) — тульские помещики, владельцы усадьбы Черемошня, друзья Толстого и Фета.

С. Л. ТОЛСТОЙ

Из мемуаров «Очерки былого» (с. 406).

Толстой Сергей Львович (1863—1947) — сын Л. Н. и С. А. Толстых.

Печатается по изданию: Толстой С. Л. Очерки былого. Тула, 1975.

Т. А. КУЗМИНСКАЯ

Кузминская Татьяна Андреевна (урожд. Берс, 1846—1925) — сестра С. А. Толстой.

Печатается по изданиям: Русская литература, 1968, № 2 (письмо Г. П. Блоку); Кузминская Т. А. Моя жизнь дома и в Ясной Поляне. Тула, 1960.

Письмо Г. П. Блоку (с. 409).

¹ Речь идет о разрыве отношений Фета с его племянницей Ольгой Шеншиной, воспитывавшейся у него в Степановке, после чего он принял решение продать имение (см. Фет А. Мои воспоминания. М., 1890. Ч. 2. С. 329).

² О Дьяковых см. прим. к разделу «Е. В. Оболенская-Толстая».

³ Мария Николаевна Толстая (1830—1912) — сестра Л. Н. Толстого; ее дочери: Варвара Валерьяновна (в замужестве Нагорнова) и Елизавета Валерьяновна (в замужестве Оболенская).

⁴ Мария Дмитриевна Дьякова (1850—1903; в замужестве Колокольцева) и Софья Робертовна Войткевич (с 1877 года — жена Д. А. Дьякова).

⁵ Ошибка памяти Т. Кузминской. По сообщению Н. П. Пузина, в яснополянском экземпляре книги «Лирические стихотворения А. Фета» (1894) над стихотворением «Сияла ночь...» сделана надпись рукою С. А. Толстой: «Пела Таня Берс у Дьяковых в Черемошне в 1866 г. Через 11 лет пела Таня же, но Кузминская, в Ясной Поляне, на это написаны стихи».

Стихотворение было написано 2 августа 1877 года, что явствует из письма Фета Л. Толстому от 3 августа, где текст стихотворения предваряется словами: «Посылаю Вам вчера написанное стихотворение».

И. С. ТУРГЕНЕВ

Из писем Я. П. Полонскому (с. 418). Печатается по изданию: Тургенев И. С. Полное собрание сочинений и писем. В 28 т. М.—Л., 1960—1968.

¹ Братья Фета Василий Афанасьевич и Петр Афанасьевич имели явные признаки психического расстройства; сестра Надежда Афанасьевна страдала неизлечимой психической болезнью. Очевидно, на них сказалась та тяжелая форма «черной меланхолии», которой была подвержена их мать.

Из писем И. П. Борисову (с. 419).

¹ Тургенев настойчиво приглашал Фета приехать к нему в Баден-Баден. Эта поездка не состоялась.

Из писем А. А. Фету (с. 419). Печатается по изданию, указанному выше.

¹ После смерти Надежды Афанасьевны и Ивана Петровича Борисовых их сын Петр был взят на воспитание Фетом.

² В 1871 году Фету были возвращены деньги, выданные им в 1868 году (средства от литературного вечера) голодающим крестьянам Мценского уезда. Эту сумму (около 3000 рублей) Фет употребил на постройку в селе Долгом больницы для крестьян, больных сифилисом.

Н. Н. СТРАХОВ

Из писем А. А. Фету (с. 420). Печатается по изданию: Русское обозрение, 1901, в. 1.

¹ Стихотворение «Alter ego».

² «Русская речь» — журнал, издававшийся в Петербурге А. А. Навроцким.

Из писем Л. Н. Толстому (с. 422). Печатается по изданию: Переписка Л. Н. Толстого и с Н. Н. Страховым. 1870—1894. СПб., 1914.

¹ Фет переводил труд А. Шопенгауэра «Мир как воля и представление» (издан в Петербурге в 1891 г.).

² «Фауст» в переводе Фета вышел в Москве в 1882—1883 гг.

³ Статья «Юбилей поэзии Фета» (Новое время», 1889, 28 января).

⁴ К 50-летию юбилею литературной деятельности Фет получил придворное звание камергера.

⁵ Речь идет о подготовке первого посмертного издания стихотворений Фета («Литерические стихотворения», СПб., 1894).

Из писем С. А. Толстой (с. 426). Печатается по изданиям: Переписка Л. Н. Толстого с Н. Н. Страховым (письмо от 6 августа 1881); «Новый мир», 1978, № 8 (письмо от 28 ноября 1892); «Литературная газета», 1982, № 29 (письмо от 10 декабря 1892).

¹ Александр Иванович Иост — управляющий именьями Фета.

Л. Е. ОБОЛЕНСКИЙ

Оболенский Леонид Егорович (1845—1906) — либеральный публицист, критик и беллетрист; приятель Л. Н. Толстого.

Из мемуаров «Литературные воспоминания и характеристики» (с. 428). Печатается по изданию: Исторический вестник, 1902, № 2.

П. И. ЧАЙКОВСКИЙ

Личное знакомство Фета с Петром Ильичом Чайковским (1840—1893) состоялось в августе 1891 года, когда композитор, гостивший в Уколове — курском имении своего брата Николая Ильича, навестил поэта в Воробьевке. Чайковский высоко ценил поэзию Фета, о чем свидетельствуют его письма к другому поклоннику фетовского творчества — поэту Константину Романову (К. Р.).

Из письма А. И. Чайковскому (с. 429). Печатается по изданию: Чайковский М. Жизнь Петра Ильича Чайковского. М., Лейпциг, 1902. Т. 3.

¹ Чайковский Анатолий Ильич — брат композитора.

² *Коренная Пустынь* — монастырь в Щигровском уезде Курской губернии недалеко от усадьбы Воробьевка. Так же называлась почтовая станция Московско-Курской ж. д.

В. В. АФАНАСЬЕВА *

Из писем В. В. Сафроновой (с. 429). Печатается по автографам, хранящимся в Государственном литературном музее И. С. Тургенева.

Вера Владимировна Афанасьева — внучата племянница Фета. Ее прадед Василий Петрович Семенкович был женат на Афанасии Неофитовне Шеншиной — родной сестре Афанасия Неофитовича Шеншина, отчима поэта. Отец Афанасьевой — двоюродный племянник Фета — Владимир Николаевич Семенкович (о нем см. ниже, с. 470) и его жена Евгения Михайловна (урожд. Телятникова; 1866—1920) с 1887 года жили в Москве, поддерживая близкие родственные отношения с поэтом и его женой. Замечательным талантом Е. М. Семенкович-пианистки восхищались не только Фет, но и Полонский, Л. Толстой, Чехов, Щепкина-Куперник, Глиэр, который посвятил ей цикл фортепьянных пьес.

Вера Владимировна свято хранила фетовские реликвии: подаренный ее матери черновик стихотворения «*Quasi una fantasia*», три открытки, адресованных Фетом ее родителям, фотографии поэта и его жены, книги из библиотеки Фета. Она внимательно следила за новыми изданиями Фета и публикациями о его творчестве, переписывалась с Б. Я. Бухштабом, Л. А. Озеровым, П. П. Ивановым, Е. З. Балабановичем, а с 1977 года — с сотрудниками Государственного литературного музея И. С. Тургенева в Орле.

¹ «Приемным днем» Шеншиных на Плющихе была среда.

² Полное название этого сочинения Бетховена «*Sonata quasi una fantasia*» («Соната в роде фантазии»).

Я. П. ПОЛОНСКИЙ

О Я. П. Полонском см. выше, с. 463.

Из писем А. А. Фету (с. 430). Печатается по изданию: «Иллюстрированное приложение к газете «Новое время», 1914, январь («Переписка поэтов Я. П. Полонского и А. А. Фета»).

¹ «*Вечерний звон*» — сборник стихотворений Полонского (СПб., 1890).

² Речь идет о статье В. Соловьева, опубликованной в журнале «Русское обозрение» (1890, № 12), «О лирической поэзии (по поводу последних стихотворений Фета и Полонского)».

В. С. СОЛОВЬЕВ

Знакомство Фета с поэтом, философом, публицистом и критиком Владимиром Сергеевичем Соловьевым (1853—1900) относится к 1881 г. Их дружеские отношения продолжались до конца жизни Фета. Соловьев помогал старому поэту в его литературной работе: в переводах «Фауста» Гете и римских поэтов, составлении композиции «Вечерних огней», плана итогового сборника стихотворений. Он был последним в цепи литературных совестников Фета (вслед за Григорьевым, Тургеневым и Страховым).

Из писем Фету (с. 433). Печатается по изданию: Письма Владимира Сергеевича Соловьева. СПб., 1911. Т. 3.

¹ Голенищев-Кутузов Арсений Аркадьевич (1848—1913) — поэт, поклонник творчества Фета.

² В этом письме В. Соловьев использует образы фетовской лирики. «Серый камень» — неточная цитата из стихотворения «В дымке-невидимке...».

* Комментарий к письмам Афанасьевой составлен В. В. Сафроновой, директором Государственного литературного музея И. С. Тургенева.

Д. Н. ЦЕРТЕЛЕВ

Из статьи «А. А. Фет как человек и как художник» (с. 439).
Цертелев Дмитрий Николаевич (1852—1911) — писатель, философ, редактор журнала «Русское обозрение», где публиковался Фет.

Печатается по изданию: «Русский вестник», 1899, № 3.

П. П. ПЕРЦОВ

Из «Литературных воспоминаний» (с. 440).

Перцов Петр Петрович (1868—1947) — публицист, литературный критик.

Печатается по изданию: Перцов П. Литературные воспоминания: 1890—1902 гг. М.—Л., 1933.

¹ Иванчин-Писарев Александр Иванович (1846—1916) — общественный деятель народнической ориентации, литератор (с 1890-х гг. сотрудник журнала «Русское богатство», издаваемого Н. К. Михайловским).

² Минаев Дмитрий Дмитриевич (1835—1889) — поэт-сатирик революционно-демократического направления, автор многочисленных пародий на Фета.

Б. А. САДОВСКОЙ

Кончина А. А. Фета (с. 450).

Садовский Борис Александрович (литер. псевдоним — Садовской; 1881—1952) — поэт, прозаик, один из первых исследователей Фета.

Печатается по изданию: Борис Садовской. Ледоход. Статьи и заметки. Пг., 1916.

В. Н. СЕМЕНКОВИЧ

Памяти А. А. Фета - Шеншина (с. 444).

Семенкович Владимир Николаевич (1861—1932) — сын двоюродного брата А. А. Фета Николая Владимировича Семенковича. По образованию морской инженер-механик. После выхода в отставку (1887) поселился в Москве и занялся археологией, став специалистом по исторической географии (сведения сообщены В. В. Афанасьевой — о ней см. выше).

В. Н. Семенкович известен как автор нескольких публикаций о Фете: «По поводу статьи Н. Гутьяра» (Вестник Европы, 1900, март), «О происхождении А. А. Фета» (Русский архив, 1901, № 1) и «Памяти А. А. Фета-Шеншина», помещенной в журнале «Исторический вестник» (1902, т. 90, № 11; по этому тексту печатается в настоящем издании).

¹ Черногоубов Николай Николаевич — исследователь жизни и творчества Фета. Собрал большую коллекцию фетовских автографов, документов, переписку и другие реликвии.

[А. В. ОЛСУФЬЕВ]

Письмо из Звенигорода (с. 456).

Олсуфьев Алексей Васильевич (1831—1915) — генерал от кавалерии, филолог-дилетант, с 1886 года и до конца жизни Фета — его друг и помощник в переводах латинских поэтов.

Печатается по изданию: Московские ведомости, 1903 г., 20 августа. Заметка «Письмо из Звенигорода» подписана «Г.».

В Отделе рукописей Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина хранится письмо А. В. Олсуфьева к К. Р., рассказывающее об открытии в с. Ершове памятника А. А. Фету. Письмо написано 18 августа 1903 г., т. е. на следующий день после этого события. Газетная заметка почти дословно повторяет отдельные места письма Олсуфьева. Это позволяет сделать вывод, что автором ее был сам владелец с. Ершова.

¹ Церковь в родовом имении Олсуфьевых в с. Ершове, построенная в начале XIX века по проекту архитектора А. Григорьева, не сохранилась (взорвана фашистами во время Великой Отечественной войны).

А. Тархов. «Дать жизни вздох...»

СТИХОТВОРЕНИЯ ПОЭМЫ

СТИХОТВОРЕНИЯ

Элегии и думы

«О, долго буду я, в молчаньи
ночи тайной...»
«Когда мои мечты за гранью
прошлых дней...»
«Когда мечтательно я предан
тишине...»
«Постой! здесь хорошо! зубча-
той и широкой...»
«Странное чувство какое-то
в несколько дней овладе-
ло...»
«Я знаю, гордая, ты любишь са-
мовластье...»
«Ее не знает свет, — она еще
ребенок...»
«Эх, шутка-молодость! Как но-
вый ранний снег...»
«Лозы мои за окном разрос-
лись живописно и даже...»
«Тебе в молчании я простираю
руку...»
«Не говори, мой друг: «Она ме-
ня забудет...»
«Не спи. Дай зажгу свечу.
К чему читать?..»
«Под небом Франции, среди
столицы света...»
Смерти («Когда, измучен жа-
ждой счастья...»)
«Целый заставила день меня
промечтать ты сегодня...»
Одинокий дуб
Италия
На развалинах цезарских палат
«Пойду навстречу к ним знако-
мою тропкою...»

5	Старые письма	31
	«О нет, не стану звать утрачен- ную радость...»	32
	«Окна в решетках, и сумрачны лица...»	33
	«Не первый год у этих мест...»	33
	«Томительно-призывно и на- прасно...»	33
	«Ты отстрадала, я еще стра- даю...»	34
20	Alter ego	35
20	Смерть («Я жить хочу! — кри- чит он, дерзновенный...»)	35
	Среди звезд	36
21	1. «Измучен жизнью, ковар- ством надежды...»	36
21	2. «В тиши и мраке таинствен- ной ночи...»	37
	«Когда Божественный бежал людских речей...»	37
22	Ничтожество	38
23	Добро и зло	39
23	Смерти («Я в жизни обмирал и чувство это знаю...»)	39
23	«Не тем, Господь, могуч, непо- стижим...»	40
	Никогда	40
24	«Жизнь пронеслась без явного следа...»	41
24	«О, этот сельский день и блеск его красивый...»	42
25	Ласточки	43
26	Осень («Как грустны сумрач- ные дни...»)	43
26	«Учись у них — у дуба, у бере- зы...»	44
26	«Солнце садится, и ветер утих- нул летучий...»	44
27	«Страницы милые опять пер- сты раскрыли...»	44
28	«Еще одно забывчивое слово...»	45
29	Теперь («Мой прах уснет, забы- тый и холодный...»)	45
30	«Кровию сердца пишу я к тебе эти строки...»	45

Севастопольское братское
кладбище
«В степной глуши, над влагой
молчаливой...»
«Дул север. Плакала трава...»
«Я потрясен, когда кругом...»
«Прости — и все забудь в безоб-
лачный ты час...»
Светоч
«Нет, я не изменил. До старо-
сти глубокой...»
«Светил нам день, будя огонь
в крови...»
«Когда читала ты мучительные
строки...»
«Все, все мое, что есть и пре-
жде было...»
«С солнцем склоняясь за тем-
ную землю...»
«Одним толчком согнать ладью
живую...»
«В полуденной тиши бессонни-
цы мося...»
«Прости! во мгле воспомина-
нья...»
«Руку бы снова твою мне хоте-
лось пожать!...»
«Устало все кругом: устал
и цвет небес...»
Угасшим звездам
Поэтам («Сердце трепещет от-
радно и больно...»)
«Хоть счастье судьбой дарова-
но не мне...»
«Еще люблю, еще томлюсь...»
«На кресле отваясь, гляжу на
потолок...»
«Опавший лист дрожит от на-
шего движенья...»
«Не упрекай, что я смуща-
юсь...»
«Нет, даже не тогда, когда, сто-
пой воздушной...»
«Кляните нас: нам дорога сво-
бода...»
Фонтан («Ночь и я, мы оба ды-
шим...»)
«О, как волнуюсь я мыслю
больною...»
«Все, что волшебю так мани-
ло...»

Подражание восточному

«Я люблю его жарко: он ти-
гром в бою...»
«Не дивись, что я черна...»
Восточный мотив

Аваддон 61
Соловей и Роза 62

К Офелии

«Не здесь ли ты легкою те-
ню...» 68
«Я болен, Офелия, милый мой
друг!...» 68
«Как ангел неба безмятеж-
ный...» 69
«Офелия гибла и пела...» 69

Весна

«Уж верба вся пушистая...» 72
«Еще весна, — как будто незем-
ной...» 73
«На заре ты ее не буди...» 73
«Еще весны душистой нега...» 74
Пчелы 74
Весенние мысли 75
Весна на дворе 75
Первый ландыш 76
Еще майская ночь 76
«Опять незримые усилья...» 76
Весенний дождь 77
«Глубь небес опять ясна...» 78
«Еще, еще! Ах, сердце слы-
шит...» 78
«Когда вослед весенних бурь...» 78
«Всю ночь гремел овраг сосед-
ний...» 79
«Пришла, — и тает все во-
круг...» 79
«Я рад, когда с земного лона...» 80
Майская ночь («Отсталых туч
над нами пролетает...») 80
«Я ждал. Невостою-царицей...» 81
«С гнезд замахали крикливые
цапли...» 81
«Сад весь в цвету...» 81
Кукушка 82
«За горами, песками, моря-
ми...» 82

Лето

Дождливое лето 84
«Зреет рожь над жаркой ни-
вой...» 84
Нежданный дождь 85
«Ты видишь, за спиной кос-
цов...» 85
«Как здесь свежо под липою
густою...» 86

Осень

«Непогода — осень — куришь...» 88
«Какая холодная осень!...» 89
Псовая охота 89

«Вот и летние дни убавляются...»	90	«Улыбка томительной скуки...»	112
Осенняя роза («Осыпал лес свои вершины...»)	90	Серенада	113
«Задрожали листья, облетая...»	91	«За кормой струйки выются...»	113
Сентябрьская роза	92	Фантазия	114
		«Недвижные очи, безумные очи...»	115
		«Как мошки зарею...»	115
		«Спи — еще зарею...»	116
		«Свеж и душист твой роскошный венок...»	116
		«Давно ль под волшебные звуки...»	117
		«Снился берег мне скалистый...»	117
		Туманное утро	118
		Римский праздник	118
		Цветы	119
		«Вчера я шел по зале освещенной...»	119
		«Все вокруг и пестро так и шумно...»	120
		Певице	120
		Бал	121
		Anruf an die Geliebte Бетховсна	122
		«Ярким солнцем в лесу пламенеет костер...»	122
		«Свеча нагорела. Портреты в тени...»	123
		«Нет, не жди ты песни страстной...»	123
		«Сияла ночь. Луной был полон сад...»	124
		«Что ты, голубчик, задумчив сидишь...»	125
		«В дымке-невидимке...»	125
		«Одна звезда меж всеми дышит...»	125
		«Истрепалися сосен мохнатые ветви от бури...»	126
		«Солнце ниже лучами в отвес...»	126
		«Месяц зеркальный плывет по лазурной пустыне...»	127
		«Забудь меня, безумец иступленный...»	128
		«Прежние звуки. с былым обаяньем...»	128
		«Как ясность безоблачной ночи...»	129
		«Сны и тени...»	129
		Шопену	130
		Романс («Злая песня! Как больно возмутила...»)	131
		«Я видел твой млечный, младенческий волос...»	131
		«Только в мире и есть, что тенистый...»	131

Снега

«На пажитях немых люблю в мороз трескучий...»	94
«Знаю я, что ты, малютка...»	94
«Вот утро севера — сонливое, скупое...»	95
«Печальная береза...»	96
«Кот поет, глаза прищуря...»	96
«Чудная картина...»	96
«Ночь светла, мороз сияет...»	97
«На двойном стекле узоры...»	97
«Скрип шагов вдоль улиц белых...»	98
«Еще вчера, на солнце млея...»	98
«Какая грусть! Конец аллеи...»	99
У окна	99
«Мама! глянть-ка из окошка...»	100
«Ветер злой, ветер крутой в поле...»	100

Гадания

«Ночь крещенская морозна...»	102
«Зеркало в зеркало, с трепетным лепетом...»	102
«Полно смеяться! Что это с вами?..»	103
«Помню я: старушка-няня...»	104
«Перекресток, где ракирка...»	104

Мелодии

«Когда я блещущий твой локон целую...»	106
«Тихо ночью на степи...»	106
«Весеннее небо глядится...»	107
«Я полон дум, когда, закрывши вежды...»	108
«Младенческой ласки доступен мне лепет...»	108
«Не отходи от меня...»	108
«Тихая, звездная ночь...»	109
«Буря на небе вечернем...»	109
Ноттипо	110
«Теплым ветром потянуло...»	110
«Если зимнее небо звездами горит...»	111
«Полуночные образы реют...»	111
«Я долго стоял неподвижно...»	112
«Шумела полночная вьюга...»	112

В лунном сиянии	132	Колокольчик	149
На рассвете	132	«Молятся звезды, мерцают и рдеют...»	149
«Что за звук в полумраке ве- чернем? Бог весть...»	132	«Благовонная ночь, благодатная ночь...»	150
«Я тебе ничего не скажу...»	133	«Сегодня все звезды так пыш- но...»	150
«Все, как бывало, веселый, сча- стливый...»	133	«От огней, от толпы беспощад- ной...»	151
«Моего тот безумства желал, кто смежал...»	134	Степь вечером	151
«Сплю я. Тучки дружные...»	134	Вечер	152
«Не нужно, не нужно мне про- блесков счастья...»	135	<i>Антологические стихотворения</i>	
«Гаснет заря в забытии, в полу- сне...»	135	Греция	154
«Чуя внушенный другими от- вет...»	136	Вакханка	155
Во сне	136	Диана	155
«Запретили тебе выходить...»	137	«Влажное ложе покинувши, Феб златокудрый напра- вил...»	155
«Я не знаю, не скажу я...»	137	Кусок мрамора	156
«Только месяц взошел...»	137	К юноше	156
«Мы встретились вновь после долгой разлуки...»	138	«С корзиной, полною цветов, на голове...»	156
«Люби меня! Как только твой покорный...»	138	«В златом сиянии лампы по- лусонной...»	157
<i>Вечера и ночи</i>		Подражание XVI идиллии Биона	157
«Долго еще прогорит Вespera скромная лампа...»	140	«Питомец радости, покорный наслажденью...»	157
«Что за вечер! А ручей...»	140	«Уснуло озеро; безмолвен чер- ный лес...»	158
«Право, от полной души я бла- годарен соседу...»	141	К красавцу	158
«Я люблю многое, близкое сердцу...»	141	Сон и Пазифая	159
«Вдали огонек за рекою...»	142	Амимона	159
«Скучно мне вечно болтать о том, что высоко, прекрас- но...»	143	Диана, Эндимион и Сатир	160
«Я жду... Соловьиное эхо...»	143	Золотой век	161
«Здравствуй! тысячу раз мой привет тебе, ночь!...»	143	Даки	162
«Друг мой, бессильны слова, — одни поцелуи всеильны...»	144	Телемак у Калипсы	163
«Ночью как-то вольнее дышаг мне...»	144	Венера Милосская	164
«Рад я дождю... От него тучне- ет мягкое поле...»	144	Нимфа и молодой сатир	165
«Слышишь ли ты, как шумит верху угловатое стадо?...»	145	Сон и Смерть	166
«Каждое чувство бывает понят- ней мне ночью, и каждый...»	146	«Когда петух...»	166
«Летний вечер тих и ясен...»	146	Нептуну Леверье	167
«Любо мне в комнате ночью стоять у окошка в потем- ках...»	147	<i>Море</i>	
«Шепот сердца, уст дыханье...»	147	«Ночь весенней негой ды- шит...»	170
«На стог сена ночью южной...»	148	«Жди ясного на завтра дня...»	170
«Заря прощается с землею...»	148	Морской залив	171
		Вечер у взморья	171
		«Как хороши чуть мерцающим утром...»	171
		«Морская даль во мгле туман- ной...»	172
		Прибой	172
		На корабле	173

Буря	173	Е. С. Хомутовой, приславшей мне цветы	192
После бури	174	Графине Н. М. Соллогуб («Вам песнь моя. В степи мирской...»)	192
«Вчера расстались мы с тобой...»	174	Ей же («Тобой привычный восхищаться...»)	193
Море и звезды	175	Ей же («О Береника! Сердцем чую...»)	193
«Качаясь, звезды мигали лучами...»	175	Л. И. Офросимовой при посылке портрета («Гляжу с обычным умилением...»)	194
<i>Послания, посвящения и стихотворения на случай</i>		И. Ф. Офросимову на юбилей конского его завода в селе Березовце	194
Памяти Д. Л. Крюкова	178	На бракосочетание Е. Д. и К. Г. Дункер («В часы забав, во дни пиров...»)	195
На смерть А. В. Дружинина. 19 января 1864 года	178	Е. Д. Дункер («Если захочешь ты душу мою разгадать...»)	196
Памяти В. П. Боткина. 16 октября 1869 года	179	На серебряную свадьбу Е. П. Щукиной 4 февраля 1874 года	196
Памяти Н. Я. Данилевского	180	М. Н. Коншиной	197
На смерть Бражникова	180	М. Ф. Ванлярской при получении визитной карточки с ласточками	197
На смерть Мити Боткина	180	П. И. Чайковскому	197
Памяти С. С. Боткиной	181	Графу А. К. Толстому в деревне Пустыньке	198
Ответ Тургеневу («Поэт! ты хочешь знать, за что такой любовью...»)	182	Графу Л. Н. Толстому («Как ястребу, который просидел...»)	199
Е. П. Ковалевскому	183	Л. Н. Толстому при появлении романа «Война и мир»	199
Тургеневу («Прошла зима, затихла вьюга...»)	184	А. Н. Майкову на сочувственный отзыв о переводе Горация	200
Бржеским при получении цветов и нот	184	На юбилей А. Н. Майкова 30 апреля 1888 года	200
А. Ф. Бржескому	184	Полонскому («Спасибо! Лирой вдохновенной...»)	200
А. Л. Бржеской («Далекий друг, пойми мои рыдания...»)	185	Я. П. Полонскому («В минувшем жизнь твоя богата...»)	201
А. Л. Бржеской («Опять весна! опять дрожат листья...»)	186	В альбом Н. Я. Полонской	201
А. Л. Бржеской («Нет, лучше голосом ласкательно обычным...»)	187	Ф. И. Тютчеву («Мой обожаемый поэт...»)	202
С. П. Хитрово	187	Ф. И. Тютчеву («Прошла весна — темнеет лес...»)	202
Графине С. А. Толстой («Где средь иного поколения...»)	187	На книжке стихотворений Тютчева	203
Графине С. А. Толстой («Когда так нежно расточала...»)	188	На пятидесятилетие музыки («Нас отпевают. В этот день...»)	204
К портрету графини С. А. Толстой	189	На пятидесятилетие музыки 29 января 1889 года («На утренней всё ярче и чудесней...»)	204
Графине С. А. Толстой («Я не у вас, я обделен!...»)	189		
Ей же во время моего 50-летнего юбилея	190		
В альбом П. А. Козлову	190		
Графу А. В. Олсуфьеву («Второй бригады из-за фронта...»)	191		
Графине А. А. Олсуфьевой при получении от нее гиацинтов	191		
Е. С. Хомутовой при получении от нее пышного букета цветной капусты	192		

Разные стихотворения

«Владычица Сиона, пред тобою...»	206	«Вчера, увенчана душистыми цветами...»	229
Мадонна («Я не ропщу на трудный путь земной...»)	206	«В темноте, на треножнике ярком...»	229
Ave Maria	207	Ивы и березы	229
«Я знал ее малюткою кудрявой...»	207	У камина	230
«Не ворчи, мой кот-мурлыка...»	208	Сестра	231
Венеция ночью	208	Горное ущелье	231
«Полно спать: тебе две розы...»	208	Музе	232
Колыбельная песня сердцу	209	Рыбка	232
«О, не зови! Страстей твоих так звонок...»	210	«Был чудный майский день в Москве...»	233
«Облаком волнистым...»	211	«В леса безлюдной стороны...»	234
«Я пришел к тебе с приветом...»	211	На лодке	234
Деревня	212	«Только станет смеркаться немножко...»	235
«Ах, дитя, к тебе привязан...»	213	«Расстались мы, ты странствуешь далече...»	235
Узник	213	«Я был опять в саду твоём...»	236
«Люди спят; мой друг, пойдем в тенистый сад...»	214	Грезы	237
«Растут, растут причудливые тени...»	214	Мотылек мальчику	237
На Днепре в половодье	215	«Молчали листья, звезды рдели...»	238
«Над озером лебедь в тростник протянул...»	216	На железной дороге	238
Сосны	216	«Кричат перепела, трещат коростели...»	239
Больной	217	Георгины	240
В саду	217	«Если ты любишь, как я, бесконечно...»	241
«В долгие ночи, как вежды на сон не сомкнуты...»	218	«Еще акация одна...»	241
«Не спрашивай, над чем задумываюсь я...»	218	«Тихонько движется мой конь...»	242
Первая борода	219	«Чем тоске, и не знаю, помочь...»	243
«Ты расточительна на милые слова...»	220	Romanzero	
Лес	220	«Знаю, зачем ты, ребенок большой...»	243
«Какое счастье: и ночь, и мы одни!..»	221	«Встречу ль яркую в небе зарю...»	244
«Что за ночь! Прозрачный воздух скован...»	221	«В страданы блаженства стою пред тобою...»	244
Старый парк	222	«Вчерашний вечер помню живо...»	244
Муза	223	Горячий ключ	245
«Теплый ветер тихо веет...»	223	«Отчего со всеми я любезна...»	245
«Последний звук умолк в лесу глухом...»	224	Осенью («Когда сквозная паутина...»)	246
«В пору любви, мечты, свободы...»	224	«В душе, измученной годами...»	246
Ива	225	Ключ	247
«О друг, не мучь меня жестоким приговором!..»	226	«Чем безнадежнее и строже...»	248
Приметы	226	Сонет («Когда от хмелю преступлений...»)	248
«Какие-то носятся звуки...»	227	«Толпа теснилась. Рука твоя дрожала...»	249
Ревель	227	«Встает мой день, как труженик убогой...»	249
Пароход	228	«Как нежись ты, серебряная ночь...»	249
Знакомке с юга	228		

«Блеском вечерним овеваны горы...»	250	«В вечер такой золотистый и ясный...»	268
«Кому венец: богине ль красоты...»	250	«Ты вся в огнях. Твоих зарниц...»	269
«Напрасно ты восходишь надомной...»	251	«Вечный хмель мне не отрада...»	269
Роза	251	«Сегодня день твой просветленья...»	270
Тополь	252	«Полуразрушенный, полужилец могилы...»	270
«Только встречу улыбку твою...»	252	«Только что спрячется солнце...»	270
Псевдопоэту	252	Quasi una fantasia	271
«С какой я негою желанья...»	253	Ракета	271
«Я уезжаю. Замирает...»	254	«Упреком, жалостью внушенным...»	272
«Не избегай; я не молю...»	254	Алмаз	272
«В благословенный день, когда стремлюсь душою...»	255	«Как трудно повторять живую красоту...»	272
Зевс	255	Зной	273
К Сикстинской мадонне	256	«Теснее и ближе сюда!...»	273
Музе («Пришла и села. Счастливы и тревожены...»)	256	«Роями поднялись крылатые мечты...»	274
«Не смейся, не дивися мне...»	256	Она	274
«День проснется — и речи людские...»	257	На качелях	274
«— Ты был для нас всегда вон той скалою...»	257	К ней	275
Бабочка	258	«Была пора, и лед потока...»	275
«С бороною сядоу верховный я жрец...»	259	«Давно ль на шутки вызывала...»	276
«— Ты так любишь гулять...»	259	«Людские так грубы слова...»	276
«Говорили в древнем Риме...»	260	«Из тонких линий идеала...»	276
Вольный сокол	260	«Если б в сердце тебя я не грел, не ласкал...»	277
«Не вижу ни красоты души твоей нетленной...»	261	«Весь вешний день среди стремленья...»	277
«Ныне первый мы слышали гром...»	261	«Безобидней всех и проще...»	278
Муза («Ты хочешь проклинать, рыдая и стения...»)	262	«Завтра — я не различаю...»	278
«Жду я, тревогой объят...»	262	«Я слышу — и судьбе я покоряюсь грозной...»	278
«Солнца луч промеж лип был и жгуч и высок...»	263	«Роящимся мечтам лететь дав волю...»	279
«Как беден наш язык! — Хочу и не могу...»	263	«Я говорю, что я люблю с тобою встречи...»	279
«Ты помнишь, что было тогда...»	264	«Давно в любви отрады мало...»	279
«Если радует утро тебя...»	265	Месяца и роза	280
Ребенку	265	«Ель рукавом мне тропинку завесила...»	280
«Хоть нельзя говорить, хоть и взор мой поник...»	265	Почему?	281
Горная высь	266	«Не отнеси к холодному бесстрастью...»	282
«Как богат я в безумных стихах!...»	266	«Не могу я слышать этой птички...»	282
«Долго снились мне вопли рыданий твоих...»	267	«Рассыпаясь смехом ребенка...»	282
«Из дебрей туманы несмело...»	267	«Когда смущенный умолкаю...»	283
«Есть ночи зимней блеск и сила...»	268	«Она ему — образ мгновенный...»	283
«Через тесную улицу здесь, в высоте...»	268	«Ночь лазурная смотрит на скошенный луг...»	284

*Стихотворения,
не вошедшие
в основное собрание*

«Как майский голубоокий...»	286
«Сосна так темна, хоть и ме- сяц...»	286
Вечерний сад	286
«Я узнаю тебя и твой белый ву- аль...»	287
«Как на черте полночной да- ли...»	288
Цыганке	288
«Рассказывал я много глупых снов...»	289
«Я говорил при расставании...»	289
«Я вдаль иду моей дорогой...»	290
«Как строк зарею...»	290
«Эти думы, эти грезы...»	291
«Поделись живыми снами...»	291
«Я в моих тебя вижу все снах...»	291
«Снова слышу голос твой...»	292
«Следить твои шаги, молиться и любить...»	292
«Перекладывают тройки...»	293
Шарманщик	294
«Люди насколько ни в чем предо мной не виновны, я знаю...»	295
«Ласточки пропали...»	295
«Заревая выюга...»	296
Неотразимый образ	296
Сонет	297
«Весна и ночь покрыли дол...»	297
«Какая ночь! Как воздух чист...»	298
«Лесом мы шли по тропинке единственной...»	298
Нельзя	298
Превращения	299
«Я целый день изнемогаю...»	299
«По ветви нижние леса...»	300
«Как ярко полная луна...»	300
«Как эта ночь, ты радост- но-светла...»	301
«Влачась в бездействии лени- вом...»	301
«Ты прав: мы старимся. Зима недалека...»	301
9 марта 1863 года	302
«Я повторял: «Когда я буду...»	302
Тургеневу («Из мачт и пару- са — как честно он слу- жил...»)	303
«Какой горячий пламень...»	304
«Хотя по-прежнему зеваю...»	305

«Когда б в полете скоротеч- ном...»	306
«Это утро, радость эта...»	306
«Целый мир от красоты...»	307
«О, не вверяйся ты шумному...»	307
«Чем доле я живу, чем больше пережил...»	308
«Чуждые огласки...»	308
«Погляди мне в глаза хоть на миг...»	308
«Что молчишь? Иль не ви- дишь — горю...»	309
«Тяжело в ночной тиши...»	310

ПОЭМЫ

Талисман	312
Сон	318

**СОВРЕМЕННОКИ
О ФЕТЕ**

Н. Н. Страхов	
А. А. Фет. Биографический очерк	328

1830—1840-е годы

Д. фон-Эттинген	
Из письма П. Унгерн-Штерн- бергу	336
Я. П. Полонский	
Из мемуаров «Мои студенче- ские воспоминания»	336
Из письма А. А. Фету	338
А. А. Григорьев	
Из рассказа «Листки из рукопи- си скитающегося софиста»	339
Из повести «Человек будуще- го»	339
Из повести «Офелия»	340
Из повести «Другой из многих»	343
А. И. Григорович	
Из книги «История 13-го Дра- гунского Военного Ордена ... полка»	343

1850—1860-е годы

А. В. Дружинин	
Из дневника	348
Из писем Л. Н. Толстому	349
Д. В. Григорович	
Из «Литературных воспомина- ний»	350
А. Я. Панаева	
Из «Воспоминаний»	351
П. М. Ковалевский	
Из воспоминаний «Встречи на жизненном пути»	352

А. А. Григорьев		С. Л. Толстой	
Из письма А. А. Фету	354	Из мемуаров «Очерки былого»	406
И. С. Тургенев		Т. А. Кузминская	
Из писем А. А. Фету	355	Письмо Г. П. Блоку	409
Из письма С. Т. Аксакову	358	Из книги «Моя жизнь дома	
Из писем Л. Н. Толстому	359	и в Ясной Поляне»	418
Из письма Н. А. Некрасову	360	И. С. Тургенев	
Из письма А. В. Дружинину	360	Из писем Я. П. Полонскому	418
Из письма П. В. Анненкову	360	Из писем И. П. Борисову	419
Из писем Я. П. Полонскому	361	Из писем А. А. Фету	419
Из писем И. П. Борисову	361	Н. Н. Страхов	
Из письма П. Виардо	362	Из писем А. А. Фету	420
И. П. Борисов		Из писем Л. Н. Толстому	422
Из писем И. С. Тургеневу	362	Из писем С. А. Толстой	426
В. П. Боткин		Л. Е. Оболенский	
Из письма М. П. Боткиной	375	Из мемуаров «Литературные	
Из писем М. П. и А. А. Фетам	375	вспоминания и характери-	
С. В. Энгельгардт		стики»	428
Из повести «Не одного поля		П. И. Чайковский	
ягоды»	379	Из письма А. И. Чайковскому	429
Л. Н. Толстой		В. В. Афанасьева	
Из дневников	387	Из писем В. В. Сафоновой	429
Из писем В. П. Боткину	388	Я. П. Полонский	
Из письма А. В. Дружинину	389	Из писем А. А. Фету	430
Из письма С. А. Толстой	389	В. С. Соловьев	
Из писем А. А. Фету	389	Из писем А. А. Фету	433
<i>1870—1890-е годы</i>		Из письма Н. Н. Страхову	435
Л. Н. Толстой		Из писем родителям	436
Из писем А. А. Фету	392	Из писем М. С. Соловьеву	436
Из дневников	395	Памяти А. А. Фета	437
Из писем С. А. Толстой	396	А. А. Фету	437
С. А. Толстая		Из предисловия к книге «Тво-	
Из «Краткой автобиографии»	396	рения Платона...»	438
Из писем Л. Н. Толстому	397	Д. Н. Цертелев	
Из мемуаров «Моя жизнь»	399	Из статьи «А. А. Фет как чело-	
Из письма Н. Н. Страхову	399	век и как художник»	439
Из дневника	400	П. П. Перцов	
И. Л. Толстой		Из «Литературных воспомина-	
Из книги «Мои воспоминания»	401	ний»	440
Т. Л. Сухотина-Толстая		Б. А. Садовской	
Из «Воспоминаний»	402	Кончина А. А. Фета	444
Е. В. Оболенская-Толстая		В. Н. Семенович	
Из очерка «Моя мать и Лев Ни-		Памяти А. А. Фета-Шенщина	450
колаевич»	405	[А. В. Олсуфьев]	
		Письмо из Звенигорода	456

Фет А. А.

Ф 45 Стихотворения. Поэмы. Современники о Фете /Вступ. ст. А. Е. Тархова; Сост. и прим. Г. Д. Аслановой и А. Е. Тархова. — М.: Правда, 1988. — 480 с., ил.

Настоящее издание включает наряду с произведениями самого Фета (стихотворения, поэмы) раздел «Современники о Фете», где впервые собраны вместе материалы, освещающие личность поэта, отдельные моменты его жизненного пути.

Ф $\frac{4702010100-1626}{080(02)-88}$ 1626—88

84 Р 1

Афанасий Афанасьевич ФЕТ

СТИХОТВОРЕНИЯ

ПОЭМЫ

СОВРЕМЕННОКИ О ФЕТЕ

Составители

**Галина Давлетшаевна Асланова
Александр Евгеньевич Тархов**

Редактор Е. М. Кострова

Оформление художника Г. И. Саукова

Художественный редактор И. С. Захаров

Технический редактор Т. Б. Слизун

ИБ 1626

Сдано в набор 26.01.88. Подписано к печати 27.06.88. Формат 80×84^{1/4}. Бумага книжн.-журн. Гарнитура «Гарамонд». Печать офсетная. Усл. печ. л. 27.90. Усл. кр.-отт. 28.13. Уч.-изд. л. 23.61.

Тираж 300 000 экз. (2-й завод: 100 001—300 000).

Заказ 1583. Цена 1 р. 70 к.

Набор и фотоформы изготовлены в ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типографии имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда». 125865. ГСП, Москва, А-137, улица «Правды», 24.

Отпечатано в типографии издательства ЦК Компартии Латвии, 226081, Рига, ул. Баласта дамбис, 3.